



Н.П.Вагнер  
**СВЕТ И МРАК**

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Николай Петрович Вагнер

## **Свет и мрак**

Сборник фантастических повестей и рассказов русского писателя Николая Петровича Вагнера.

# Содержание

#1	0007
Впотьмах (Сказка)	0006
Свет и мрак (Рассказ)	0165
Олд-Дикс (Рассказ)	0242
Гризли (Поэма-фантазия)	0375
Часть первая	0375
Часть вторая	0482
При царе Горохе (Сказка)	0585
Биография	0635
Библиография	0639

**Николай Вагнер**

**СВЕТ И МРАК**

**Сборник фантастических  
повестей и рассказов**

**ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ**



**ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •  
ФАНТАСТИКА**

**XXXIII**

**Leo  
2017**

Н. П. Вагнер

**СВЕТ И МРАК**

Сборник фантастических повестей и  
рассказов.



# Впотьмах (Сказка)

## I

**В** город Айршингтон приехал мистер Артингсон и город взволновался. Все передавали друг другу: «Вы слышали, слышали! Приехал Артингсон — он здесь!»

Местная газета крупным шрифтом тотчас же напечатала:

### **ОН ЗДЕСЬ.**

«Сегодняшнего числа совершилось замечательное событие в нашей городской хронике. Мистер Артур Джон Артингсон, этот гениальный художник-писатель, поэт, музыкант, осчастливил наш город своим посещением».

Затем следовала краткая и неверная биография мистера Артингсона, в которой все было если не искажено, то преувеличено. Статья заканчивалась следующими словами: «он сказал:

*Пусть гений человека  
Для мира будет идеалом.*

Мы можем сказать, что этот гений вопло-

тился в Артура Артингсона!»

Статья принесла редакции чистого дохода 3,000 долларов, а автор её, он же и редактор, он же и председатель клуба «Движенья», — толстенький, веселый и юркий мистер Тоуне, только что дождавшись выхода первых листов №, был уже с ними в клубе «Движенья», который как раз находился против клуба «Твердости», — клуба, возникшего в силу соперничества с клубом «Движенья».

— «Почтенные собратья!» — ораторствовал мистер Тоуне в клубе «Движенья», — город должен что-нибудь предпринять, что-нибудь сделать для нашего почтенного гостя, для нашего великого, гениального мистера Артингсона. Я предполагаю, что сегодня же следует устроить в честь его митинг, и я не отказываюсь, если позволите, произнести речь на тему: только гениальные люди — суть истинные вожди всякого движенья!»

— «Да! да! Мы согласны, — браво, браво!» — раздавались клики одобрения со стороны членов клуба...

— «Это тем более необходимо, — продолжал мистер Тоуне, — что клуб «Твердости» со-

бирается также дать митинг в честь Артингсона; надо предупредить их!..

— «Предупредить, предупредить! — заговорило собрание со всем жаром благородной конкуренции... — Мы сейчас же отправим к Артингсону депутатов; мы будем иметь честь просить его сделать нам честь и явиться сегодня же в семь часов на митинг!»

И работа закипела. Тотчас же были выбраны депутаты, тотчас же они отправились к Артингсону, тотчас же было составлено объявление, которое немедленно передано в типографию, и она набрала чуть не аршинными буквами и сейчас же оттиснула 50,000 экземпляров этого объявления о чудовищном митинге, который устраивает клуб «Движенья» в честь мистера Артингсона.

А, между тем, сам мистер Артингсон вовсе не подозревал и не думал об этой возне, о всех хлопотах, которые он причинил, или, вернее говоря, о тех долларах, которые он доставит своей особой и клубу «Движенья», и лично его председателю мистеру Тоунсу. Он проснулся поздно, потому что с вечера много работал и лёг утомленный. Он и встал тоже

слегка утомленный. Сон скупо подкрепил его.

Не смотря на сорок два года, его можно было считать почти красавцем. Серебристая седина, довольно сильно заметная, придавала какой-то особенный блеск и живость его светло-русые, длинным кудрям. Он не носил ни усов, ни бороды, ни бакенбард, он говорил, что все это мешает ему, связывает его лицо, заслоняет его черты. Он хотел быть откровенным, вполне откровенным со всеми, со всяким «меньшим братом своим», — этот странный мистер Артингсон. Говорили, что лицо его напоминало портрет Шиллера, но это лицо было красивее. В нем не было германского склада, а был, если можно так выразиться, всемирный, всенациональный тип. В нем правильность всех линий, правильность античная, соединялась с красотой тех отношений, которые мы видим во всех умных лицах. И в особенности были хороши глаза его, задумчивые и ясные, немного грустные, открытые, блестящие, какого-то неопределённого серо-голубого цвета, с темными лучистыми струйками вокруг зрачков. И в особенности хорошо было это лицо, когда Артингсон задум-

мывался, когда вместе с этой думой наплывало, поднималось в груди его сильное чувство и он вдруг с глубоким вздохом взмахивал головой, откидывал ее и вместе с этим отбрасывал назад все его длинные, светло-русые, серебристые кудри, высоко поднимавшиеся над его высоким лбом. Он обрезал бы и эти кудри — они также мешали ему — но их так любила его уже не молодая жена, добрая Джелла. Любили их и дети его, в особенности младшая дочь, четырехлетняя Эмма, которая с такою любовью гладила, перебирала и целовала эти мягкие, шелковистые кудри.

— Папа! — говорила она, — я люблю тебя, но я также люблю твои волосы — они такие милые, мягкие и добрые...

Депутация от клуба «Движенъе» явилась к мистеру Артингсону в то самое время, когда он только что надел свое широкое серое пальто, которое так свободно и стройно обрисовывало его высокую фигуру. Мистер Артингсон был слегка озадачен, удивлен и даже неприятно поражен просьбой депутации. Он хотел сохранить инкогнито и вдруг устраивается целая орация, которую он не любил по прин-

ципу.

— Вы нас обидите, вы жестоко обидите нас сэръ, — ораторствовал толстенький мистер Тонне, с пафосом потрясая в воздухе его маленькой жирной ручкой... — Мы... то есть, весь город, все общество, хочет выразить вам глубокое, бесконечное уважение; вы так много сделали вашими чудными творениями для целого округа, для целой страны... Позвольте же, о! позвольте поблагодарить вас, ибо «благодарность есть наслажденье человеческого духа», как вы сами сказали в одном из ваших бессмертных творений!..

— Да, ДА! сэръ!.. подтвердили другие депутаты, — наши чувства... дайте нам выразить наши чувства... дайте им свободу!..

И мистер Артингсон согласился дать свободу чувствам других и жал руки со всей энергией, и чуть не обнимал депутатов, и только в тайне шептал: о велика та страна, где сознаются и ценятся все широкия движения, все, что может сделать слабый смертный для прогресса!.. И как только ушла депутация, рассчитывая все-таки, чтобы клуб был поддержан с честью и с самой большой денеж-

ной выгодой, только что сам мистер Артингсон собрался уходить по делу, по тому делу о маленьком его имени, которое привело его в Айршингтон, как слуга отеля подал ему карточку с надписью: мисс Анна Драйлинг.

Едва успел он прочесть это имя, как с радостью бросился на встречу мисс Драйлинг, в светлый широкий коридор, устланный бархатными коврами, а мисс Драйлинг, вся запылавшись, всходила на широкую лестницу третьего этажа.

— Вы ли это!!.. Мисс Драйлинг... Вы приехали ко мне прежде, чем я явился к вам...

— Я, я, я сэр... я, Артур, — я приехала к вам и увидела вас после... кажется пятнадцати лет разлуки... И почтенная мисс Драйлинг совсем задыхалась, может быть от волнения, может быть оттого, что лестница была высока, не по годам мисс Драйлинг — ведь она была целыми шестью годами старше мистера Артингсона.

Это был его старый, старый друг, на котором он чуть, чуть не женился, но от этой женитьбы может быть спасла его и во всяком случае отвела сама мисс Драйлинг.

— Я старше вас, сказала она Артуру Артингсону, — старше чуть не шестью годами, а женщины скорее стареются, в них раньше пропадает то, что притягивает вас к нам — красота... а ум, чувства — разве для них вы хотите жениться на мне сэр Артингсон... Но ведь все это ваше, оно останется вашим до гроба, в виде неизменной дружбы, а может быть пойдет и дальше в ту таинственную страну, которой мы не знаем... Чего же вы хотите от меня, мистер Артур... Моей красоты... обладания мною...

Да! она так-таки и сказала, эта прямая мисс Драйлинг: обладания мною!.. И мистер Артур, после этого формального отказа, долго хандрил, мечтал и думал, и, наконец, додумался до того, что мисс Драйлинг права.

И он женился на другой, рассудительной, любящей и доброй мисс.

— Я счастлив, счастлив... — шептал он, целуя маленькие, похуделые, зачерствелые ручки мисс Драйлинг... И слезы выступали на глазах, и он смотрел и дивился, как могла так измениться мисс Драйлинг в эти пятнадцать лет. В последний раз он оставил ее еще бод-

рой, а теперь перед ним старуха, старуха, которой было сорок восемь лет. Правда, её высокий, стройный стан не согнулся. Глаза блеснули тем же светлым блеском светлой молодости: но множество мелких морщинок собралось вокруг этих глаз и немного сузило их разрезы. Множество глубоких складок набежало на впалые щеки, эти пышные «розы Ливана», как называл их когда-то мистер Артингсон. Чудные, черные, волосы и теперь еще тяжелой косой обвивали высокий лоб мисс Драйлинг, но теперь (увы!) они сильно подернулись пеплом седого времени... Одним словом, мисс Драйлинг, была совсем не прежняя мисс Драйлинг. За то костюм её был тот же, как во дни былые, всегдашний неизменный черный костюм, драповое платье, застегнутое на шее черным аграфом в виде креста. С этим платьем мисс Драйлинг никогда не расставалась; в нем выражалось, по её словам, «презрение к бренным иллюзиям мира сего». Должно сказать, что её убеждения были немного аскетичны.

— Ну что, — спрашивала она, когда Артингсон вводил ее в свой номер — я стара, я

старуха, я была права... помните... — И Артингсон еще раз поцеловал её меленькие костлявые и немного дрожавшие ручки, с длинными, на концах как бы расплывшимися, пальцами.

Они говорили долго, горячо, как-будто все практические вопросы были им чужды, как-будто они родились оба не в Америке, а в какой-то идеальной нации.

— А я вас похищаю, — сказала, наконец, мисс Драйлинг, с её обычной улыбкой, — похищаю на целый вечер.

— Увы, сказал Артингсон, я сегодня на митинге, только-что перед вашим приездом я дал слово депутатам клуба «Движенье»...

— Это ничего, — говорит решительно мисс Драйлинг, — вы приедете к нам в 10, в 12, в 2 часа ночи, мы будем ждать вас всю ночь... Это будет исключительное необыкновенное событие... У меня будут два, три моих и ваших близких знакомых, и вы увидите мою племянницу... Говорят она похожа на меня, как две капли воды, когда я была молода... И говоря эти последние слова, мисс Драйлинг вдруг сконфузилась, замигала, покраснела и даже

слезки выступили на её больших, светлых глазах, окаймленных лучистыми морщинами.

— Я буду! о я непременно буду, моя дорогая мисс Драйлинг. — сказал Артингсон, пожимая её руку...

И когда она уехала, то мистер Артингсон глубоко задумался. Его дело, его практическое дело с одной стороны, его полновесные доллары, а с другой... с другой, как странно играет судьба человеком! Разве можно сравнивать его Джеллу теперь с мисс Драйлинг, с умной мисс Драйлинг, но всё-таки старой старухой. А может быть она постарела до времени собственно потому, что принесла всю себя в жертву его счастью. Она любила его, да; в этом он был глубоко убежден и вот следы этой любви, подавленной, изуродованной; она сказала в этих морщинах, в этих поседелых волосах. Без этой сильной страсти может быть она бы еще сохранилась, сохранилась даже в сорок восемь лет, а теперь!.. И Артингсон глубоко вздохнул, широким взмахом откинул все свои кудри назад и, взглянув на часы, отправился устраивать свои практиче-

ские дела.

В семь часов, с аккуратностью истого американца, он явился на митинг. Там уже все кипело жизнью. Пятнадцать тысяч человек громкими рукоплесканиями приветствовали его приезд; повсюду в воздухе, на высоких шестах, струились разноцветные флаги; играла музыка, играло солнце на всей толпе, стоявшей на лужайке и махавшей шляпами, платками, и кричавшей изо всей силы, и заглушавшей и криками, и рукоплесканиями громкую музыку. Овация, одним словом, была полная, митинг вышел как нельзя более удачным, к полному торжеству и удовлетворению и мистера Артингсона, и членов клуба «Движенья». Мистер Тоуне в его речи сделал очень крупный намек на недавнее местное событие. С неделю тому назад, «правоверные» похитили из Айршинтона и его окрестностей целый десяток девиц и увели в их «нечестивый Новый Иерусалим», в это «гнездо Ваала», в эту «клокочущую геенну содомского отвержения», как ораторствовал мистер Тоуне, — «но ты! — продолжал он, обращаясь уже специально к Артингсону, — ты, освещающий

все светом твоего гения, брось свои громы и в это гнездо растления, порази козлиц, чтобы они не заражали наше доброе стадо, наших агнцев невинных, чтобы их ангелы смотрели безтрепетно на небесах, на лик Отца их небесного!..»

И этот мистический, библейский возглас произвел самое сильное действие на слушателей, не потому, чтобы тонкий голосок мистера Тоунса мог производить какое-нибудь сильное действие. Нет, слушатели были тронуты просто потому, что в их сердцах еще царствовала паника от недавнего похищения. Отцы и матери боялись за своих дочерей, братья за сестер, женихи и поклонники за своих невест и дульциней. И вот почему почтенный, коротенький мистер Тоуне ловко взволновал все стадо, и оно откликнулось восторженным браво на его библейский текст...

Настала очередь отвечать мистеру Артингсону, и он также встал на стол во всю вышину своего высокого роста; глаза его вдохновенно горели, на них стояли слезы, все лицо его, симпатичное и красивое, стало еще красивее.

Он постоял несколько мгновений и, тяжело дыша и оглядывая восторженным взглядом все собрание, все море голов, все лица, глаза, устремленные на него с жадным вниманием и, взмахнув руками, — начал громким, мягким, приветливым голосом, в котором, как будто из глубины всех чувств дрожали самые искренние, еще нетронутые струны.

*«Друзи и братья круга земного!..  
О! передаст-ли бессильное слово  
То, что трепещет в сердце рас-  
крытом,  
Что манит великим, могучим  
магнитом  
В высь, в ширину, в те заветные  
сферы,  
Куда все стремится с любовью и  
верой...  
Там, там источник, там съеди-  
нение  
Всех начинаний, всех наших  
стремлений!..  
Пусть темные силы, безумные  
страсти  
Играют над духом — не в их сла-  
бой власти  
Задуть яркий светоч сердец воз-*

рожденья...  
Настанет «день оный», исчезнут  
сомненья,  
И люди прозреют, друг друга узна-  
ют,  
Падут на колена, поймут, зары-  
дают;  
Поймут, где спасенье и правда, и  
сила,  
Поймут, что по-братски весь мир  
съединило,  
И скажут: мы знаем Тебя, Вла-  
стелина!  
О! будь же нам Пастырь — мы  
стадо едино!..»

И когда замер последний, дрожавший звук последнего слова Артингсона — собрание все окаменело, окаменело на одно мгновение и вдруг разразилось неистовой бурей. Все кричало, хлопало, летели вверх платки, шляпы, трости зонтики, многие обнимались по-братски, многие плакали. Это было действительно «едино стадо». Какая-то пожилая почтенная и вся растрепанная мистрис протиснулась к самому Артингсону; она вскочила на стул и подняла к нему милого курчавого мальчика с

грезовской головкой. Мальчик плакал и протягивал к Артингсону ручки. Артингсон взял его на руки, крепко прижал к сердцу, целовал, и мальчик целовал его, и слезы их смешались и катились по белому жилету Артингсона. И когда собрание увидало эту патетическую сцену — новый взрыв рукоплесканий, новый гром, как прилив волны в бурю, поднялся неистовый могучий, несокрушимый... Все было наэлектризовано, все опасения, вся паника, навеянная мистером Тоунсом, исчезли; и если бы теперь, среди этого собранья, явились правоверные мормоны, может быть, оно отнеслось бы к ним если не по-братски, то с снисхождением....

Наконец утих, замолк этот взрыв, многим стало совестно, точно после опьянения. Многие начали обсуждать, что такое сказано, где тут смысл, где дипломатический смысл — многие начали даже не одобрять речь-стихи вдохновенного поэта. А мистер Тоуне вертелся около него. Он говорил, что вдохновенная бессмертная мысль мистера Артингсона уже записана стенографами, и что он вероятно не откажет в позволении напечатать этот вели-

кий экспромт, как плод местного вдохновения, в местной газете. И Артингсон, еще подавленный собственным волнением и еще не понимая, что и кто ему говорит, жал маленькую ручку мистера Тоунса и говорил: «конечно, конечно!».

Впрочем, это волнение, или, правильнее говоря, настроение, совершенно овладело им и не покидало его целый вечер, вплоть до поздней ночи.

Когда он в одиннадцать часов оставил митинг и, сев в коляску, отправился к мисс Драйлинг, то глаза его также блеснули. Слезы, все разрешающие слезы, не унесли его волнения; он как-то смутно чувствовал, что праздник, настоящий праздник будет впереди, что там что-то ждет его радостное, неуловимое, неопределенное. Он как будто смутно сознавал те волнения, которые нахлынут на него, когда он переступит порог этого коттеджа, так ему знакомого, и в который он так часто входил с таким глубоким чувством любви, восторга, упования, в том поэтическом полусне, который может спускаться на светлых крыльях только на поющее сердце беззабот-

ной, светлой молодости.

И он наконец переступил этот порог; он увидел и эту лестницу, уставленную старыми кипарисами, и эту статую амура над фонтаном, перед которой он произнес когда-то сонет-экспромт слушавшей его в смущении мисс Драйлинг. Только кипарисы теперь сильно выросли и местами пожелтели, а на амуре выступили какие-то черные пятна, вероятно от плесени, разъедающей даже мрамор.

И жутко, и странно было Артингсону в этой среде, в этих комнатах; в этом салоне. Как будто он проснулся от долгого сна и снова перед ним та же, когда-то милая, уютная обстановка, но уже он не тот. Что-то широким колесом прокатилось по его жизни, немного помяло ее, сделало полнее, сложнее, пожалуй, даже лучше. Но где же вы, светлые беззаботные порывы, эти радужные, звучные иллюзии, или вы еще ждете там, в неизведанном будущем!..

Да! он не тот! Да и она не та. Эта прежде столь милая мисс Драйлинг, которая теперь хлопотала около него с таким добродушием.

И с каким удивлением встретил он в салоне её всех своих старых знакомых; и все эти гости были проникнуты таким же добродушием, как и сама хозяйка; они так рады были снова увидеться с мистером Артингсоном, они так любовно, чуть не со слезами, смотрели в его открытые глаза, и так крепко, чуть не до слез, жали руку этому чудному Артингсону. И мистер Пепчинс, сухощавый маленький старичок, философ, с большим сморщенным лбом, живыми, бодрыми глазками, и такой приветливой приятной улыбкой, и мистер Грин, восторженный и честный, высокий, тонкий, неуклюжий, с большими черными глазами на выкате, с большим острым носом, с толстыми губами, с длинными вьющимися черными волосами и с тонкой длинной шеей, которая казалась еще длиннее от отложных громадных воротничков. И мистер Литль — степенный, важный и необыкновенно ученый; мистер Литль — толстый, неуклюжий, большой, не смотря на его кличку, с румяными щеками, с седыми волосами, с густыми черными бровями и, наконец, с черным густым клоком волос под подбородком. Нако-

нец, и мисс Трайль и мисс Вуд, обе были здесь. Обе маленькие, обе юркие, восторженные, обе страстно любившие все, весь Божий мир, обе старые мисс, — одна бледная с прищуренными голубоватыми глазками, с полным подбородком, другая — не только розовая, но даже красная, немного насмешливая и, вместе с тем, жалостливая, готовая броситься в огонь и в воду за каждую букашку.

Да! все это были старые добрые знакомые, чуть не друзья Артингсона, всех он хорошо знал назад тому пятнадцать лет, когда жил в Айршингтоне и всех собрала теперь в своем салоне эта предупредительная мисс Драйлинг. Она как будто развернула страницу из жизни Артингсона, страницу старую, давно прочитанную, и которую он может теперь снова прочесть, несмотря на то, что эта страница пожелтела, полиняла и что многие буквы в ней, стерлись. Но эти недостающие буквы еще дороже для воспоминаний сердца.

— О! только сердце любящей и любившей женщины может читать в том милом прошлом, в котором нам было все дорого, потому что сердце всего больше дорожит своим чув-

ством, а сердце... разве это не сам человек, как он есть, со всеми его индивидуальными страстями — могучими, великими или пошлыми?

— О да, да, — ответили на этот вопрос, предложенный Артингсоном, чуть не целым хором и мистер Пепчинс, и мистер Грин, и мистер Литль, и обе мисс Трайль и Вуд.

Все были довольны и счастливы в их прошлом, счастливы настоящей минутой, и мистер Артингсон еще раз оглянул эту незабвенную для его сердца большую комнату, с мягкой, немного полинялою мебелью, с большими зеркалами и каминами и большою дверью на балкон, весь убранный зеленью; а вот и он прижался, в углу, тоже старый друг, маленький рояль.

— О! мисс Драйлинг! Вы позволите? — спросил Артингсон, быстро подходя к роялю.

Мистер Артингсон, старый дорогой друг, мистер Артингсон! — вскричала мисс Драйлинг, идя за ним вслед. — Вы дома, вы совершенно дома; разве вы не в кругу тех лиц, которые хорошо, слишком хорошо знают наши прежние чувства и... уважают их; о, я наде-

юсь, глубоко уважают. И она оглянулась на всех этих лиц. И тотчас-же мистер Пепчинс закивал энергически головой в знак полного безапелляционного подтверждения, а мисс Трайль замигала глазками и на этих глазках выступили слезки, а высокая грудь старой мисс тяжело вздохнула.

Артингсон сел за рояль. Он ударил по нем несколькими аккордами и эти аккорды, неизвестно как, будто случайно, сложившись, были началом одного из тех старых, вдохновенных созданий, которые написал он здесь, и которые были сыграны, в первый раз на этом самом, уже пожелтевшем, немного дрожащем, но все-таки певучем и сильном, рояле.

И вслед за этим аккордом, как бы сама собою, полилась та же самая, старая мелодия, но полная нестареющей силы; мелодия страстная, тоскующая, в которой звучали слезы неудовлетворенной страсти, и улетавшая в бесконечность, как все, неудовлетворенное, все незаконченное, неопределенное.

Долго играл Артингсон, долго слушали его безмолвные слушатели, и только когда мелодия разрасталась в полные, могучие, глухие,

волнующиеся аккорды или плакала и замира- ла в грустные жалобы, они переглядывались с изумлением, как бы, не веря этой силе зву- ков, этим смелым и законченным переливам, в которых как будто воплощалась вся вели- кая душа человека, со всем её страданьем, со всем сладостным трепетом невыразимого, широкого чувства любви.

Тихо, матовым светом горела большая лампа на большом круглом столе; тихо свети- ли полночные звезды на темном небе, сквозь широкие двери балкона. Артингсон вдруг остановился. Несколько нот, несколько зву- ков напомнили ему то, что казалось давно безвозвратно кануло в бездну прошедшего. Они напомнили ему забытую мелодию и за- бытые слова одного романса. Он изорвал и сжег его, похоронил без воспоминаний и вдруг он снова выплыл в памяти, как-то странно отдававшей теперь все, что было со- здано при этой самой обстановке, которая те- перь окружала Артингсона.

Он снова заиграл. Куплет ожил с прежней силой и звучным голосом он запел также ожившие, воскресшие слова. В этом голосе

снова явилась нега страсти, он был также свеж, крепок и мелодичен, как в дни былые. Он пел:

*Ангел ли белый иль белая птица  
Там в отдаленьи крылами сверкает;  
Море ли плещет, иль блещет зарница,  
Или далекая песнь замирает?  
Мрак иль сиянье! Покой или трепет!  
О милый друг! друг желанный ты мой!  
Кто беспокойному сердцу ответит?..  
Море любви ему в вечности светит,  
Светит желанный покой!*

И когда звучала эта песня, то под говор её звуков страстных, широких, под говор самой песни неопределенной, нескладной, безумной, как безумна юность, перед глазами Артингсона, внутри его — там, там, из каких-то темных, неизвестных тайников, выступал чудный образ молодой головки. Эта была головка мисс Драйлинг, но только совсем дру-

гая, полная поэзии, силы, головка с страстными, огненными глазами, с каким-то неопределенным, но могучим, восторженным, любящим взглядом и когда Артингсон поднял глаза — перед ним на яву, в очью, в действительном мире, стояла эта головка и смотрела на него своими страстными, широко раскрытыми, грустными и любящими глазами.

Да! тут произошло что-то странное, необыкновенное. Артингсон слегка побледнел. Он чувствовал ясно, что это не сон, даже не иллюзия, что перед ним стоит, облокотившись на рояль, образ этой чудной девушки или женщины, которая была сейчас тут внутри его, в душе, образ, завернутый в какой-то широкий серебристый плащ.

*«Ангел ли белый иль белая птица!»*

И смотрит на него этот образ в упор своими сверкающими, бестрепетными глазами, и чудными линиями изогнуты её алые губы, и все рассыпаны по плечам её густые, высоко вскинутые над беломраморным лбом, черные играющие кудри, и как хороши эти судорож-

но сжатые, белые чудные руки, на которые она облокотилась...

— Вот она, — говорит мисс Драйлинг, — вот она, моя дикая Дженн, моя племянница!..

Но Артингсон ничего не видит, не слышит. Он не может понять, что с ним делается и отчего он не может отвести глаз от этого странного образа, который так впился в него своими немигающими, страстными, восторженными, чуть не плачущими глазами.

И вдруг она протянула одну из своих белых, стройных, неподражаемых рук, и указывая на клавиши рояля, произнесла повелительным звучным голосом, как музыка страсти.

— Играйте, пойте, сэр, дальше, вы должны играть, там — есть еще куплеты.

И Артингсон, не понимая почему она приказывает, и почему он повинуется, и не отводя глаз от этих чудных глаз, которые приковали его какими-то непонятными чарами, заиграл и запел:

*Безумье блаженства, безумье  
страданья,  
Бренныи струны сердца людского!*

*Горе и радость, смех и рыданье,  
Туда-ль вы стремитесь, где веч-  
ное Слово,  
Где вечной любви и сиянье, и тре-  
пет?  
О! милый друг, друг желанный ты  
мой,  
Кто беспокойному сердцу отве-  
тит?..  
Море любви ему в вечности све-  
тит.  
Светит желанный покой!*

И когда мистер Артингсон кончил послед-  
нее слово, когда замер последний звук под его  
дрожащими пальцами, то опять совершилось  
что-то необыкновенное. Все, которые были в  
комнате, все обступившие и слушавшие Ар-  
тингсона, молчали и недоумевали, что это  
значит, даже седой мистер Литль, распрямив  
свои черные брови, смотрел на всех, и все с  
недоумением поглядывали друг на друга. Что  
это? Разве в первый раз в жизни они слышат  
музыку, разве перед ними гениальный вирту-  
оз? Отчего же они все возбуждены, потрясены  
этими звуками, этими странными словами,  
этой неопределённой, дикой, в её фантастиче-

ских порывах, песни. Что это такое?

Но только что кончил Артингсон, и не прошло, не разрешилось это сомнение, как случилось опять еще более удивительное и необъяснимое.

— Играйте, играйте же сэр, — произнесла она все тем же звучным, повелительным голосом.

Что же такое играть дальше? — подумал он — и сам не свой, не зная, что делает, он ударил по клавишам и с первыми аккордами аккомпанемента, она, она сама запела страстным и нежным, звучным контральто:

*Бессильное чувство, бессильное  
слово!*

*Ты рвешься, ты стонешь в тяжелых  
оковах,*

*Ты пробуешь сбросить цепи зем-  
ные*

*И унесись в небеса голубые!*

*Но что ж там обнимет, что те-  
бя встретит?..*

*О! милый друг, друг желанный ты  
мой!*

*Кто беспокойному сердцу отве-  
тит?..*

*Море любви ему в вечности светит,  
Светит желанный покой!*

И когда вырвался последний звук из её высокой груди и, задрожав, заплакав, исчез в воздухе, то все окаменели, даже мистер Пепчинс раскрыл свой маленький ротик. Но разумеется больше всех был поражен сам Артингсон, и он имел полное право быть изумленным и даже окаменеть в его изумлении. Он вскочил как безумный, не зная, где он, кто перед ним, фея, волшебница, злой демон, ангел. Ведь то, что она теперь пропела, он не верял никому, он сам забыл, совершенно забыл этот третий куплет; он даже забыл, что существует этот куплет, и вдруг она, она пропела его... Кто же она? Какая непонятная, невиданная сила в этой девушке!..

— Мистер Артингсон! дорогой друг мой! что с вами, вы взволнованы! — вскричала мисс Драйлинг, бросившись к нему, бледному, дрожавшему и готовому упасть в обморок, — у вас руки похолодели.

И все с изумлением и участием бросились к нему.

— Вы больны!?! — вскричала торопливая мисс Трайль.

Только она, одна она.... (Мистер Артингсон не мог подумать об этой девушке, не мог назвать ее иначе, как одним неопределенным местоимением — она), она посмотрела на него гордо своими сверкающими глазами, покачала своей чудной головкой, и, опустивши ее, тихо, плавно прошла и скрылась в растворенную дверь балкона, и Артингсону показалось, что не женский образ, а что-то туманное, неопределенное промелькнуло перед ним.

*«Ангел ли белый, иль белая птица!»*

— Мисс Драйлинг! — вскричал он, чувствуя, как сердце его замирает и схватился дрожавшей холодной рукой за свою пылавшую голову. — Мисс Драйлинг, дайте мне, ради Бога, стакан воды, льду, чего-нибудь!

«Что я!? подумал он, пьян, брежу, или бывают сны на яву, или свершаются и действительно могут свершаться чудеса в этой реальной, законной, положительной жизни? Или

все это фокус, случайность! Или об этом нельзя еще даже думать— это выше всякой мысли, анализа, всякого опыта.

А между тем мисс Драйлинг хлопотала, вся перепуганная, и вместе с ней хлопотали около Артингсона и мисс Трайль и мисс Вуд. Они усаживали и укладывали его на мягкий диван, мочили ему голову уксусом четырех разбойников и даже афинской водой.

— Это нервы, это все нервы действуют — говорил мистер Литль тихим и таким докторальным шопотом, как будто он сразу все разрешил и все объяснил.

— О! да, да, сэръ, — подтверждал мистер Пепчинс, — он очевидно взволнован, взволнован... этот митинг и эта восторженная музыка.

— И притом воспоминанье, — вставил каким-то подавленным, хриплым басом мистер Грин.

— О, воспоминанье! воспоминанье! — прошептала мисс Вуд, с каким-то выдавленным вздохом и подняла свои маленькие глазки прямо к потолку.

— Мисс — Драйлинг — сказал Артингсон

каким-то беззвучным голосом, приподнимаюсь с дивана, — я выйду на балкон.

— О! да, да, сэр, — подхватила мисс Драйлинг, — воздух чистый освежит вашу утомленную голову.

И он вышел на балкон.

Его тянуло туда, и он как-то смутно сознавал это. Он очень хорошо понимал, что-то, что промелькнуло перед ним, не может быть призраком, что это действительно девушка; он даже понял теперь, что это племянница мисс Драйлинг, и в то же время ему казалось, что она могла улететь, расплыться в тумане.

— Да почему же она не может улететь? — спрашивал его какой-то дикий, внутренний голос и он не мог, решительно не мог объяснить, в своей отуманенной голове: — почему она не может улететь?

*«Как ангел белый, иль белая птица».*

Он вышел на балкон; широким простором, свежим и теплым воздухом ночи охватило его и снова вернулся к нему этот прежним человеческим склад мысли.

Она была там, она стояла в зелени, облокотившись на перила, она смотрела неподвижно куда-то вдаль, в туман, над широким озером, на яркие полуночные звезды.

Он подошел к ней:

— Мисс Драйлинг! — сказал он и как-то странно отозвалось это имя в его душе, имя, казалось, ему совсем чужое и вместе с тем родное, любимое. И где, в каких далеких, ночных сновидениях, грезах безвозвратной юности он видел эту чудную головку, или ему только кажется это, также, как все теперь ему только кажется!

— Мисс Драйлинг! — сказал он, и она повернула к нему лицо и глаза, сверкавшие даже в ночном сумраке, — мисс Драйлинг, я желал спросить вас... извините — этот вопрос глубоко смущает, давит меня... Я желал бы спросить вас то, что вы пропели так недавно, этот третий куплет моего романса, он вам принадлежит... или... или вы слышали, читали его где-нибудь...

Мистер Артингсон, — сказала она, сдвинув брови, сказала тем же сильным певучим контральто, которым пела этот романс, — я этого

сама не знаю, я пела, потому что должна была петь, потому что внутри меня что-то пело... а что такое, какие слова я пропела, я этого сама не знаю: не знаю точно также, почему какой-то голос сегодня с утра твердил мне: он придет; не знаю почему, какая-то сила заставила меня выдти к вам, когда вы пели романс.

Артингсон почувствовал опять, что какая-то горячая волна приливает в его голову, что даже ночной, свежий воздух не освежает её.

— Мисс Драйлинг, — начал он, стараясь уловить какую-нибудь нить в этом темном хаосе, — мисс Драйлинг, вы согласитесь, однако, что все это странно, более чем странно... Припомните, может быть вы когда-нибудь слышали от кого-нибудь слова этого романа, может быть... он остановился, он хотел сказать — может быть они сами сложились в вашей голове, в вашем сердце, может быть мысль и чувства человека могут передаваться другому, когда и там, и здесь звучит ответный строй. Но он не сказал ничего. Он только чувствовал, что все это какая-то дичь, чепуха,

и схватил себя за голову обеими руками. — Я просто, кажется, рехнулся, подумал он, — не даром, она, моя добрая Джелла, так боялась, чтобы я не сошел с ума.

А мисс Драйлинг вдруг порывистым движением отшатнулась от перил балкона и подошла к нему. Глаза её еще сильнее засверкали, брови сильнее сдвинулись, она протянула к нему её чудные руки, прекрасные даже в темноте вечера...

— Мистер Артингсон. — сказала она, — да разве вы не знаете, что мы, все мы, ходим впотьмах. Разве мы знаем, что горит там... в этих далеких звездах, разве мы знаем, что творится вокруг нас? Какой ум, какие страсти скрыты в этом тумане, что клубится над озером. Я вижу там мелькает какое-то белое пятно, какой-то волнующийся призрак, я слышу какой-то смутный шум и чудный звук, который носится, плавает над этим озером в ночном тумане. Слышите ли вы его?

И действительно Артингсон вдруг услышал, или ему показалось, что он услышал какой-то неопределенный звук; он пронесся как жалоба грустная, мелодичная, какой-то чудо-

вищной невидимой птицы и исчез там, в недостижимых пространствах эфира.

Артингсон вздрогнул и отшатнулся от неё, от этого странного существа, которое стояло в виде такого обольстительного женского образа перед ним, и, не отнимая руки от головы, в которую стучали какими-то горячими молотами, он вбежал в комнату...

— Мисс Драйлинг, друг мой! мисс Драйлинг! — вскричал он, — я должен уехать. Где моя шляпа?.. Мне кажется я с ума схожу...

И он схватил шляпу, и едва коснувшись протянутой руки мисс Драйлинг, не понимая, что она говорит и что хотят от него эти лица, которые стоят перед ним с таким искренним сожалением; он бросился вон из этой странной, заколдованной атмосферы.

— Я провожу вас, сэр, — кричал ему, догнав его, мистер Литль, и на бегу он звонил в колокольчик и кричал: где грум, где коляска?..

Он усадил в нее мистера Артингсона, как маленького ребенка; он так заботливо предлагал ему понюхать Smith's-Triplessence и так убедительно объяснял ему, что расстройство

нервов может быть пагубно, очень пагубно. Он говорил ему о сильном на них действии музыки, вина, душного вечера, поэтического настроения и женщин, в особенности женщин.

Но Артингсон и слушал, и не слушал этого обязательного, начитанного и рассудительно-го мистера Литль. Он ничего не понимал, не помнил, что он говорит, и что с ним делается. Когда он вернулся к себе, он принял какие-то успокаивающие капли, обвязал себе голову полотенцем, намоченным в самой холодной воде, а главное старался ни о чем не думать, ни о чем не представлять себе, и мало-помалу волнение улеглось, струны затихли, сердце начало стучать ровным, мерным стуком и он заснул, как убитый.

## II

На другой день Артингсон встал усталый, вялый и сонный. Он посмотрел в зеркало на свое побледневшее лицо, на свои тусклые глаза и решил, что так нельзя, что никогда он не был так утомлен, что вчера возбуждение нервов было страшное, и все, что было вчера, было действительно только возбуждение нер-

вов. Одним словом, мистер Артингсон пришел к тому же заключению, к которому пришел и рассудительный, практический мистер Литль.

И он принялся распечатывать письма, только что принесенные с почты, письма от его жены, от его милой жены, от его детей... Он с таким наслаждением читал строчки любимой, дорогой руки:

«Друг мой милый и дорогой мой Артур!»  
(писала эта рука).

«Я пишу к тебе почти тотчас же после твоего отъезда, пишу собственно затем, чтобы ты был покоен, чтобы ты знал, что все мы и в твоём отсутствии помним о тебе, вспоминаем постоянно и ждем тебя. Посылаем тебе наш искренний любовный привет и целуем тебя крепко. Твоя глубоко, искренно любящая Джелла».

«Дорогой, милый друг мой, отец мой!» — писала четырнадцатилетняя дочь его, Лида. — «Странно!.. мне скучно без тебя — я очень хорошо знаю, что ты скоро вернешься, что мы расстались ненадолго, и что мы не вечно будем жить с тобой, но мне скучно без

тебя. Я почти готова плакать. Мне все кажется, что с тобой случится что-то недоброе. Ах! дорогой мой! Как крепко, крепко люблю я тебя. Я молюсь за тебя, прошу тебе защиты, благословенья от Того, Кто один может защитить от всего весь род людской. Обнимаю тебя и желаю одного, чтобы ты скорее, скорее вернулся к нам. Твоя Л.».

В конце письма было крупными буквами вкривь и вкось написано: «Милый папа! я тебя люблю, право люблю. Твоя Э.».

И мистер Артингсон с радостью и благодарным чувством читал эти строки. Его лицо сияло и слезы накали на сердце.

Он вспомнил и жену свою, милую Джеллу, такую любящую, добрую и рассудительную, с такими кроткими, большими серыми глазами; он вспомнил и свою Лиду, умную не по летам, умную и красивую девушку. Но сквозь все эти воспоминания невольно являлся образ другой головки, этой странной, таинственной мисс Джени Драйлинг. И зачем он являлся?! И что за странное существо такое, что говорила она ему вчера, что такое свершилось вчера?

Но Артингсон встряхивал своими длинными кудрями и, чуть ли не в двадцатый раз, давал себе слово не думать больше о вчерашнем вечере, и все-таки думал. И этого мало. Он даже отправился к мисс Драйлинг, отправился, разумеется, после всех своих практических дел, переговорив с несколькими нотариусами, совершив какой-то контракт на 2.000 долларов пожизненной ренты, наконец, продал какие-то бумаги на 25.000 долларов.

Мисс Драйлинг сама его встретила на лестнице; она издали с балкона увидела его и побежала к нему навстречу так быстро, как только позволяли ей её старческие ноги.

— Ну, что вы, что с вами? — спрашивала она, пристально глядя ему в лицо. — Я так беспокоилась за вас... я хотела уже послать к вам, ехать сама...

— О благодарю, тысячу раз благодарю! — говорил мистер Артингсон.

— Это пение, музыка и этот митинг расстроили вас... Притом, я думала, не была ли причиной, какой-нибудь невольной причиной — моя племянница. Ах! Мистер Артингсон, если-б вы знали, как я несчастна!.. Сиди-

тесь, садитесь вот сюда... я все расскажу. Я до сих пор не писала вам об этом, но моя Джени... эта милая, дорогая Джени... порой Она причиняет мне такие глубокие огорчения — И на глазах мисс Драйлинг выступили слезы. — Я не могу винить ее, — продолжала она, вытирая как-то порывисто эти надоедные слезы. — О! как же я могу ее винить! Я думаю, что она сама несчастна, и может быть, более несчастна, чем её несчастные отец и мать... О! Артур! вы знаете их горькую, плачевную судьбу...

Мистер Артингсон молча кивнул головой, не отрывая своих грустных, задумчивых глаз от рассказчицы.

Перед ним, на одно мгновение, промелькнули два образа, образа, полные юных, светлых сил и безвременно исчезнувшие в могиле. Оба, он и она, так странно, как-то фантастически любили друг друга. Он был какой-то восторженный мистик, фанатик, красавец собой, рослый, статный, с южным колоритом, с большими черными, страстными глазами. Он увлекал многих своими проповедями в какую-то маленькую, темную секту фотозофов

и секта быстро разрасталась, и точно также быстро рухнула с его смертью. Он умер вскоре после жены, маленького, худенького существа, которое умело только любить, плакать и молиться. Мистер Драйлинг считал ее ангелом хранителем его жизни, и когда она умерла, от быстрой скоротечной болезни, вскоре после родов Дженн, — он не возлюбил этого ребенка. Он мучился, положительно мучился целый год, безумствовал, совершал небывалые, неслыханные поступки. Секта верила в него, как в пророка, и вдруг, в один вечер, его нашли мертвым в его собственном саду, в кустах над речкой. Говорили, что он отравился, другие утверждали, что его отравили. Но темное дело осталось темным!

Мисс Драйлинг взяла к себе ребенка, дочь её брата, маленькую Дженн, и воспитала ее с такой заботливостью, с такой нежной любовью, с какой редкая мать воспитывает её собственную дочь.

— Ах, вы не можете представить, дорогой мой мистер Артингсон, — говорила мисс Драйлинг, складывая руки, — вы не можете себе представить, как я люблю ее! И она стоит

этой любви, это чудная девушка, добрая, умная и талантливая; но она... она... голос ее задрожал. — Она немного расстроена здесь, — и мисс Драйлинг показала на свою голову, помахала рукой около своего лба и голос её порвался. И снова слезы побежали из её покрасневших глаз.

— Неужели это неизлечимо? — вскричал Артингсон с таким теплым участием.

Мисс Драйлинг покачала головой и начала шопотом, быстрым, отрывочным, наклонясь к Артингсону:

— Она была в той секте, в той ужасной секте «просвещенных»!.. Ведь вы знаете, это какие-то бешеные, поврежденные... И она проповедовала там на митингах, на их безобразных митингах!.. И сколько мне стоило труда. Ах! сколько стоило труда мне, мой дорогой друг, вернуть эту бедную овцу снова в мой дом!

— Но почему же вы думаете, что она помешана? — спросил довольно резко мистер Артингсон, хотя и мягким, задушевым шопотом.

— О! — вскричала мисс Драйлинг и начала

так быстро вертеть своей головой, как будто в этом верченьи и были все самые неопровержимые убеждения и доказательства. — У ней грезы, галлюцинации, — прошептала она так таинственно, что Артингсон только по движению её губ мог догадаться, что такое она сказала.

— Но почему же вы думаете?.. — снова спросил он.

— Ах! мистер Артингсон, — перебила его мисс Драйлинг, снова переходя в восторженное состояние, — но если бы вы знали, какая эта добрая, добрая чудная девушка!

И вдруг мисс Драйлинг оглянулась и замолкла.

Позади неё стояла она сама, эта добрая, добрая, чудная девушка.

Мистер Артингсон подошел к ней и протянул ей руку. Он прямо, доверчиво смотрел на это лицо и невольно дивился — не красоте его, хотя красота была действительно поражающая, — он дивился перемене этого лица. Он искал в нем то страстное, гордое, торжествующее выражение, которое так сильно взволновало его вчера, и не находил.

Перед ним стояла красивая девушка, с такими ласковыми, доверчивыми глазами, с такой милой улыбкой и так просто от души пожала она его руку и смотрела на него с невинной детской лаской...

— Мисс Джени, — сказал он, — я до сих пор не могу придти в себя от того, что случилось вчера вечером... я удивляюсь до сих пор, что это было такое?

— Я не знаю, — отвечала она, садясь подле него на кресло, — о чем вы говорите, сэр, я не знаю — говорила она, поправляя обеими руками свои чудные роскошные кудри — о чем вы меня спрашиваете, сэр?

И странное дело! Даже голос её был совсем другой; он был такой же певучий, мелодичный, но в нем не звучала ни одна могучая, страстная, повелительная нота. «Это решительно другая девушка!» решил мистер Артингсон.

— Я не знаю, сэр, ничего! что случилось вчера. Я только смутно помню, что мы виделись с вами, что вы играли, что я, кажется, пела... но что вы играли, и что я пела — я решительно ничего не помню.

Артингсон обернулся к мисс Драйлинг, как будто в ней отыскивая разрешение этому странному недоумению.

— Вы видите, видите, дорогой мой друг, — говорили глаза мисс Драйлинг, — вы сами видите. Я была права, жестоко права, — и она качала головой и грустно улыбалась.

— Мисс Джени, — заговорил вдруг Артингсон каким-то резким, но глубоко откровенным голосом, — мы сейчас говорили с моим дорогим другом, с вашей теткой...

— С моей матерью, — поправила его Джени, — с моей матерью, сэр. Я называю мисс Драйлинг не иначе, как моей дорогой мэм, и я думаю, что я права. Она отдала мне все, что может отдать своей дочери родная мать, — она отдала мне свое сердце.

— С вашей матерью, — продолжал настойчиво Артингсон, нисколько не смущаясь этой поправкой и находя ее совершенно законной. — Мы говорили, мисс Джени, о странностях вашего характера, ума, сердца. Она рассказывала мне, что вы были в этой непонятной секте, в этой общине «просвещенных».

— Да, сэр! Я не только была, я до сих пор в

ней моими чувствами, умом, убеждениями.

— Но ведь эта секта, мисс Дженн, ни во что не верит! — произнес с ужасом Артингсон.

Дженн покачала головой.

— Вы ошибаетесь, сэр; вы получили превратные, очень превратные понятия о «просвещенных». Если верой вы называете, то неопределенное чувство, которое основывается только на влечениях сердца, одного сердца то этой веры «просвещенные» действительно не имеют; но разве, сэр — это вера? Мы видим, что мироздание лежит в пределах неуловимой, беспощадной законности; мы стараемся узнать эту законность, мы стремимся к этому всеми нашими помыслами, желаниями, трудами; мы ищем истину, мы жаждем её света и мы верим, да, мы верим, что дождемся этого света! Разве это не вера?!

— Но, мисс Дженн! — вскричал с удивлением Артингсон, — ведь это ересь, вы не можете узнать ничего, что выше человеческого знания — есть пределы земному! Там, там, только в вечной жизни может явиться эта истина, которую вы ищете, и то для немногих, для избранных, для тех, кто «сердцем свят,

что чист душой»!

— Вы сами проповедуете ересь, — сказала, грустно качая головкой, Дженн и смотря прямо на него своими ясными, черными глазами (Боже! как хороша она, думал Артингсон.

Все в лице её чудо совершенства, ума, грации и удивительной, поражающей гармонии!) — Разве пророки, вдохновенные глашатаи истины или поэты не знали ее. Или все, что они говорили, все, что сказано в преданиях, все это ложь или вы сами на себе не испытали этой силы вдохновения? Разве к вам не являлись те минуты, когда человек как будто прозревает, как будто видит дальше, чем он может видеть в другие простые, обыденные минуты нашей прозаической жизни?

Артингсон приподнялся с дивана. Его поразила эта странная, небывалая мысль и это сопоставление. Ему показалось оно непростибельной профанацией.

— Мисс Джени, — вскричал он, — да разве можно сравнивать то, что говорим мы, даже в минуты вдохновения, с тем, что открывают нам эти люди в минуты их великого просветления! Ведь мы только растолковываем и со-

бираем, по клочкам, земные человеческие чувства, а они, они...

— Не только можно, но даже должно, сэр, сказала Джени самым убедительным тоном. — Если вы согласитесь, что поэт и все возвещающие истину, говорят одно — одни больше, другие меньше, то вы согласитесь также, что каждый человек, который не лжет, не ленится и стремится узнать истину, идет по тем же стопам, по той же дороге. Одни творят больше, другие меньше, и кто решит: больше ли созидает вдохновенный пророк, поэт или ученый? Если один открывает нам великие истины, то другой указывает на их применения в области чувства, третий — в области ума. Неужели же вы скажете, что ученый работает по-пустому и поэт лепечет пустяки, что искусство и наука — ложь и призраки ума и чувства! Ведь вы сами поэт и музыкант!

Прошло несколько мгновений. Артингсон ничего не мог ответить. Он никогда не шел так далеко, для него вера была верой, наука — наукой; искусство — искусством. Такое широкое обобщение для него казалось немисли-

мым, потому что он никогда об этом не думал.

— Но неужели же, — прошептал он, — все это по-вашему одно и то же; неужели же вы думаете, что вера, наука и искусство идут к одному, что они сливаются?!

— Да, мы убеждены в этом, — сказала Дженн — мы ищем везде истину, и если художник и ученый не будут искренны, если они не будут работать ради истины, ради одной истины, то их созданья будут ничтожны, эфемерны или то, что они делают, делают не они, а сама Истина, тот закон, те случайности, которых мы не знаем, которых мы ищем, для того, чтобы не бродить впотьмах.

Артингсон снова задумался. Он снова был поражен. Новое ученье, новый свет открылся перед ним. Высоко приподняв брови, он посмотрел на мисс Драйлинг; но мисс Драйлинг изображала олицетворенный ужас. — «Вы видите говорили её испуганные глаза, вы видите, что это еретичка, безбожница, а между тем, это моя племянница, моя дорогая, милая Дженн, которую я люблю так сильно, потому что она умная и добрая, добрая девуш-

ка...

— Но мисс Дженн — сказал Артингсон, — ведь это все странно и неопределенно; ведь в этом нет никаких верований; разве может удовлетворять вас только знание, разве вы найдете возможным дойти до убеждения в существовании вечной жизни, в необходимости человечности и братской любви?..

Дженн посмотрела на него с удивлением — она не вдруг поняла, о чем он спрашивает; они, очевидно, говорили разными языками.

Мистер Артингсон, — ответила она, — чего мы не знаем, того мы не можем ни признавать, ни отвергать; но как же мы можем отвергать то, что существует. Любовь существует, оно действительно существует — это мировое чувство. И мы стараемся узнать, определить все рода, все оттенки этого чувства, определить его связь с другими явлениями и влияние его на эти явления. Из каждого чувства мы стараемся извлечь как можно больше пользы для нашего дела, для дела просвещения, и что нам за дело до человечности, до любви христианской, мы адепты нового уче-

нья. Наш кружок, наша община работает постоянно с любовью к её делу, к делу знания во всех его видах, и вот её задачи и цели, а до петиизма нам нет дела...

— Что же это! — вскричал Артингсон, — это просто ученое общество ваше учение или секта?

— Нет! «просвещенные» не составляют такого ученого общества, какие вы привыкли видеть. Наш устав и наши принципы совсем иные... Да вы разве никогда не читали нашего журнала?

Артингсон сознался, что не читал. Он читал только возражения, ожесточенные и грубые нападки на этот журнал и эти нападки распространялись в числе нескольких сот тысяч экземпляров в одном из известных изданий. И вот эти-то нападки или это издание доставили секте «просвещенных» весьма странную и самую нелепую репутацию. Но разве существует такая нелепость, в которую не уверовали бы в самой прогрессивной стране, в той стране, где сталкивается такая громадная масса всяких интересов, где конкуренция несется на всех парах, влечет все вле-

ред и роет яму чуть не каждому, на каждом шагу!

— Я сейчас принесу вам наш журнал — сказала, вставая, Дженн и ушла бойкой походкой.

— Вы видите, видите, дорогой мой друг! — быстро заговорила и замигала глазами мисс Драйлинг, — что же я могу тут сделать? Вы видите, как она увлечена и как болит, о! как болит мое бедное сердце.

Не унывайте, мисс Драйлинг, — утешал ее Артингсон — друг мой. Может быть, зло не так сильно — я сам еще не понимаю, что это за странное ученье такое. В нем, очевидно, какие-то софизмы, какая-то небывалая юная философия, которая исчезнет, как все юное, и обратится к строгим принципам великого учения. Но, произнося эти слова, мистер Артингсон сам был не вполне уверен, что он говорил истину.

— Вот он! — сказала, входя, мисс Дженн и подала Артингсону небольшую пачку печатных листков. На первом из них стояло: — «The Enlightener» — «Просветитель».

— Вы позволите взять их с собой? — сказал

Артингсон с любопытством перелистывая журнал.

— О да, да!.. Хотя я вовсе не желаю пропаганды. Мы все не желаем её, мистер Артингсон. Мы убедились, что пропаганда приводит много званых и мало избранных, мало тех, которые могли бы трудиться с умом) любовью и талантом. И вот почему, мы только изредка устраиваем митинги и принимаем некоторые, самые невинные, меры для того, чтобы собрать для общества немного денежных средств. Мы ищем капиталов, мы ищем средств повсюду, поодиночке, строго взвешивая шансы и разбирая способности. Но, к сожалению — прибавила Дженн грустным голосом, — из тех немногих, которые работают в общине, очень часто случай, прирожденные симпатии похищают у нас...

И вдруг она остановилась, взглянула на мисс Драйлинг, бросилась перед ней на колена и, целуя её руки, заговорила быстро, самым искренним задушевным голосом:

— О! мэм, мэм, моя дорогая, родная, я не делаю никакого намека, я не о себе говорю — ты знаешь, что я забыла о себе, что я живу для

тебя, для твоей жизни бедной, разбитой... Артингсон был поражен словами, страстным порывом этой девушки. Его сердце сжалось: ведь это о тебе говорят! подсказало оно. И он чувствовал, что здесь перед ним два больных сердца, — одно пылавшее к нему одному глубокой любовью, плачет теперь разбитое, похороненное, а другое, другое отдало себя вполне этому разбитому сердцу, оно пожертвовало самыми дорогими, разумными, человеческими симпатиями, для того, чтобы это сердце могло жить... И мистер Артингсон ясно сознавал, что он разбил это сердце; он теперь только вполне понял, что не только душа, но и тело мисс Драйлинг должно было принадлежать ему, и; снисходительно отказавшись от тела, он разбил самую душу.

Да! его положение было невыносимо неловко.

А мисс Драйлинг совершенно расплакалась, чуть не до истерики. Она целовала её племянницу, её милую Дженн, целовала её чудные глаза, руки с таким страстным порывом, как будто ей было не сорок восемь, а только двадцать лет.

— Простите, простите, дорогой мой друг, — залепетала она сквозь слезы и рыдания, протягивая к нему трепещущую руку. — Простите эту глупую безумную сцену!.. — И он схватил эту руку и покрыл её не только поцелуями, но поздними, тихими слезами.

— Сэр! — сказала Джени, — вы, наверное, останетесь здесь до вечера, я надеюсь... я мечтаю, что у вас вечер свободен. — И она вынула быстро из кармана флакон и подала его мисс Драйлинг, потом так же быстро вынула из другого кармана другой флакон и, налив на её розовую ладонь какую-то ароматическую, острую жидкость, начала смачивать ею виски и голову мисс Драйлинг.

— О! успокойся, моя дорогая мэм, я с тобою, я не покину тебя, я люблю тебя, — шептала она.

И так нежен, так был полон могучих звуков любви этот певучий голос.

— Артингсон и удивлялся, и любовался на это лицо, которое дышало силой жизни и делало такой резкий контраст с старческим, страдающим лицом мисс Драйлинг.

— Я остаюсь, мисс Джени, и поверьте, ка-

кие бы ни были дела, занятия, я остался бы, — говорил Артингсон, — если это только может успокоить моего дорогого друга, успокоить вас, мисс Джени.

И он остался; он был так разговорчив и одушевлен за обедом, он говорил с полной искренностью ребенка, он рассказывал такие подробности о его семейной жизни и с таким чувством описывал его счастье, его Джеллу, его детей, что мисс Драйлинг невольно схватила его руку и так крепко пожала ее, как будто хотела сказать: видишь ли, я была права, и всем этим ты мне обязан.

А после обеда она совсем опустилась. Старческое, дряхлое утомленье обхватило ее.

— Мэм! дорогая моя! — говорила Джени, — ты приляг здесь, — и она быстро перекатила своими прекрасными и сильными руками маленький диванчик к самому балкону: — ты приляг здесь; теплый вечерний воздух успокоит тебя. — И она положила на диванчик две мягких подушки.

— Я лягу, — говорила мисс Драйлинг, — может быть я даже усну, а ты уведи мистера Артингсона туда — к себе. Покажи ему твои

приборы и аппараты. Я надеюсь, он не будет взыскателен... Я успокоюсь и буду снова человеком, еще полным жизни, хотя эта жизнь не нужна ни для кого, и всем мешает!..

Но Джени не дала договорить ей, она закрыла ей рот поцелуем и уложила ее на диван, поправила подушки и долго, долго, тихо целовала её лоб, пока чуткий сон, как будто навеянный этими нежными поцелуями, не спустился на всё это усталое, разбитое существо.

— Что же? — сказала она чуть слышным шопотом Артингсону, приложив палец к губам, — пойдите ко мне, в мою келью.

И, оглядываясь поминутно назад, на цыпочках, она повела его за собой.

Они прошли несколько комнат, поднялись по витой чугунной лестнице в верхний этаж и, сквозь небольшую переднюю, вошли в комнату или скорее залу, на пороге которой остановился с изумлением Артингсон.

Прежде всего его обдало ароматом всевозможных невиданных, громадных цветов, которые стояли на всех почти окнах-балконах этой комнаты. Все простенки её были устав-

лены шкафами, обвешаны гравюрами и фотографиями; затем вся середина её была загромождена столами, на которых были разбросаны книги, рукописи, расставлены какие-то странные инструменты физические или химические.

Множество разных банок широких, плоских стояло на этих столах и на одном из них, под огромным стеклянным колпаком, качались рычаги, вертелись колеса, действовал какой-то странный аппарат, который чуть не каждую минуту звенел чуть слышно невидимыми мелодичными колокольчиками.

— Садитесь, сэръ, — сказала Дженн, придвинув к одному столу мягкое, широкое кресло, — я принимаю вас в моей келье или лаборатории, назовите ее, как хотите. Я называю ее маленьким уголком, которым я должна довольствоваться поневоле. О! если б вы видели наши лаборатории, там в нашей общине, в нашем храме Истины!

— Мисс Джени — сказал изумленный Артингсон, — я не знаю, чему здесь удивляться; я назвал бы этот уголок кабинетом ученого если бы здесь не было столько цветов; и я не

понимаю, неужели вы можете жить, работать в этой тяжелой, ароматной атмосфере?!

— Могу, сэръ; я к ней привыкла — это единственное мое утешение... О! Не думайте, что я сожалею о тех потерях, о тех жертвах, которые я принесла моей дорогой мэм. Нет!.. Я просто люблю цветы, их свежесть, их благоухающую атмосферу, и если их аромат становится слишком тяжелым, невыносимым для нервов, то мне стоит только открыть этот кран, и газ, который скрыт там в резервуаре, нахлынет в воздух и уничтожит раздражающий запах этих эфирных масел.

— Но, мисс Джени!.. мне кажется, вы просто ученый. Что это там у вас на том столе? Мне кажется, маленькие аквариумы, а там, под этими стеклянными колпаками, растут какие-то растеньица... и этот инструмент загадочный... что это такое? Это все ваши работы, ваши занятия?..

— Да, сэръ, я работаю, как должен работать, я полагаю, каждый человек; я работаю над многим понемногу, сколько позволяют мне мои маленькие силы и средства, и — если хотите — я вас посвящу отчасти в наши таин-

ства, потому что мы, все члены общины, действительно работаем втайне. Мы ищем во всем общей связи, разгадок великих явлений и вот почему почти ничего не печатаем из наших работ, не печатаем потому, что мы не связываем с ними наши имена. Мы трудимся не для себя, а для дела и публикуем только тогда, когда из общих наших усилий выходит какой-нибудь общий стройный вывод. Вот посмотрите, здесь, — говорила она, приподнимая несколько стеклянных колоколов, — воспитываются растения под влиянием различных сил, и весь вопрос сводится к тому, насколько эти силы изменяются в этих маленьких растениях и являются как будто чем-то особенным. Вопрос очень сложный и я тружусь только над самой маленькой долей его. Другие мои товарищи, мне помогают. Здесь в этой машине или аппарате (и она подвела его к большому стеклянному колпаку, которым был прикрыт этот аппарат), здесь совершается, так сказать, учет всех сил, которые действуют в этой комнате. Каждый солнечный луч, заходящий сюда, оставляет здесь следы его непосредственного влияния и в тепловых

и в световых отпечатках, а по ним можно вывести учет этого влияния, как действующей, возбуждающей силы на все, что здесь находится, растет, развивается. Вот здесь, сэр, — и она из большего картона вытащила пачку каких-то синеватолиловых бумажек, испещренных множеством линий кривых, ломаных, — здесь вы видите образчик тех бюллетеней, которые ведет этот инструмент — и записывает каждую минуту, каждую секунду... А там — она быстро опустилась, села на пол и встряхнула каскадом её черных волос, и, как бы невольно, подле неё опустился Артингсон — там... она распахнула дверцы шкафа, на котором стоял прибор. Вы видите другую еще более сложную часть аппарата.

Артингсон заглянул внутрь и действительно увидал целое громадное пространство. Часть его даже уходила под пол и терялась где-то в темной глубине. И все это громадное пространство было занято множеством валиков, шестерней, колес, рычажков, винтов, трубок, целой батареей каких-то длинных, тонких стеклянных сосудов, целым строем каких-то табличек. Все это вертелось, двига-

лось, опускалось, поднималось, то медленно, то с неуловимой для глаза быстротою и какой-то тихий смешанный гул и неуловимый, тонкий запах поднимался от этого чудовищного прибора, который составлял какой-то особенный мир.

— Здесь, — объясняла Джени, и объясняла с увлечением, которое так сильно блеснуло в её прекрасных глазах, здесь вы видите другую сторону учета. Каждый газ, который смешивается с воздухом в этой комнате, каждое испарение отражаются в этом аппарате; на нем можно узнать всякое химическое соединение, которое моментально, в минимальных количествах появляется в этой комнате. Все, что пролетит в здешней атмосфере, тотчас мгновенно улавливается и записывается этим аппаратом... А здесь, — и Джени распахнула дверцы другого отделения шкафа, — здесь записываются колебания воздуха, все звуковые волны, весь теперешний разговор наш с вами. Видите, как сильно хлопчет и работает этот аппарат, теперь, когда наши слова заставляют его работать.

Но Артингсон ничего не видал больше; его

изумление достигло пределов. Никогда, нигде он не читал, не слышал об том, что совершалось теперь воочию, перед его глазами. Точно какой-то сказочный, волшебный мир открывался перед ним и при том все это совершалось в какой-то своеобразной, странной и такой красивой, удивительно красивой обстановке. На всем была видна какая-то чудная гармония, все это сочеталось в общий строй и эта громадная комната и весь её странный порядок со множеством самых разнообразных запутанных предметов, и эти громадные ароматные цветы и блеск заходящего солнца на всем и, наконец, эта чудная девушка, под лучами этого солнца, как будто сама сияющая сильнее всякого солнца, дышущая самым полным совершенством красоты, чудным ароматом юности, силы, ума, таланта. И все это измерялось, записывалось этим странным инструментом этим волшебным чудовищем, которое так таинственно действовало перед ним всеми своими колесами, валиками, рычажками и шумело каким-то шепчущим, мягким шумом и звенело мелодичными, серебряными колокольчиками.

— Мисс Дженн, — сказал он, быстро вставая с пола, — я просто ослеплен; я чувствую, что начинаю терять, всякую способность мыслить, всякое понимание, соображение все это точно чудо какое-то, которому и хочется верить и не смеешь верить — до того оно необыкновенно.

Она закрыла дверцы шкафов, и сама поднялась с полу.

— Мистер Артингсон, — сказала она с грустью, — если б вы знали, как много в этом аппарате не совершенного, как много надо работать, сколько ума и таланта потратить на то, чтобы он служил действительно полным наблюдателем всех явлений даже в этой комнате. Вы, вы не были бы изумлены ни его действием, ни его сложностью. Правда, он заменяет человека, даже нескольких человек, но что же из этого. Там у нас есть аппараты, которые могут записывать даже мысли, даже чувства человека, но как все это сложно, запутано и каких трудов требует управление и работа с этими аппаратами! И затем, разве они дают разгадку? Они дают только материал, над которым нужно работать целые годы, це-

лые десятки лет.

Артингсон был снова поражен; снова его мысль, удивление было возбуждено этими неслыханными результатами.

— Мисс Дженн, — вскричал он, — так ли я вас понял! Вы говорите, что мысли и чувства могут быть записаны и измерены? Вы можете измерить душу человека!..

— То-есть индивидуальность, вероятно хотели вы сказать. Да, сэр! до некоторой степени, и я вам могу показать пример тому, даже на этом моем маленьком бедном аппарате. — Она быстро наклонилась к шкафу, в котором машина записывает звуки, раскрыла его и передвинула в нем какой-то механизм. — Я поставила его для сильных звуковых волн и теперь посмотрите на результат его работы.

И она быстро пошла в дальний угол этой комнаты. В этом углу, подле камина, стояло маленькое пианино, которого Артингсон до сих пор не заметил, и над этим пианино на полках статуэтки, слепки с разных знаменитых классических произведений древней Греции. Там были коллекции рук, ног и экорше в разных позах. — Она села за пианино и Ар-

тингсон опустил ся подле неё на табуретке.

Его сердце билось тем тихим, тяжелым тактом, который является при сильном волнении. Он весь был наэлектризован, всем, что его окружало и все это связывалось как в центре в ней, в этой удивительной девушке, на которую он не мог смотреть иначе, как с восторгом благоговения, как на существо, выше которого он не встречал во все года своей, уже пожилой жизни.

И при этом благоговении он в то же время ясно сознавал, чувствовал, что это существо детски доброе и что между ним и ей нет ничего, никаких тайн, недоразумений что их сердца родные, близкие.

— Я вам сыграю одну и ту же мелодию с разными оттенками чувств, сказала она и начала играть какой-то странный, беглый и глубокий *presto appassionato*. — Но в этой игре, при всей её восхитительной, безукоризненной технике, было все мертво, деревянно.

И, между тем, Артингсон слушал с увлечением эту мастерскую, виртуозную игру, этот странный мотив, в котором было гораздо больше силы мысли чем во всех творениях

Моцарта и Бетховена.

— Что это такое? — спросил он, — стараясь припомнить, где, когда он слышал эту чудную мелодию.

Но, не отвечая ему, она сказала:

— А теперь, сэр, слушайте тоже самое, только иначе выраженное.

Она как-будто задумалась на одно мгновение, не отрывая рук от пианино и все лицо её странно преобразилось: — глаза поднялись кверху, заблестели невыразимым блеском, грудь заколыхалась и по всему её телу, казалось, пробежала какая-то странная дрожь, как зыбь, еще не улегшегося бурного моря.

Она взяла *moendo*, глухо, первые басовые аккорды и вдруг разразилась целым потоком страстных, восторженных звуков, в которых каждая нота любила, страдала, молила и глохла как жизнь молодая и безвременно гибшая!

Артингсон вскочил. Он никогда не слышал такой музыки, такой восторженной страстной музыки, в которой, казалось ему, выразились все человеческие страсти и страдания, все их бури и скорби, их отчаяние и насла-

ждение жизнью.

— Мисс Джени — вскричал он, — что это такое? Что за удивительная, сильная музыка?

Но опять, не отвечая ему, она быстро встала, руки её еще дрожали, еще не улеглось волнение в груди.

— Смотрите, сэр! — сказала она, опускаясь к шкафу и вынимая из него две длинные, свернутых полосы бумаги, разграфленной на мелкие клеточки. Вот, смотрите, какая громадная разница между простой игрой и между игрой с одушевлением, и она показывала ему ломанные линии, начертанные на этих клеточках. Вы видите, как высоко поднимается, дрожит каждый страстный звук. Отсюда из этих двух линий можно вычислить самое напряжение страсти, чувства в его оттенках.

Но Артингсон почти не слушал, не понимал, не хотел слушать, что она толковала.

— Мисс Джени! меня больше занимает эта музыка, самая музыка, которую вы играли! откуда это? Позвольте я попробую.

И, не дожидаясь позволения, он начал пробовать воспроизвести это музыкальное море страсти. Оно еще звучало в его ушах, в его

сердце; ему жаль было расстаться с этим чудным непостижимым сочетаньем звуков.

— Это, сэр, один кусок из наших практических упражнений, из связи музыки и чувства.

Он не слушал её, он старался уловить тон аккордов — хоть часть, малую часть этих дивных звуков.

— Не так, сэр, не так, — поправляла она и, наклоняясь к его лицу целым морем своих ароматных волос, дрожавшими пальцами она показывала ему аккорды и мелодию.

Но ни аккорды, ни мелодия не давались ему, он чувствовал себя в какой-то странной, опьяняющей атмосфере. И вместе с тем он видел, что пальцы её не только бегали по клавишам, бегали с неуловимой быстротой, но они как-то странно дрожали. Они производили такие быстрые, повторяющиеся удары, которых не в состоянии произвести, казалось ему, ни один пианист.

— Мисс Джени, — сказал он, невольно откидываясь назад от её чудной молодой, трепещущей и волнующейся фигуры, — мисс Джени! ваши пальцы, мне кажется, иначе устроены. Что это за странный, невиданный,

такой туш!

— О, сэр, — сказала она, и улыбнулась её доброй приветливой улыбкой, — это очень просто. Тут не столько нервы, сколько мышцы играют роль, мышечное чувство. — Она достала с полки над пианино гипсовую женскую ручку, на которой были показаны все мышцы, все их тонкие нежные ленты.

— Вот, сэр, — говорила она, — что необходимо развить для того, чтобы достичь этих быстрых tremolo, — и она показала ему эти тонкие ленты — и я развила их с помощью магнитно-электрических токов, развила так, что они видны даже сквозь покровы, — и она поднесла к его глазам её чудную ручку. — О! как хороша, неподражаемо хороша была эта ручка! В ней все было гармония, грация, сила, какие-то особенные, удивительно красивые выпуклости и углубления проходили по ней, круглились легкими волнующимися линиями и исчезали на концах пальцев и в чудных окраинах ладони...

— И этого мало, — говорила она с каким-то детским увлечением, стараясь открыть, растолковать ему весь чудный механизм этой

игры. — Эта сила мускулов в пальцах отражается в кисти, в мышцах руки, даже предплечий. — И быстрым движением она открыла весь широкий белый кисейный рукав платья и обнажила перед ним всю свою сверкающую, белую античную руку.

Нет, это была не просто античная рука, в ней было что-то высшее, более сложное. Так красивы, непередаваемо красивы были все её волнистые изгибы, возвышения и округлости. Он готов был молиться на эту руку, на весь этот образ чудной, казалось ему, неземной красоты.

— Мисс Джени! — спросил он тихо и восторженно, — вы, вы, записывающие и мысли, и чувства, вы механическими приемами сливающие чувство и музыку... скажите пожалуйста: определили-ли, измерили-ли, записали-ли вы любовь? Разгадали-ли вы, что это за повелительное чувство, зажигающее кровь в человеке, заставляющее дрожать все его нервы и уносящее его в какой-то беспредельный, вечный мир, в даль неисповедимого вечно-го?!

Она посмотрела на него с удивлением, на

его блестящие глаза и вдруг, быстро опустила руку. Тонкая краска смущения, стыда разлилась по её лицу, заблестела сквозь кисею платья, как бледный пурпурный отблеск зари.

Мистер Артингсон! — сказала она грустно и робко, сдвинув тонкие брови, — это одно и может быть единственное чувство, которое мы не можем определить, взвесить во всех его бесконечных проявлениях... И зачем вы мне предлагаете этот странный вопрос?! — И она взглянула на него и тотчас же снова опустила её черные ресницы. Она не могла выдержать этого восторженного взгляда Артингсона, который смотрел на нее в упор, не мигая, как бы заколдованный этим чудным виденьем, этим образом смущенной, застыдившейся красоты.

— Ну, вот и я! — раздалось позади его.

Он вздрогнул и обернулся к мисс Драйлинг.

— Я теперь опять человек, — говорила любезно мисс Драйлинг. — Я к вашим услугам, дорогие мои... А ты моя родная, ты, надеюсь, была любезна с мистером Артингсоном, с

этим чудным мистером Артингсоном! О, простите меня, простите, дорогой мой, сэра Артур! Мне теперь так хорошо, свежо после этого освежающего сна. Мне хочется болтать, шалить, как малому ребенку, и она обняла одной рукой Дженн, а другую протянула Артингсону.

И целый вечер она была бодра и разговорчива. Она припоминала самые смешные случаи из их прежней, молодой жизни. Но Артингсон рассеянно слушал и не отвечал её шутливому настроению. Внутри его проходили какие-то неуловимые, тревожные тени. Там открывался новый мир, новые вопросы, целый ряд вопросов. И Дженн сама не знала, что с ней творится. Что-то так же новое, необычное, нахлынуло, обхватило ее и перевернуло все чувства и мысли. Все, чем жило её сердце так полно и беззаветно, все это вдруг показалось ей мелким. И эти все аппараты, и вся эта трудная, сложная работа, словом все, что она считала святым, высшим, великим, все вопросы «просвещенных» и только один вопрос, вопрос, который привел ее к смущению: вопрос, что такое любовь? звучал во всем

существое её. И всего сильнее смущало ее то, что она не могла теперь смотреть на Артингсона прямо, просто, как смотрела еще так недавно, как привыкла смотреть на всех, с самого детства.

Несколько раз она пыталась заговорить с ним по-прежнему, как с другом её дорогой мэм (о! более, гораздо более, чем с другом) и не могла. Она уважала его по-прежнему, это она ясно, отчетливо сознавала, даже больше, чем прежде. Но что же смущало ее и не отталкивало (о! нет), но влекло к нему, как влечет поток, бурливый, сильный, легкую пушинку, упавшую в него случайно. Она чувствовала этот поток в её всколыхавшемся сердце и не могла совладать с ним. И в первый раз изменял ей тот сложный и строгий анализ, с которым относились ко всем явлениям все «просвещенные».

— Ну что, мой дорогой друг, — спрашивала мисс Драйлинг Артингсона, когда они остались вдвоем, — вы говорили с ней, вы убеждали ЕЕ?

— Мисс Драйлинг, дорогой, мой друг, сказал он. — Я ничего не могу теперь отвечать

вам. Прежде всего я изумлен, подавлен способностями, деятельностью мисс Дженн. Дайте мне подумать. Я могу только теперь заверить вас, что во всю мою жизнь, в целую жизнь мою, я не встречал другого подобного, удивительного создания!

И мисс Драйлинг пристально посмотрела на него и переменяла тему разговора. Но на все темы Артингсон не отзывался. Его постоянно волнуемая, восторженная натура куда-то ушла в глубь, к тем широким, широким вопросам, которые вставали там, внутри его ум или сердца — он не мог решить. Что такое знание? И что такое вера? постоянно вертелось во всем существе его и чувствовал он, что эти великие вопросы поставила она (опять эта она!).

В десять часов, смущенный, рассеянный, жалуясь на головную боль, он простился с мисс Драйлинг и с ней, с этой удивительной девушкой.

Он отыскал свою шляпу в гостиной, в этой шляпе лежала пачка «Просветителя». Он схватил ее, спрятал на грудь, под сюртук и, надев шляпу, выбежал вон.

На улице обступила его шумная возня городской жизни, но он не замечал ее. Сновали кэбы и прохожие, кричали разносчики и газетчики, гудели шарманки, расхаживали полисмены с их длинными палками и черствыми физиогномиями и угрюмо и подозрительно осматривали снующий народ. Одна разносчица, толстая, высокая, красная, рябая, в вязанном высоком чепце, загородила дорогу Артингсону и совала ему в глаза связку длинных сосисок: «Вот, сэр. — кричала она, — свежие, свежие, свежее всяких новостей и нового президента!». Артингсон отстранил ее и быстро шел дальше или, правильнее говоря, бежал, ничего не видя, ничего не слыша!

«Я ребенок, — думал он, — я действительно ребенок — я не могу сладить с своими чувствами; или я дурак, сумасшедший, или все, что передо мною совершается — все это действительно сон, сказка, фантастическая сказка и она, эта волшебница, это загадочное, умное, о! чересчур умное, даже, ученое и кроткое, любящее, восторженное, и вместе с тем, простое, о! как ребенок простое, странное существо...

Он прошел чуть не полдороги и думал все о том же, об одном и том же, вспоминая, удивляясь, объясняя и снова недоумевая.

Почти около отеля, где он жил, усталый, измученный, он нанял извозчика и, приехав домой, тотчас же бросился писать письмо.

«Дорогая моя Джелла! писал он, я не знаю где я и что со мной. Ты, всегда рассудительная, покойная, не волнующаяся, ты и теперь с недоумением прочтешь мое письмо и подумаешь, что я, по обыкновенью, по моей пылкой, восторженной натуре, опять принял слюду за золото, или хрусталь за алмаз. Но я желал бы, чтобы ты была здесь, сама была здесь и взглянула бы и оценила это странное, непонятное, это чудное существо, с которым столкнула меня судьба».

И он описал Джелле именно в тех волшебных, радужных красках, в которых она ему представлялась.

«О! — писал он, — как бы я желал, как бы я был счастлив, если бы наша Лида походила на эту девушку. Я знаю, дорогой друг мой, что ты имеешь слабость к нашей дорогой Лиде, что для тебя она кажется полным совершен-

ством, но, если бы ты видела эту девушку, эту чудную девушку, о! ты сказала бы, что я прав!..»

«Я пробуду здесь, — заканчивал свое письмо Артингсон, — пробуду еще несколько дней и полечу к тебе, моя родная. О! если бы ты знала, как мне хочется скорее вырваться из этого омута, из этого хаоса, который охватил и мое сердце, и мою голову? Целую, крепко целую нашу Лиду, благодарю ее за письмо, и нашу! Эмму. Твой, твой до гроба и за гробом.

«Артур».

Но хаос, о котором писал этот Артур, верный и до гроба, и за гробом, его родной Джелле, охватил действительно все его существо.

Когда он писал письмо, то перед ним стоял, нет, не стоял, а наклонялся своей чудной головкой, с ароматными кудрями образ этой «волшебницы», этой «удивительной девушки». Но когда он кончил письмо и лег в постель, то снова этот образ носился над ним невидимый, неуловимый. Он чувствовал его присутствие вокруг себя и там, там, где-то внутри, в самых сокровенных тайниках взволнованного сердца.

— Что же это такое, — подумал он?!.. и наконец, после долгих усилий, решил: «это просто та пахучая атмосфера, в которой я пробыл так долго, она вызывает этот образ, нераздельный с ней в моем воспоминании.

И он, не рассуждая дальше, довольный этим первым попавшимся под руку объяснением, схватил «The Enlightener» и начал читать его с жадностью, с наслаждением, как будто каждую страницу перевертывал перед ним, на каждую строку указывал этот образ чудной благоухающей девушки.

Вот что читал он:

### III

«Мой просвещенный читатель!» так начиналась первая, передовая статья первого номера. «Может быть ты самый ученейший и просвещеннейший человек, но ты, верно, согласишься, что при всей твоей учености и просвещении, жизнь твоя остается до сих пор неустроенною. Ты, если не дрожишь за твои полновесные доллары, то может быть дрожишь за эту собственную твою жизнь, которой угрожают тифы, чахотки, удары и нервные, и апоплексические, и громовые, и тыся-

чи случайностей, которые ждут тебя на каждом шагу, из-за каждого угла... Но, положим, ты застрахован, хотя разумеется не бессмертен, но застрахованы ли все твои привязанности, все, что дорого тебе в твоих друзьях, в твоей семье?.. Но положим и здесь ты покоен, а где же гарантии против тебя самого, против твоего самоубийства, твоих страстей, против всех тех неустройств, которые бушуют внутри тебя самого и против тех беспорядков, которые разлагают общество медленно и неотразимо?!»...

«Пойми, говорила далее статья, что наука и жизнь должны идти рука об руку; не та наука, которая дробится в мелочах, зарывается в специальности, ищет дождевых червей, но наука, ведущая тебя прямо к свету, освещающая путь твоей жизни, идущей впотьмах, не смотря на весь блеск солнечного света, который может быть погаснет не сегодня, так завтра, потому что ни одна компания в целом мире не гарантировала прочности этого света!..

«Там, там, говорила та же статья, немного далее, — в неразгаданных тайниках скрыто и

твое будущее, и твоё счастье. Не ищи его в фантазиях мистических утопий; в здешней или в будущей жизни, — если таковая существует, — всё равно, оно лежит в одном, — светлом источнике этой жизни, — в Истине, всеобъемлющей, всемогущей, которую мы называем на нашем брэнном, обманчивом языке сознанием, наукой, умом, чувством, любовью, не понимая, что все эти определения, мимолетные и мимоидущие «слова, слова, слова!..»

«Случайность, читал далее Артингсон в другой статье, — есть частное явление, в каком-либо общем круге, столкнувшееся и пересекшееся явлениями другого круга или нескольких кругов. Следовательно, нам необходимо узнать, изучить начало и развитие всех кругов для того, чтобы разъяснить и предупредить или вызвать случайности. В мире планет, при их движении, могут быть разные комбинации, и мы можем предсказать их, вычислить заранее. То же самое может наука со временем сделать и в мире случайностей; но здесь циклы сложнее, элементы подробнее и многочисленнее; почти каждая частица мате-

рии может быть источником отдельного цикла явлений»...

Да! Но наука никогда не дойдет до этого, подумал Артингсон.

«Под именем музыки», — читал он далее, в специальной статье, озаглавленной: Что такое музыка?.. — «под именем музыки обыкновенно понимают известные сочетания звуковых волн, известные колебания воздуха, которые могут произвести в наших нервах тот или другой строй, но при этом определении упускают из виду то обстоятельство, что воздух есть смесь двух газов, и что колебания каких бы то ни было газов, даже самых тонких и более упругих, могут являться в виде звуковых волн. С другой стороны, звуковая волна может заменяться световой или тепловой, а эти последние превращаются в электромагнитные волны наших нервных токов. Следовательно, задачи музыки лежат, во 1-х, в разгадке всех звуковых колебаний, во 2-х, в разгадке этих колебаний в нервах, в 3-х, в разрешении, каким образом эти колебания сливаются с жизнью, какой переворот производят они в её строе и какие благотворные резуль-

таты они вносят в этот строй; наконец, в 4-х, эти задачи рассматривают звуковые колебания, как часть общих мировых явлений, и указывают, каким образом они могут сливаться со всею деятельностью и развитием человечества...»

Артингсон прочел несколько раз прежде чем понял смысл этого странного места, и когда понял, он невольно приподнялся с постели. — «Да ведь это новый мир новый особенный мир, вскричал он! — Ну! а если все это сумасбродство?! Да иначе не может быть, и ничего здесь нет, кроме бездоказательных фантазий и философских соображений!»

И он с жаром принялся читать целый длинный ряд статей, которые были напечатаны в нескольких номерах под разными рубриками. Но фантазий не было в этих статьях. Философских соображений тоже не оказалось. Все это были чисто практические результаты, чисто эмпирические выводы. Приводилось множество опытов, целый ряд чертежей, объясняющих их, приводились даже математические вычисления и длинные формулы испещряли целые страницы.

И чем яснее, убедительнее становились для Артингсона эти выводы, тем яснее, отчетливее являлась перед ним фигура этой странной загадочной девушки, наклонившейся над пианино и быстро, неуловимо, быстро, игравшей перед ним дрожавшими tremolo страстную, божественную музыку.

— Я просто, кажется, весь проникся ароматом её комнаты, — подумал он, — мне все чудится этот запах, этот тонкий, нежный, освежающий и вместе с тем раздражающий запах... Или эти листы пропитались её атмосферой? И он хотел поднести к лицу эти листы, и вдруг ему бросился в глаза крупный заголовок:

### **«Что такое любовь?»**

— Вот он неразрешимый вопрос! — подумал Артингсон, и глаза его жадно впились и забегали по строкам статьи.

«Это одно из самых великих и неопределенных явлений, говорила статья. Это явление мировое, и название собственно любви мы обыкновенно придаем только одному виду его; при том и этот вид включает в своей рубрике множество частных категорий. В об-

щих явлениях это чувство может быть выражено даже в мировом притяжении, если только это притяжение может быть сведено на магнитную силу. Затем, магнитные явления, или, вообще, разнородные электрические напряжения, представляются стимулами и возбудителями влечений, симпатий и, вообще тех чувств, которые мы называем любовью...

«Любовь, — читал далее Артингсон — является вместе с индивидуальностью и именно с ней связывается все, что обыкновенно называют чувством самосохранения, эгоизмом, самолюбием, со всеми их производными: честолюбием, гордостью, скупостью»...

«Все это, весь комплекс этих страстных отношения возник в силу простого сознания собственной индивидуальности и её отношения к окружающему миру»...

Далее статья указывала, каким путем он возник, разбирала и объясняла, как все органы нервной системы и других систем участвуют в явлениях этой индивидуальной любви. Статья представляла множество примеров, наблюдения, даже опытов...

«Совсем другой род любви, говорила она далее, мы видим в тех отношениях, которые можем назвать собственно любовью или симпатиями бессознательными и сознательными. Рассмотрим сперва симпатия бессознательные. При этих симпатиях является не простое индивидуальное стремление, хотя эти симпатия и выражаются часто в сильном желании обладать предметом, которые нам нравится; но при полном развитии этого чувства, самый этот предмет, независимо от нас, становится возбудителем наших чувств и, так сказать, центром притяжения...»

Затем статья разбирала явления любви матери и любви половой, сравнивая их, указывая сходство с одной стороны и глубокую разницу с другой. Далее она устанавливала категории для этих явлений и объясняла их сущность. Эта сущность скрывалась в удивительно сложных физиологических и психологических явлениях организма и преимущественно в колебаниях электромагнитных волн в нервах. Из этого основания, поставленного на фактической почве, статья шла дальше; она распределяла категории симпатий не только

в разных темпераментах, но и в разных нациях; она разбирала, как называла она, полярность отношений между разными вариантами организмов мужчины и женщины, она входила в удивительные, самые тонкие физиологические и анатомические подробности.

— Какой, однако, грубый цинизм! — невольно подумал Артингсон, которого оттолкнуло это подробное описание разных частей организма. Он не привык к этим трупным исследованиям. Они казались ему чем-то грубым, материальным, при представлении о таком идеальном чувстве, как любовь.

Но вдруг все его внимание было приковано одним описанием.

Статья под одной из категории, именно 32-й, описывала его, мистера Артингсона, его страстный, умный и талантливый организм. Она описывала его натуру, его чувства, одним словом, это был точный, верный портрет его даже до мельчайших подробностей его души и тела.

— Это они с меня списали! — подумал он с сильным изумлением.

«Такие натуры, говорила статья, требуют для своих законных симпатий таких же страстных и талантливых, неудовлетворенных натур. Только тогда получают их симпатии правильное естественное течение, и, если при этом они редко достигают того довольства, которое дает им так называемое семейное счастье, то за то дети их являются в виде также страстных и талантливых натур, которые могут быть в высшей степени производительны для жизни целого общества».

«Для мужчин этой категории, говорила статья, симпатическую пару составляют брюнетки с цветом тела десятой клетки спектра; с роскошно развитыми черными волосами и с электрическим напряжением в 0,8 м., с большими разрезами глаз, с большими черными (степень E) глазами...»

И чем далее шло это описание, тем яснее и яснее из него выходил образ её, этой девушки, этой загадочной мисс Джени. И когда статья, с прежним цинизмом начала входить во все тонкие анатомические подробности, то руки мистера Артингсона слегка задрожали, глаза подернулись туманом, и он с негодова-

нием бросил листки журнала...

— Все это чепуха! — вскричал он вслух, — чепуха и сумасбродство; глупые фантазии растленного воображения!

И между тем, в то же мгновение он опять с жадностью схватился за эти глупые фантазии... Впрочем, он перевернул целую страницу.

«Все наши наблюдения, говорила статья, сделаны над 30,000 субъектов и 2,000 трупов. Мы несколько раз поверяли наши опыты, и если не печатаем теперь всех длинных рядов цифр, всех таблиц, составленных нами, то это потому, что мы желаем вполне закончить наши работы и привести их к полным, цельным и связным результатам»...

Артингсон, пропустил целых два §§ и остановился на § под рубрикой: бессознательная и подавленная любовь девушки. Он с новою жадностью начал читать его.

«Одно из страстных и самых неопределенных явлений, говорил параграф, представляет подавленная любовь девушки, — любовь, которая может появиться вдруг, внезапно, вследствие встречи с мужчиной, который со-

ставляет её симпатическую пару, и которая может быть подавлена в силу разных случайных обстоятельств. Всего чаще эта любовь переходит в мистическое чувство, как и всякая половая любовь...»

Артингсон отшатнулся от этих страшных строк и задумался над ними.

«Это просто какой-то животный, грубый материализм!» — решил он, и читал дальше.

«Мы не будем указывать, — говорила статья, — на те болезненные, патологические явления, которые происходят при этих грустных случайностях. Они исследованы в медицине, они являются в виде истерики, мигрени, *satyriasis* и т. п. Для нас важен переход в одно состояние, в состояние quasi-болезненное, при котором нервные электромагнитные токи приходят в соприкосновение с электромагнитным током всей окружающей обстановки, состояние, при котором почти все циклы случайностей становятся доступными для организма, и он видит не только все его окружающее чрезвычайно ясно, хотя и бессознательно, видит на далекие расстояния, но он может видеть прошедшее и даже следить за

развитием циклов случайностей в довольно отдаленном будущем. При этом странном состоянии индивидуум не только может отгадывать состояние другого родственного для него по магнетическому напряжению индивидуума, — он может угадывать все его мысли, чувства, он может даже воспроизводить то, что было утрачено памятью в мыслях и чувствах этого симпатичного для него индивидуума. В этом случае, само собой понятно, могут воспроизводиться как музыкальные звуки, так и поэтические мысли, отвечающие этим звукам, потому что они прямо совпадают с электромагнитными волнами нервов двух индивидуумов, взаимно симпатизирующих друг другу. В этих странных явлениях, любовь совершает как бы полный оборот. Она снова входит в область мировых явлений, в область общих магнитных токов, общих свойств тяготения!..»

Артингсон не читал далее — не мог читать. В его памяти вдруг воскресла эта вечерняя сцена, когда он, увлеченный воспоминанием прошлого, с таким восторженным одушевлением играл позабытый, на веки, каза-

лось ему, позабытый романс, и вдруг перед ним явилась она, эта чудная девушка и пропела этот романс с такой силой и правдой.

«Потемки, мы ходим впотьмах, сэр!» — припомнилось ему...

И весь подавленный этой загадочной, фантастической сценой, он отбросил листки «Просветителя» — он не мог дальше читать их.

— «Все можно объяснить, — думал он, — но ничего нельзя разгадать»; и в то же время чувствовал, что эта бессильная сентенция была просто порыв отчаянья; что эта статья, эта странная статья была права, что в ней точно такая-же правда, как в этой чудной, правдивой девушке.

Он загасил лампу, он закрыл глаза и старался припомнить свою милую, свою родную Джеллу и Лиду и всех, которыми так дорожило его сердце.

— «Завтра они получают мое письмо и как они все обрадуются. Лида даже расплачется и поцелует — о! непременно поцелует это письмо».

Но сквозь все эти представления, насиль-

ственные представления, перед ним вставал все тот же образ этой волшебницы, с сверкающими, восторженными, кроткими и любящими глазами, образ брюнетки с цветом тела десятой клетки спектра, с роскошно развитыми волосами, с большими черными глазами...

— «Господи— прошептал Артингсон, — это просто наваждение!»

Да! он действительно прошептал это, хотя и не верил ни в какие наваждения.

Он усиленно зажимал глаза, он старался отвлечься от этого ароматного запаха, который окружал его своей повелительной, подавляющей атмосферой, от этого смутного шелеста легкого платья, который, казалось ему, раздавался в его ушах. Он перевертывался с одного бока на другой, тяжело дышал, и тихо, дремотно всхлипывая, заснул в утомлении, ища какой-то руки, как ребенок ищет руки своей матери.

Но и сон его был тревожен и странен. И во сне перед ним являлся все тот же образ этой девушки, его симпатичной пары, являлся, в легкой белой одежде, «как ангел белый иль белая птица!» Образ этот смотрел на него та-

кими страстными глазами, глазами «подавленной первой любви». Он вдруг взмахивал перед ним своими руками. О! какими чудными, пленительными руками!..

Он с ужасом просыпался, он слышал, как трепетно билось его сердце, как стучала кровь в его висках и снова засыпал под влиянием тяжелого кошмара.

И снова, являлся ему все тот же образ. «Смотри сюда!» говорил он. И видел он, как вертелись перед ним в громадной, темной бездне бесконечные рычажки, колеса, винты.

«Это записывают твои мысли, твои чувства, все твои тайные помышления, потому что ничто не скроется перед судом вечной, великой Истины!»

И он снова просыпался весь в холодном поту.

Он уснул, наконец, крепким, бесчувственным, сном, когда тонкий дремлющий свет утра синеватым туманом осветил всю комнату.

## IV

На другой день он тотчас же отправил письмо к жене и вслед за ним сам отправился

в банкирскую контору Барнквайра и К°. Оттуда он заехал к мистеру Литль. Он считал необходимым сделать этот, визит из старого знакомства, благодарности и почтения к нему, почтенному, ученому мистеру Литль.

— Послушайте, сэр, сказал он после нескольких самых незначащих фраз, — Послушайте, сэр, не знаете-ли вы, не слыхали-ли вы об этой странной секте «Просвещенных»?

Мистер Литль высоко приподнял свои густые черные брови, составлявшие такой резкий контраст с его седыми волосами.

— Я удивляюсь, сэр Артингсон, — сказал он, махая рукой, — я даже изумлен этим вопросом... Я глубоко сожалею нашу почтенную мисс Драйлинг... О! я очень хорошо понимаю, что увлечение молодости может оправдать достойную, во всех отношениях достойную, мисс Дженн Драйлинг... И согласитесь, сэр, что эта секта, эта секта... лишена всякого человеческого смысла!

Но Артингсон не смутился этим резким приговором и, рискуя быть не человеком, или, по крайней мере, идти против человеческого смысла, снова обратился за разъяснени-

ем к сэру Литль.

— Сэр, — сказал он, — я не могу быть компетентным судьей, но я читал журнал этой секты или общины, потом... потом я видел странный аппарат, который в комнате, в обыкновенной комнате, не герметически закупоренной, записывает полный приход и расход сил, все химические колебания, все звуковые волны, даже разговоры, даже оттенки чувств.

Мистер Литль еще выше поднял его черные брови, так что они почти касались его седых волос.

— Смею вас уверить, сэр, — сказал он, — что все это сумасбродство, непостижимое сумасбродство. Это люди, не имеющие ничего общего с наукой, не имеющие никакого понятия о науке. Это вполне доказано, доказано и со стороны distinguished членов Смитсоновского Института, и со стороны Бостонского общества Естествоиспытателей, и со стороны Физического общества Филадельфии... Это, это безумные фантазеры, которые думают, что с научными истинами можно распоряжаться, как с шахматной игрой и пе-

реставлять шашки по усмотрению собственной фантазии и соображения. Тут нет науки, сэр, поймите, что тут вовсе нет науки. Они унижают, развращают это святое достояние человечества!

Артингсон точно так же приподнял брови, хотя далеко не так высоко, как мистер Литль. Он ничего не мог возразить против авторитетов, выставленных этим ученым и рассудительным мистером; но он не мог помириться с этим бессилием науки. Он видел, с одной стороны свет, беспредельное могущество, целое море поэтических, золотых снов, — а с другой стороны — узкую, щепетильную рассудительность и потемки, глубокие потемки.

— Но, может быть, сэр, — сказал он настойчиво, хватаясь как утопающий за соломинку, может — быть, у них слишком широкие замыслы. Может быть, они чрезвычайно дерзко обобщают данные в их философских стремлениях. Но неужели же в этих стремлениях они не достигнут до соединения, до полного соединения жизни с наукой!

Если бы мистер Литль мог поднять его брови выше лба, он, наверное, бы сделал это, но,

за невозможностью совершить этот страстный рефлекс, он только еще сильнее раскрыл свои сверкающие глаза, его щеки покрылись даже румянцем, живым юношеским румянцем. Он даже пристукнул табакеркой по столу.

— Я уважаю вас, сэр! О! Я глубоко уважаю вас, — сказал он, стараясь придать своему голосу искренний и мягкий тон, — но поверьте, что вы увлекаетесь, как увлекаются многие этими сумасбродными бреднями. Жизнь, сэр, есть жизнь, наука есть наука, и горе тому, кто дерзнет смешать дар, божественный дар человеческого духа, с тем, что дают нам скудные, ограниченные чувства и наш бренный рассудок!.. Вы можете не верить моему мнению, справьтесь, в протоколах Смитсоновского Института, Филадельфийского общества преуспеяния наук и искусств, или даже в протоколах Бостонского общества Естествоиспытателей...

Артингсон уехал от мистера Литль еще более смущенный, чем после прочтения статей «Просветителя».

Может быть, он и прав, думал он, — но где

же истина, где же свет, или действительно мы должны бродить в вечных потьмах?

Он заехал и к мистеру Пепчинсу, к этому добродушному, кроткому старичку, который встретил его с такой сияющей улыбкой, чуть не со слезами на его маленьких, добреньких глазках.

— Сэр! — спросил его Артингсон, — не слышали ли вы об этой странной секте «Просвещенных?»

Сияющая улыбка мистера Пепчинса превратилась в грустную.

— О, да, да, сэр! — вскричал он, — я знаю эту секту, но я никого не осуждаю. Мы все грешны, сэр, мы все ходим во тьме наших заблуждений, но мы верим, сэр, о, мы глубоко верим, по вашему собственному выражению» что:

*«Настанет день оный... и люди  
прозреют,  
Поймут, где спасение и правда, и  
сила!..»*

Артингсон уехал от мистера Пепчинса еще более смущенный.

— Что это, — думал он. — обскурантизм,

глубокое невежество или в их словах истина, а там — тьма, глубокая тьма заблужденья!

Он заехал, наконец, и к мисс Драйлинг, он не мог не заехать, он ехал мимо — он должен был заехать, хотя бы для того, чтобы узнать, что делает его дорогой друг, мисс Драйлинг и не оставило ли каких-нибудь последствий это вчерашнее расстройство, это внезапное расстройство.

Он нашел мисс Драйлинг грустной, озабоченной, а мисс Дженн при его входе тотчас же выбежала вон. Он мог судить о её недавнем присутствии только по быстро опустившейся портьере и по тонкому ароматному запаху, еще наполнявшему всю атмосферу около того кресла, на котором она сидела.

— О, мой друг! — вскричала мисс Драйлинг, приподнимаясь с дивана и, схватив в свои маленькия ручки его руку, усадила его на то самое кресло, на котором еще не рассеялась теплота этого благоухающего и странного существа — я хочу просто допрашивать вас, как друга, и вы, вы, надеюсь, будете снисходительны к этому допросу, и я уверена, я убеждена, что вы будете со мной искренни,

как были всегда с вашим любящим и верным другом. Скажите мне, сэр Артингсон, что произошло вчера между вами и моей Дженн?.. О! не думайте, чтобы я что-нибудь подозревала недостойное вас, моего друга. О! сэр, я знаю, я хорошо знаю вашу честную натуру, ваш возвышенный характер!.. Я только недоумеваю не могу объяснить того, что делается с моей бедной Дженн со вчерашнего вечера...

— Что же с нею делается, мисс Драйлинг?.. О, я так люблю все, что дорого вам!..

— Она, она просто больна, дорогой мой, и теперь, более чем, когда либо, я боюсь за её бедный рассудок. Она бредила всю ночь, мечется, стонет, плачет, тоскует и я не могу узнать причину, добиться от неё ответа, что с ней?!. Она только повторяет: «я ничего не знаю, ничего, дорогая мэм, только сердце у меня бьется, трепещет, мне тяжело, о! как мне тяжело... куда-то влечет меня, я чувствую, что я в какой-то пустыне и мне недостает... чего я сама не знаю!..» и она при этом утешала меня: «это все уляжется, утихнет, пройдет!..» И сегодня, дорогой мой, она совсем больна; она такая грустная, рассеянная, такая

убитая, да именно убитая. Мы принялись с нею перечитывать ваши творения. О! вы знаете, как я люблю их, и притом она сама предложила, сама принесла книгу (И Артингсон действительно видел, что перед ним лежал на столе томик: Works of Artur Arktinson). Мы остановились с ней на этом поэтическом чудном, милом создании, помните? — И она взяла книгу и прочла:

*«Май, праздник жизни, сиянье,  
Счастье любви и цветов аро-  
мат!..*

*Что же ты, сердце, ноешь, тоску-  
ешь?*

*О чем же ты плачешь, к чему ты  
стремись?*

*Словно тебя волны жизни кача-  
ют,*

*Как бурное море, средь ночи без  
звезд,*

*Утлый челнок без руля и ветри-  
ла!»*

\* \* \*

*«Или ты ищешь сердца другого,  
Которое также бы сильно люби-*

ло  
Май, праздник жизни, сиянье,  
Счастье любви и цветов аромат,  
Которое б также волны качали,  
Как волны морские, средь ночи без  
звезд,  
Утлый челнок без руля и ветри-  
ла!»

— И на этом месте, она разрыдалась, разрыдалась истерически, и потом вдруг вздрогнула, прошептала побледнев: «он пришел, мэм, он здесь!..», бросила книгу и выбежала вон... Что это такое, Артингсон, друг мой, друг мой, что это такое? Мне кажется, я сама начинаю сходить с ума! — и она крепко прижала к её пылавшей голове платок, напитанный какою-то освежающею и пахучею жидкостью.

— Мисс Драйлинг, — сказал Артингсон глухим и слегка дрожащим голосом, быстро перевертывая шляпу в руках — у меня просто ноет сердце. Я рад бы чем-нибудь помочь вам, но что я могу сделать, что могу объяснить. Сцена, которая так сильно взволновала и меня, и ее, была, мне кажется, просто роковым, каким-то необъяснимым случаем. Я любовал-

ся, просто любовался, на мисс Джени, я думаю, тут нечего нет... вы не найдете тут ничего предосудительного... Красота мисс Джени... мое семейное положение, наконец, мои лета... все это, казалось мне, извиняло... может извинить меня перед целым светом и в моих собственных глазах. Увлеченный этой красотой, так сказать, отуманенный, я имел дерзость спросить довольно резко мисс Джени, может ли она записать на её аппарате, на её удивительном аппарате, чувство любви, может ли она измерить его?.. Она вдруг смутилась, застыдилась. Она была так хороша в этом смущении, что я сам был невольно смущен... Вот все, что случилось вчера до вашего прихода. Остальное вы знаете... — Все это, мисс Драйлинг, — начал Артингсон еще более глухим и дрожащим голосом, — все это действительно роковое. Неужели мисс Джени до сих пор никого не любила, о! разумеется, кроме вас; но эта любовь... эта любовь не может заменить все в её чувствах... Я с ужасом сознаю, — говорил Артингсон и голос его почти прерывался, — я с ужасом сознаю, что мое появление в вашем доме назад тому двадцать

лет было роковым для вас, для вашего сердца, мой дорогой друг!.. О! простите мне это воспоминание, это неизгладимое воспоминание!.. А теперь... теперь... кто знает, не играет ли снова судьба на тех же струнах, но только в другой, молодой жизни?.. Ведь любовь может вспыхнуть вдруг, по капризу необъяснимого чувства, по призыву сердца и чем, дольше было сдержано это сильное страстное чувство, тем сильнее, необузданнее оно вспыхивает — притом самый темперамент, отношения скрытой симпатии... (Мистер Артингсон невольно увлёкся «просветителем», он начал говорить, как будто сам принадлежал к этой секте «просвещенных»)... Во всяком случае, — сказал он вдруг, остановив это невольное увлечение — во всяком случае, я должен скорее оставить ваш дом, проститься с вами... О! мог ли я думать, мог ли я воображать, мог ли представить себе, что какой-нибудь простой, незначительный случай, какое-нибудь странное совпадение обстоятельств причинит столько горя сердцу моего дорогого, сильно любимого друга! — и голос его совсем задрожал и оборвался, на глазах появились сле-

зы. — Мы все ходим впотьмах, впотьмах, дорогой мой друг, — говорил он, быстро встав с кресла и как-то судорожно застегивая, дрожащими руками его черный сюртук...

Легкий шорох заставил обернуться его и мисс Драйлинг. В дверях стояла Дженн, радостная, сияющая Дженн. О! как невообразимо хорошо было её лицо. Она подобрала за уши, по-детски, все её длинные кудри; но и без того её лицо, его выражение было выражение доброго, невинного и довольного ребенка. Как приветливо, дружески протянула она руку Артингсону и как детски откровенен был её голос, когда она сказала ему простое: здравствуете, сэр! И как блестели её глаза и сильно волновалась её высокая грудь.

— О, мэм, дорогая моя мэм! — сказала она, — мне гораздо лучше; я теперь просто блаженствую; мне так отрадно, легко; я надеюсь, мистер Артингсон снова останется у нас и мы, мы все проведем целый вечер вместе. Не правда ли, сэр Артур, не так ли, моя дорогая мэм?

— Мисс Дженн! — сказал Артингсон, нахмурясь, не смотря на нее, не смотря ни на

кого, — я должен... я, к сожалению, должен удалиться... дела... и при том, при том... я должен ехать завтра... я так давно не видал моей семьи... моей милой Джеллы и Лиды и всех дорогих моих и, надеюсь, также дорогих и моему доброму другу, мисс Драйлинг.

Краска сбежала с лица мисс Дженн, она хотела что-то сказать и очевидно не могла. Её грудь перестала колыхаться. Она окаменела, как статуя, глаза её потухли.

— Прощайте, дорогой мой друг! — сказал Артингсон, протягивая обе дрожащие руки к мисс Драйлинг, и она смущенная, трепещущая протянула к нему также обе руки, и он пожал, поцеловал их беззвучным поцелуем. — Прощаете, мисс Дженн! — сказал он глухим голосом, протягивая к ней свою похолодевшую руку.

И она, как автомат, тихо, мертвенно коснулась его руки.

Он быстро пошел вон, вон из этого омута страсти, безумия, опьянения чувств.

Он слышал какой-то стон раздался позади его и, не оглядываясь, стиснув зубы, бежал по лестнице.

Он не видал, как задрожала она, как подхватила ее мисс Драйлинг, бледную, шатающуюся с протянутыми руками к нему.

— Джени, моя Джени, опомнись! Что с тобой!

— Я люблю его, мэм, — простонала она, — я люблю его! И она рыдала, и судорожно билась на её груди, как белая птица.

А мисс Драйлинг, вся перепуганная прикладывала к её горячему лбу платок, намоченный одеколоном, шептала над ней молитву и брызгала водой на нее, трепещущую, полумертвую.

## V

В сердце, в чувствах, в уме Артингсона теперь был полный хаос. Что бушевало, мелькало там? Ни одной мысли, ни одного представления не мог уловить он. Он только сознавал, что он должен ехать, непременно ехать туда, к его милой Джелле, к его дорогой семье. «Но почему же Джени не может быть Джеллою, почему семья тебе дорога!» говорил ему глухой голос, именно тот самый голос, которым он прощался с Джени.

Когда он возвратился в свой номер, он тот-

час бросился к чемодану и вынул из него портреты Джеллы и Лиды, всех его дорогих; вынул и смотрел на них, как на каких-то амулетов или богов-хранителей, которые могли его спасти, защитить от него самого.

Он даже бросился писать к Джелле, писать какое-то страстное письмо, и разорвал его на третьей строчке. «Все это ложь, чепуха! вскричал он, — ложь сердца, ложь ума!» И он стиснул свой лоб, стиснул руки так, что хрустнули суставы его длинных и тонких пальцев.

Он бросился на постель, он силился заснуть и не мог. Он лежал в каком-то тяжелом, тупом онемении, усиливаясь вглядеться в узор обоев, в рисунок резного шкафа и повторяя одно слово, одно и то же слово: «Джелла! Джелла! Джелла!»

Он не слышал, как прозвонил колокольчик, сзывавший к обеду, как несколько раз входил и уходил от него слуга. Он не видал, как сумерки заволокли все предметы в комнате, он чувствовал, что перед открытыми и перед закрытыми глазами его носился все тот-же неизменный, вечный образ его симпатической пары.

*Белый, как ангел белый иль белая птица!..*

Наконец, сильный шум и стук поневоле заставили его очнуться.

Явилась несколько запоздавшая депутация от клуба «Твердости», от этого неподвижного клуба. Какой-то высокий, высокий джентльмен, весь красный и весь растрепанный, просил сделать им честь, сделать великую честь посетить завтра их митинг, который они дают в честь него.

Артингсон собрал, насколько мог, свои мысли и чуть слышно отвечал, что он не может, положительно не может участвовать, что он совершенно расстроен, болен, что он благодарит за честь, глубоко благодарит, ценит, вполне ценит.

— Мистер Артингсон! — вскричал высокий красный джентльмен, — мы не смеем стеснять вас, но позвольте, по крайней мере, обратиться сегодня перед вашими окнами, то есть перед окнами отеля. Мы уже все устроили, это нам стоило пятьсот долларов!..

Мистер Артингсон позволил, смутно понимая, что от него чего-то требуют и только же-

лая одного, чтобы скорее, как можно скорее, оставили его в покое.

Он снова бросился на постель. Страшный стук в висках, страшная боль в голове не давали ему покоя. Да и вообще он как будто сознавал, что для него на земле нет уже и не будет больше покоя.

Как бы во сне он слышал неистовые крики, музыку, пение и говор, и рев огромной толпы, которая собралась на улице перед его балконом. Он слышал, как тысячи голосов вызывали, выкрикивали его имя, и какое-то зарево, как бы от пылающего костра, играло на стенах его комнаты.

— Сэр! — торопливо говорил ему слуга, — сэр, вас вызывают, там целая улица наполнена народом.

Шатаясь, он вышел на балкон. Его ослепил блеск нескольких тысяч факелов, его оглушил неистовый крик толпы. Он поклонился, пошатнулся и слуги бросились, подхватили его и, поддерживая, снова увели в комнату и уложили опять в постель.

— Не надо ли послать за доктором? — перешептывались они испуганными голосами.

— Не надо! — сказал Артингсон, твердо и внятно, и вдруг приподнялся и принял снова тех успокоительных капель, которые так благотворно всегда действовало на него. Но теперь эти капли только усилили раздражение, и сердце его билось, как будто хотело разорвать грудь и улететь туда, где теперь, может быть, лежала больная и рыдающая она— эта чудная девушка!

Он встал с нестерпимой болью в голове, достал из чемодана *Laudabum liquidum* и принял довольно крупный прием. Он заснул, подавленный тяжелым, отравленным сном, и этот сон был еще более мучителен, чем самая явь. В этом сне ему представлялось, что он бродит в темных пещерах и там, где-то в потьмах, непроглядных потьмах, раздаётся её голос, её замирающий, зовущий на помощь, голос. Он силится дойти до него, он спотыкается о наваленные камни, он ощупью идет под холодными мокрыми сводами, а голос её стонет, гложет и замирает где-то вдали, в предсмертных муках!

Или вдруг является она перед ним, полная страсти, любящая, с восторженным ласкаю-

щим взглядом, и нет никаких перегородок перед ними; он бросается в её жаркие объятия, и вдруг эти объятия стыннут и в руках его холодный, посинелый труп.

— Это вы убили ее, вы, мой дорогой друг, точно так же, как и меня убили! — говорит тихо, качая головой, мисс Драйлинг...

Он вскакивает как безумный, он как будто проснулся, но кошмар и в полусне давит его. Он тянется, как бесконечная пытка, и картины одна другой нелепее, мучительнее встают, как живые, в его отравленном воображении.

И наконец, он действительно проснулся. Он проснулся, словно разбитый, отуманенный, в чаду тяжелого угара. Одна только мысль улыбалась и поддерживала его, руководила им. Скорей туда, туда, домой, в мирное пристанище, в тихий, семейный угол!

Он оборвал все свои дела. Какой-то ловкий спекулянт, при этом удобном случае, надул его на несколько тысяч долларов; наконец, в шесть часов вечера он был свободен, совершенно свободен. Он начал укладываться с лихорадочной поспешностью, кое-как завертывая и тиская вещи в чемодан.

— Туда, туда, скорей туда! — повторял он чуть не вслух.

Вошел слуга и подал ему карточку, на которой крупным шрифтом было напечатано:

**«Мистер Чертч».**

— Я не могу, — вскричал Артингсон, — я никого не принимаю, я болен, расстроен, я то-роплюсь!..

Но Мистер Чертч стоял уже перед ним во всю вышину его высокого роста.

— Я не беспокою вас, сэр! — говорил он. — О! я понимаю ваше расстройство... Я прошу у вас несколько минут, одного полчасика, если только вы можете пожертвовать полчасика для страждущего человека, который в вас, поэте и музыканте, именно в вас, ищет спасенья.

И, говоря это, мистер Чертч ударил себя костлявым кулаком в плоскую грудь.

Он был весь в черном, и шляпа, которую он не думал снимать, была вся закутана черным крепом.

Он говорил хриплым, каким-то скрипучим басом. Его длинное, бледное лицо было все покрыто складками и сверкающие, бегающие глаза выражали в одно время и мольбу, и от-

чаяние, а тонкие, сжатые губы то дрожали, то кривились в какую-то странную улыбку.

— Что вам нужно, сэр, — вскричал Артингсон, — вы просто врываетесь ко мне!

— Одно слово, сэр, одно ваше слово, — прокрипел мистер Чертч, трагически взмахнув рукою; — неужели же вы мне откажете в этом слове, в одном ответе на тяжелый, тяжелый вопрос. — И он вдруг порывисто снял шляпу и потер рукою свой высокий лоб.

— Говорите скорее! — вскричал с нетерпением Артингсон, бросаясь к нему, — мне время дорого — я занят, я болен.

Слуга удалился с почтительным поклоном.

— Я буду короток, сэр. Я был женат, сэр; у меня было три жены. — И мистер Чертч опять нахлобучил его траурную шляпу на высокий лоб. — Я был в великой, в этой сумасбродной секте правоверных, святых мормонов... Я думаю, сэр, вы ничего не находите, ничего предосудительного в том, что человек может любить двух, трех, даже нескольких женщин... Это так естественно?..

И мистер Чертч замолчал, как будто ожидая ответа. Но что-же мог ответить на это Ар-

тингсон? Сказать — я нахожу это противозаконным, безнравственным! О! нет! этого не мог ответить мистер Артингсон, не мог ответить теперь, в настоящую минуту, когда там, в его представлении, стояли два женских образа и он не мог решить, который из них сильнее, неодолимее его тянет; он захватил бы теперь оба эти образа в его измученное, больное сердце.

— Что-же дальше, — вскричал он, — говорите, сэр, скорее, что вам нужно от меня?

— Далее, сэр, было то, что все мои жены умерли, все... все; умерли также и мои дети, мои милые дети... Они умерли все, и я брожу, сэр, как тень, одинокий скиталец. Я не смею взглянуть больше ни на одну женщину, я боюсь, сэр... О! как я боюсь, чтобы моя, ни для кого ненужная, жизнь, не стоила еще жизни какому-нибудь молодому существу, чистому, доброму, умному, полному юных сил и цветущих надежд...

Мистер Чертч замолк, на глазах его задрожали слезы.

Но в глазах Артингсона ничего не было, кроме отчаяния и нетерпения.

— Далее, сэр, далее! — вскричал он грубо, — что вам нужно от меня?

— Я обращался, сэр, за помощью, за разъяснением к медицине. Она мне ни в чем не помогла, ничего не разъяснила. Тайна осталась тайной. Она похоронена в этих трех могилах. Я искал ответа в разных науках... Я, я даже занимался теорией вероятий... Нигде, нигде не было ответа! Когда в первый раз я увидел вас на митинге, когда я услышал вас, ваше вдохновенное пророчество, — мне вдруг пришла мысль, одна мысль... может быть, поэт скажет то, что не могут сказать ни религия, ни наука... И вчера, вчера вечером, они все три явились ко мне, они, мои милые, безвременно погибшие... они явились и скрылись как сон...

И мистер Чертч медленно провел пальцами перед глазами, как будто изображая этим тех, которые явились перед ним и скрылись, как сон... — Они все, сэр, все сказали мне: — иди к мистеру Артингсону!

— Господи! — чуть не вслух подумал Артингсон, — что это за сумасшедший такой навязался!

— Я бы советовал вам, — сказал он мистериу Чертччу, — советовал бы еще раз обратиться к доктору, потому что галлюцинации вещь опасная... или, или обратитесь к спиритам, к какому-нибудь медиуму... он, наверное, ответит вам лучше меня, а я не могу, положительно не могу быть вам в чем-нибудь полезным.

Мистер Чертчч остановился на одно мгновение и заговорил хриплым шопотом:

— Я обращался, сэр, и к спиритам, я обращался и к медиумам, они мне ничего не сказали... — Он снял шляпу, отер лоб тонким, белым, свернутым в комочек платком, который дрожал в его длинных костлявых пальцах; потом вздрогнул, с каким-то судорожным порывом, снова надел шляпу и вдруг глаза его устремились на Артингсона и дико заблестали. — Я убил бы себя, сэр, убил бы с наслаждением, — вскричал он, — если бы кто-нибудь сказал мне, что загробной жизни нет... Я вижу, слышу всюду одни намеки, тысячи жгучих вопросов встают в жизни, религия не удовлетворяет, наука молчит, поэт, вдохновенный поэт, пророк наших дней, ничего не может сказать нам... Мы ничему не верим и ни-

чего не знаем — ни веры, ни убеждения!

Он быстро двинулся к Артингсону, протягивая к нему свою костлявую, дрожавшую руку... так что Артингсон невольно отступил от этого странного, безумного существа.

— Мы бродим впотьмах, сэр! мы бродим в глубоких, непроглядных потьмах!

И он быстро отвернулся и вышел вон, шатаясь и тяжело переступая своими длинными ногами.

Артингсон вздохнул легко и свободно, когда удалился этот загадочный мистер Чертч, удалился как черный паук с длинными черными ногами.

Но, в сущности, в глубине сердца, он был даже благодарен ему, хотя и не сознавал этой благодарности. Этот визит как будто развлек, оживил его, и он с новыми силами, с новой лихорадочной деятельностью принялся укладывать свои вещи.

Какой-то легкий, неуловимый шорох, какое-то тонкое освежающее и раздражающее благоухание долетело до него, он быстро вскочил и обернулся.

Перед ним стояла она, «как ангел белый

иль белая птица» — она, мисс Дженн Драйлинг!..

## VI

— Я схожу с ума, это галлюцинация! — быстро промелькнуло в голове Артингсона.

— Мисс Дженн!.. — вскричал он, — вы-ли это!?

Но, взглянув на её лицо, судорожно дрожавшие руки на её заплаканные, померкшие глаза, он понял, что это действительно она. Он даже понял, зачем она пришла к нему и сердце его сжалось.

— Мистер Артур! — сказала она, протягивая к нему дрожащие руки, — я пришла сказать вам, что я люблю вас и пришла проститься с вами... О! я надеюсь, что вы не найдете ничего преступного в том, что вы мне отдадите несколько минут, несколько последних минут моего счастья в этом мире, за которые я буду так глубоко, глубоко благодарна вам.

У него потемнело в глазах.

Броситься к ней, броситься перед ней на колени, обнять ее, отдаться всем существом, всем сердцем одной минуте, минуте блажен-

ства, счастья неопценимого, полного и затем будь, что будет. Пусть судят, пусть казнят его и свет, и Бог правосудный!..

Он овладел собою, овладел своею страстью.

— Мисс Дженн! — сказал он, стараясь придать своему голосу и твердость, и нежность, — я глубоко ценю вашу привязанность, ваше признание... и позвольте искренно, крепко, как другу, пожать вашу руку! И он действительно пожал эту чудную, прекрасную, холодную руку.

— Мы сядем здесь, — говорил он, указывая на широкий диван, — и, если желаете, будем говорить с вами, как искренние, давнишние друзья. — И он действительно усадил ее на диван, и сел подле неё. Но только он видел, как дрожит вся она, как колышется её высокая грудь и чувствовал, как дрожит сам он, как стучит его собственное сердце и пылает голова его.

— Мисс Дженн! — сказал он, — и голос его прерывался, — вы знаете, что я старше вас, почти двадцатью годами... вы знаете, что я люблю и мою жену и всю мою дорогую се-

мью... но я глубоко чувствую, о! я понимаю, что теперь творится в вашем бедном сердце!..

Она вдруг приподняла опущенную голову, она встряхнула всеми своими черными кудрями, её лицо побледнело, глаза засверкали.

— Мистер Артур! — сказала она, сдвинув брови и тяжело дыша, — я не прошу у вас ни наставлений, ни сожалений.

— Мисс Дженн — вскричал он и невольно схватил обеими руками её дрожащую руку, — клянусь вам, что... мои чувства... к вам... тако-вы, что в них нет места рассудку... я только желал бы одного, желал бы всем сердцем, чтобы вы были счастливы.

Её лицо снова просияло, румянец снова покрыл её щеки, и голова снова опустилась.

— Сэр Артур! — сказала она, не выпуская из своей холодной руки и крепко стиснув его руку, как будто боясь, что эта рука ей изменит. — Сэр Артур!.. я действительно желала бы только вашей дружбы, я ни на что более не рассчитываю, ни на что более не имею права, не смею рассчитывать. Я люблю все, что вы любите; мне дороги все ваши привя-

занности, и прежде всего и больше всего счастье вашего сердца. О! как глубоко я уважаю его! Как я дрожу за него, и она действительно вздрогнула всем своим прекрасным телом, всеми своими черными кудрями. — Я очень хорошо знаю, что между нами лежит целая бездна; нас разделяют не одни года, не одно ваше семейное положение, нас разделяют те глубокие потемки, в которых идет общество... идет, вероятно, к свету, но все-таки впотьмах.

«Мы бродим впотьмах сэра! — промелькнуло в памяти Артингсона, — мы бродим в глубоких, непроглядных потьмах!..»

— Мисс Джени! — сказал он. — никто не может разделить нас как двух друзей... и моя Джелла, моя добрая Джелла, она также будет вашим лучшим другом.

— О, да! сэра. Это моя надежда и мое утешение. Я уверена, что где бы вы ни были, вы не забудете обо мне, мы будем писать друг другу, мы будем передавать и наши мысли, и наши чувства. Да, в этом будет глубокое утешение... нет, это будет все для меня. О! я теперь ясно понимаю страдания моей бедной мэм!.. Ведь нельзя оценить страдание другого сердца, ес-

ли не испытываешь их в собственном сердце, не правда-ли, сэр? — И она посмотрела на него, глубоким, искренним взглядом...

— Правда! — сказал машинальным, глухим голосом Артингсон.

«О! как я боюсь, — припомнились ему слова мистера Чертча, — как я боюсь, чтобы моя жизнь не стоила жизни еще какому-нибудь другому молодому существу!..»

— Сэр Артур! — сказала она (и как мило, как задушевно она выговорила это: «сэр Артур!» — я думаю в жизни есть много страданий глубоких страданий незримых ни для кого, и мы не подозреваем, проходя мимо их, как сильно болит это больное сердце!.. Мне кажется, я может быть ошибаюсь, как все мы постоянно ошибаемся, — и она провела рукой по своему высокому лбу, — мне кажется, что наше слабое, бедное, условное счастье не может, не должно иметь места в жизни... и только тогда эта жизнь устроится...

Он посмотрел на нее с изумлением.

— Я думаю, что все зависит от строгого глубокого расчёта, который основан на знании всех мелочей. Если люди будут заботиться по-

стоянно и всего более о знании, то жизнь скорее устроится, а счастье... счастье придет само собою. Если бы мы понимали жизнь и умели ею управлять, то мне кажется, не было бы в ней места страданиям, никаким страданиям... Сколько существует несчастных браков, сколько разбитых сердец, сил, даром растраченных и даром погибших для общества, для прогресса. Какой злой, непонятный случай свел нас с вами, почему мы встретились с вами так поздно, мы, которым, кажется, сами естественные законы прирожденных симпатий, как будто назначили жить друг для друга, для полного, взаимного счастья, — голос её задрожал и оборвался!..

Он взглянул на нее и тотчас снова опустил глаза.

Под говор этих тихих искренних слов, под говор этого задушевного признания, которое она как будто высказывала не ему, её другу, так страстно любимому, а просто самой себе — он почувствовал, как новая, могучая волна страсти поднялась в его, и без того кружившуюся, голову. А между тем, она так близко сидела от него — и не сидела, а даже полу-

лежала, как будто в изнеможении опустив головку на мягкую и высокую спинку дивана. Она смотрела прямо её блестящими глазами, — о! какими блестящими и страстными глазами — в его глаза и каким жгучим, ароматным воздухом была окружена вся голова её, все ее прекрасное тело. Он не смотрел на нее, но он чувствовал, как тяжело она дышала, он видел, как её руки вытягивались на подушке дивана, гладили одна другую, дрожали в неодолимом томлении. Они жаждали ласки так же, как её сердце, как все существо её... А в комнате сквозь полуопущенные шторы тихо светили сумерки майского, теплого вечера.

— «Ну! что же, — говорил ему смущающий голос, — сердце за сердце, жизнь за жизнь? Одной, уже совершившей свой страстный круг, матери твоих детей, которая останется матерью, ты отдал самые страстные, самые лучшие восторги твоего ума, сердца, таланта; отдай теперь это сердце другому сердцу. Ведь это сердце само раскрылось перед тобою, само отдается тебе, ведь она пришла к тебе, сбросила с себя все оковы пересудов, все цепи предрассудков общества. Она приносит тебе

её первую и последнюю, жаркую любовь. Закон, мировой закон внятно говорит и твоему рассудку, и твоему сердцу, что дети твои и её дети будут так же умны и талантливы как умны и талантливы их родители, дай же обществу этих деятелей!.. Ему нет дела до твоей Джеллы, до её детей, ему нужно Артингсонов, деятельных, гениальных Артингсонов!»...

Вот что говорил ему повелительный голос, и всё-таки внутри его совершалась борьба, тяжёлая, разрушающая и тянулись минуты, мучительные минуты.

А она их не замечала. Ей так было хорошо подле него.

Пусть летят эти минуты, часы, дни, пусть проходят целые годы. Ей казалось, что не может быть ничего лучше, как сидеть подле него, любоваться им, любоваться в каком-то трепетном сладком томлении, среди неопределенного, какого-то бесконечного чувства. Что же может быть лучше этого?!

Но для него... О! для него, наконец, стала невыносима эта немая страстная сцена. Он весь дрожал, голова его пылала, пылала кровь, с каким-то гулом струившаяся во всех

его жилах. Еще один, один миг, и он бы забыл все, он весь бы отдался бешеному страстному порыву...

Он сделал нечеловеческое усилие, он овладел собой. Быстро поднялся он с дивана, пошатнулся, оперся на стол и судорожно вынул дрожащей рукой часы.

— Уже восемь часов! — сказал он, но голос его не договорил — он оборвался.

И она опомнилась. Она также приподнялась, её бледность, страшная бледность за сверкала даже в темноте вечера. Её губы задрожали, на глазах навернулись слезы. Но она стиснула зубы и отбросила быстрым взмахом все свои кудри назад. Она даже улыбнулась; улыбнулась, когда её сердце не билось, когда мучительная боль сдавила ей всю грудь.

— Прощайте, сэр! — сказала она, протягивая к нему обе руки и смотря на него ясными глазами, с кроткой, детской улыбкой.

Он взял эти руки и тихо пожал их. Он хотел прильнуть к одной из них, прильнуть долгим горячим поцелуем, но он ясно сознавал, что вместе с этим поцелуем хлынут у

него слезы, и что она также разрыдается истерически. Вот почему он не поцеловал в первый и последний раз этой прекрасной руки, он даже опустил, чуть не отбросил ее.

Она быстро пошла вон, кутаясь в свою белую серебристую мантилью, набрасывая на голову и лицо белый вуаль, она оглядывалась кругом, как бы забыла что-то в этой дорогой для неё комнате.

— Прощайте, сэръ Артур, — сказала она на пороге, — до свидания... вы будете писать мне или моей дорогой мэм... Да?!..

И, не дожидаясь ответа, она выбежала вон.

Может быть, показалось ему, или он действительно слышал эти глухие, раздирающие сердце рыдания.

Его тянуло броситься вслед за нею. Он даже должен был проводить ее, ведь этого требовал просто долг вежливости, приличия, но он стоял, не двигаясь. Он дрожал. Потом, шатаясь, подошел он к умывальнику, намочил платок холодной водой, приложил его колбу, смочил всю свою голову, все свои серебристые кудри, сильно поседевшие в эти страшные, мучительные дни.

— Надо собираться, надо скорее собираться! — сказал он вслух, как будто этими словами, этим глухим подавленным голосом могла облегчиться его страждущая грудь.

И он начал собираться, укладывая наверх то, что следовало уложить вниз, выбрасывая вой то, что следовало уложить, и укладывая то, что вовсе не принадлежало ему.

Вдруг он взглянул на часы и как будто вспомнил, что поезд не ждет; не ждет эта машина, действующая паром, чуждая всем человеческим страстям. Он как-то судорожно прижал пуговку электрического звонка и долго не отнимал пальца.

Вбежал слуга в испуге.

— Что вам нужно, сэр?!

— Когда идет поезд в Свиртингэм?..

— В десять часов сэр; вы имеете еще целых полтора часа. О, достаточно времени! Не желаете ли вы, сэр, съесть чего-нибудь; кажется, вы вчера не обедали, сэр, и... и сегодня также.

— Нет, я ничего не желаю. Помогите мне уложиться. Я просто болен — и он снова приложил мокрый платок к своей пылавшей голове, но холодная вода казалось ему горячей.

## VII

Через полтора часа он летел к своей Джелле. Он усиливался думать только о ней, он выставлял свою пылавшую голову из окна и освежительной волной дул, на эту горячую голову, свежий ночной воздух, пролетавши мимо вагонов...

Мелькали станции, тянулась ночь, в какой-то дремоте бессильной, тяжелой. Выходило солнце, сияло утро. Кругом были суета, движение, шум, говор. Он думал только об одном, старался думать только о Джелле.

Наконец, поезд остановился в Свиртингэме.

Вот она, его Джелла, стоит на платформе и машет платком, а подле неё плачущая Лида и Эмма, и все протягивают к нему руки. Только нет одних рук, которые протягивались к нему с такой страстной, беззаветной, безумной любовью!

Он вышел в каком-то онемении, как-то холодно поцеловал он и свою Джеллу, и Лиду, и лепечущую, плачущую Эмму.

— Артур, мой Артур! шептала перепуганная, Джелла, — ты болен, ты похудел, пожела-

тел, ты даже поседел... что с тобою?!

— Я болен, я был болен! сказал он.

И больше ничего не сказал.

Кругом него толпились и лепетали дети; каждый спешил наперерыв рассказать ему что-нибудь ужасно необыкновенное, что случилось без него.

Угрюмо и молча вошел он в свой дом, в свой родной дом...

— Артур! вскричала Джелла, когда они остались одни, — скажи мне, что с тобой!?. Дорогой родной мой Артур!.. Между нами не было и не может быть никаких тайн... Мы так крепко связаны, мы любим друг друга не для себя, но для счастья каждого из нас. Артур! я догадываюсь, ты полюбил ее, ее, эту чудную девушку, о которой ты писал мне, — мисс Дженн Драйлинг.

Он вздрогнул и дико, безумно посмотрел на её лицо, на её большие, серые, добрые, любящие глаза и опустил голову.

— Артур! вскричала она, сжимая его холодные руки, — и только в этом все твое несчастье?.. или она... она не любит тебя... тебя, доброго, умного, талантливого. Неужели же

есть в мире женщина, человек, которые бы не любили тебя?... Артур!

— Она любит меня, как-то глухо, скороговоркой проговорил он.

— Так что же, Артур!.. Артур! разве твое счастье не мое счастье?.. Разве ты не знал меня, не узнал меня в пятнадцать лет нашей общей жизни... Разве ты не отдал мне все, все из твоей пылкой молодости... у нас трое детей, твоих детей... Артур! чего еще я могу требовать от тебя?.. Если ты думаешь, что я не буду ее любить как сестру, как родную, как ту, которая даст тебе новое счастье и новую жизнь... Артур! родной мой... друг мой... брат мой!..

Он упал перед нею на колени, он спрятал голову в её руках. Он зарыдал, зарыдал перед этим идеалом, полным самоотверженной любви, а она гладила его серебристые кудри, из её добрых глаз также катились слезы, и одного было ей жаль, одного только, зачем страдал этот человек, зачем поседели так сильно его серебристые кудри.

— Джелла, сказал он, когда, наконец, улегся, стих этот пароксизм плача, когда он вы-

сказал все, все что наболело у него в сердце в эти тяжелые дни, — Джелла, мне совестно, стыдно смотреть на тебя... Я ниже, о гораздо ниже тебя...

Она взяла его голову и, обняв руками, повернула к себе, хотя глаза его были опущены, даже зажмурены...

— Почему же стыдно, Артур!.. Не потому-ли, что сердце твое шире моего, что оно может вместить в себе не только любовь к двум женщинам, но и любовь ко всему человечеству, а мое сердце, оно может любить только то, что дорого тебе, и больше всего тебя, моего доброго, умного, гениального друга... Пройдут года, Артур, страсти улягутся, но останутся после нас наши дела и наши дети. Америка будет вспоминать о тебе, о её поэте и музыканте, и вспомнит обо мне, как о твоей жене... Да разве я не христианка, Артур, разве я не люблю тебя, как самое себя, разве я не чувствую, как тяжелы твои страдания, дорогой мой!..

И слезы сильнее закапали из её глаз; она гладила его серебристые кудри, она ловила его руки и целовала их.

— Артур! — говорила она чрез несколько минут, когда он, закрыв глаза, лежал головой на её коленях, наслаждаясь этим безмятежным покоем, после таких потрясающих чувств. — Артур! поезжай завтра же туда, привези ее сюда. У нас есть, у нас найдутся лишние комнаты. Я с такой радостью встречу ее. Мне кажется, у меня будут не один, а два друга... И так хорошо, легко, свободно потечет жизнь моя; я, наверное, сама помолодею с вами.

Он еще поцеловал, крепко поцеловал её худые, уже постарелые руки и встал, быстро освеженный. Он поцеловал ее долгим поцелуем, поцеловал её глаза; он понял, теперь только понял, сколько человеческих, именно человеческих чувств было спрятано в этом сердце.

И все-таки он мечтал о ней, о той далекой его симпатической паре; мечтал еще сильнее, потому что теперь, да, теперь не было никаких перегородок между ним и ею; теперь даже одобряла этот союз его Джелла, его святая Джелла. Да, он не мог иначе думать о ней, как о святой.

Он так весело, долго болтал в своей семье.

Теперь все ему улыбалось: и эти дети, которые так любили его, и эта жена, нет, не жена, а что-то самое высочайшее, выше друга, выше всего, всего на свете.

На другой день она уговаривала его уехать с первым поездом, спешить скорей к этой страдающей, к этой чудной девушке.

— Артур, говорила она, — ты не можешь представить, какое сильное страдание, боль сердца, может принести женщине обманутая или неудовлетворенная, подавленная любовь. Если мы имеем, должны иметь сострадание ко всем, то еще более к таким существам, умным, талантливым, необыкновенным, как эта девушка. Поезжай скорее; мне кажется, я буду только тогда покойна, когда ты напишешь, что она счастлива и ты счастлив, мой Артур. О, какое будет это чудное письмо!

Но он все-таки не поехал ни с первым, ни с вторым, ни с четвертым поездом, он непременно хотел остаться, целый день остаться с его Джеллою.

— Мне надо отдохнуть, Джелла, — говорил он, — отдохнуть подле тебя. Я пошлю письмо.

— Пошли телеграмму.

И он согласился и написал:

**«Завтра, в 5 ч. вечера, я буду подле вас. Перегородок нет; их сломал мой добрый ангел-хранитель, моя Джелла».**

— О! Джелла, — сказал он, пряча голову на её груди, — мне совестно, стыдно!

— Чего, Артур? Твоей любви, любви к девушке, которая вполне, я надеюсь, вполне заслуживает ее.

— Мне совестно тебя.

Она засмеялась и крепко поцеловала его.

— Ты ребенок, Артур, ты до сих пор ребенок! Разве я не понимаю, не могу оценить то, что влечет тебя туда к ней?.. Представь себе, что я превратилась на время, а может быть и навсегда, в твою сестру. Разве тебе было бы совестно уехать от твоей сестры к твоей невесте?

— О, моя Джелла! — вскричал он, крепко прижимая ее к сердцу, — о моя сестра святая, как глупо устроено сердце людское! сколько в нем неразъяснимых, непроходимых противоречий!

И целый день они были вместе, целый

день, почти постоянно, она расспрашивала его о ней и слушала с таким восторгом его восторженные описания.

— Артур, Артур! — говорила она — снова нисходит к тебе новое счастье! И я, я сама буду счастлива этим двойным счастьем... Вы оба будете любить меня, и я вас буду любить, и какие, Артур, чудные, вдохновенные песни; появятся у тебя в этой новой жизни. О! я заранее вижу, что за гениальная вещь выйдет из трудов твоей обновленной жизни. И я, Артур я, — прошептала она, — буду хоть немного виновницей всего этого. Я буду также участницей. Я, бесталанная, отдам от себя в жертву прогрессу все, что имею, мое любящее сердце!..

— Твое широкое сердце, Джелла! — вскричал он чуть не со слезами и, целуя ей руки, он думал: «Как не похоже это сердце на то, другое сердце; как не похожи эти натуры, и кто решит, которая из них выше!».

И, вместо отдыха, он волновался целый день. Сердце дрожало, дрожали холодные руки, голова горела. То его тянуло туда, туда, к этой необыкновенной девушке, к этой вол-

шебнице; то ему хотелось, страстно хотелось остаться здесь, подле этого доброго, самоотверженного существа.

— Артур, — говорила она, — я пошлю за доктором, ты просто пугаешь меня. Ты бледен, худ, твои глаза горят, у тебя жар.

— Это просто волнение, родной мой друг, — говорил он, — завтра, завтра все это уляжется.

Но она не верила, она все-таки послала записку к старому другу их дома и дальнему родственнику, доктору Бёрнту.

Вечером Артингсон начал укладываться. Какой хаос он нашел в своем чемодане! Точно сумасшедший укладывал все вещи: почти все портреты были разбиты. И опять этим чудным ароматом пахнуло на него от всех вещей, и снова образ этой девушки, который постоянно как тень, мелькал у него перед глазами, явился перед ним, как живой. Сердце заныло, грудь заколыхалась.

Он взглянул на часы — было половина одиннадцатого.

— Через полтора часа, — подумал он вслух, через полтора часа я полечу к тебе, помчусь

как вихорь, и нет, нет перегородок!..

Он быстро начал укладываться.

И постоянно ему казалось, что позади его стоит она, что-то белеет.

Он невольно оглянулся назад. Позади его действительно стояла она, она сама, Дженн Драйлинг.

О, как грустен был её молящий взгляд, как судорожно были сжаты её опущенные руки!..

Он побледнел.

«Неужели она приехала вслед за мной, или... или она сделала этот сюрприз, моя дорогая Джелла», — мелькнуло в его голове.

И он быстро вскочил. Сердце радостно забилось...

— Дженн, Дженн, — вскричал он, — вы здесь, узнаете все!

Но Дженн вдруг заколыхалась, как туман, и исчезла, улетела, как «ангел белый иль белая птица!»

С криком, стремглав бросился он вниз, туда, где люди, где его Джелла.

— Что с тобою, Артур, что с тобою! — вскричала она, бросаясь бледная к нему навстречу. — Мистер Бёрнт, что с ним?!..

— Я видел ее, — проговорил с трудом Артур и зубы его стучали, как в лихорадке.

Мистер Бёрнт усадил его в кресло. Он щупал его пульс. Он прикладывал руку к его голове и качал своей большой курчавой головой, вспоминая, что сейчас рассказала ему мистрис Артингсон.

Он дал ему каких-то капель и послал в аптеку еще за лекарствами.

— Так нельзя сэр, — говорил он, — так нельзя рисковать, страшное напряжение нервов, и если при этом являются галлюцинации, то недалеко очень недалеко до весьма дурной развязки. Я не хочу вас пугать, но будьте осторожны. Я бы советовал вам остаться...

— Нет, я поеду! — вскричал он быстро, и бодро приподнявшись с кресел. — поеду Джелла, только там я могу быть покоен.

И он отправился наверх снова укладывать. За ним вслед пошли и Джелла, и Лида, и другие дети, и мистер Бёрнт.

Все они наперерыв помогали укладывать...

Джелла отвела его в угол.

— На, — сказала она, — Артур, и она подала ему её фотографическую карточку; ты это отдашь ей, а мне пришлешь её карточку, и тотчас же, тотчас же пришлешь мне телеграмму, как приедешь. О! как я боюсь за себя. Я так бы рада была сама проводить тебя, и она крепко стиснула его руку.

Наконец, наконец он был в вагоне. Он еще вспоминал грустные глаза его Джеллы, вспоминал, как она обняла его. Он еще слышал, как рыдала его Лида и как доктор Бёрнт, тоже провожавший его, говорил ему:

— Будьте осторожны, сэр, и еще раз через два часа примите двадцать капель, а завтра по утру десять.

И все это смутно представлялось ему. Главное — он летел, летел к ней. Он вез ей любовь, радость, счастье. Он мечтал постоянно об этой встрече. Он представлял ее в тысячи разных видах и постоянно видел одно, её радость, и даже радость мисс Драйлинг. О! неужели же она не будет рада, неужели же она найдет что-нибудь предосудительное здесь, когда сама Джелла, его святая Джелла, ничего не нашла и благословила его.

И он летел. Ему казалось, что поезд, против обыкновения не делал пяти миль в час, он справлялся с часами, но часы его стояли, как мертвые.

На рассвете он уснул крепким освежающим сном, и сон рисовал ему такие радужные сцены любви и счастья.

Он проснулся почти в два часа утра. Он не слышал, как менялись его соседи, приходили и уходили пассажиры. Впросонье он отвечал кондуктору, показывал ему билет и на любезное его приглашение чего-нибудь поесть отвечал лаконическим: «благодарю!»

И наконец, он проснулся, — бодрый, свежий, Он узнал, что осталось три часа, только три часа до этой великой блаженной минуты.

О! зачем столько счастья дается одному человеку, столько сердец его любят, так глубоко восторженно любят. Да и откуда же дается это счастье?! «Надо узнать все мелочи жизни», припоминались ему её слова «и счастье придет само собой!» О! вот оно пришло, нахлынуло полной волной, хотя я ничего не знаю, никаких мелочей. И сердце его трепетало, и мечта неслась за мечтой, одна другой милее,

восторженнее. Ему казалось, что все на свете хотя на одно мгновение могут быть счастливы в жизни также, как он.

А поезд летит, летит. Еще полчаса, еще двадцать минут...

Вот наконец и они пролетели.

Как сумасшедший, как влюбленный юноша, он бросается в коляску, бросает в нее чемоданы и прямо туда, туда!

— Дженн, и Джелла! Джелла и Дженн! — твердит он, когда коляска быстро мчит его. — Два имени, два друга, два чудных женских образа, и они оба мои... оба мои ангелы-хранители! О! только бы сердце не разорвалось от этого блаженства!

Вот наконец и он, этот коттедж, вот и озеро, и балкон! Не она ли стоит там? О! с каким криком бросится она к нему навстречу, или побледнеет и упадет без чувств. Нет! это не может быть — ведь она получила мою телеграмму. Она приготовлена. О! золотые юношеские восторги, неужели я снова переживаю вас! И неужели жизнь только обманчивый сон.

Он вбежал в переднюю.

Какие-то люди толпились в ней, что-то толковали, о чем-то хлопотали. Он ни на кого не взглянул, и на него никто не обратил внимания.

Он взбежал на лестницу, вбежал в салон.

Первое, что поразило его, это мисс Драйлинг. Она уходила в другую комнату, или, правильнее, ее уводили под руки какие-то две черные леди.

Он обернулся в другой угол... там стоял гроб... Но он не вдруг разглядел, не вдруг понял, что это действительно гроб, весь замаскированный зеленью, весь убранный цветами и что в этом гробу посреди цветов, её любимых цветов, лежала она.

Он пошатнулся и быстро подошел к этому гробу, не веря глазам своим.

Да, это действительно лежала она; и смерть не могла исказить этой чудной, казалось ему, неземной красоты. Она лежала и мертвая, как живая.

О! где же ты воскрешающая сила!.. коснуться бы её, коснуться только этой чудной мертвой руки. Встань, очнись, во имя любви, счастья, блаженства!

Он хотел зарыдать, застонать и не мог.

Круги, круги, пестрые, темные завертелись, заструились в его глазах. Он зашатался и рухнул на ковер, на цветы, подле этого трупа, подле этой чудной, молодой жизни, безвременно и быстро разбитой.

## VIII

Когда он очнулся, он дико осмотрел темную, занавешенную комнату. Ему казалось, что он проснулся после долгого тяжелого сна, в какой-то другой, уже загробной жизни.

Он пристально всматривался, подле него сидела она, его Джелла, но он не вдруг узнал ее. Те же черты, но как изменились они, как постарели, как угрюмо смотрят её большие грустные глаза.

А это подле — это мисс Драйлинг, вся в черном, или нет, это какая-то старуха дряхлая, дрожащая, седая, с старчески трясущеюся головой.

Джелла быстро поднялась со стула, глаза её засверкали радостью, задрожали слезами.

Но её тотчас остановил доктор Бёрнт. (Да! и он был тут, и так же как будто похудел), Он подал Артингсону рюмку с какими-то капля-

ми.

— Примите это, сэр! примите, и покой... покой!

Он взял рюмку дрожавшей, прыгавшей рукой и принял при помощи Бёрнта.

А они обе тоже дрожали и плакали и Джелла и мисс Драйлинг.

Он снова впал в забытие и очнулся через несколько часов.

Он как-то смутно чувствовал, что теперь утро, день, что солнце светит на дворе, жаркое солнце. Перед ним снова сидели те же самые лица.

— Джелла! — сказал он чуть слышно, — Джелла!

Доктор Бёрнт хотел снова остановить её страстный порыв и не мог.

Она уже была перед ним на коленях и рыдала, и целовала его руку.

— Джелла! что со мной... Она умерла?..

— Я осталась с тобой, я, Артур!..

Он посмотрел на нее, взял её руку. Какие-то тихие слезы потекли из его глаз. Он целовал её руку и гладил её волосы.

Кризис совершился. Что произвело его?

Силы жизни, доктор Бёрнт или эта ласка глубоко любящего сердца и эти тихие слезы. Кто может на это ответить?!

Медленно шло выздоровление. Медленно оживал он, чувствуя, что он должен жить для неё, для его друзей, что кошмар прошел, волшебный, поэтический сон исчез. Настала прежняя пора обыденной жизни. Но сколько же в этой жизни тайн и разве не может согреть ее эта теплая любовь его доброй, его ясной Джеллы!..

— Мисс говорил он раз, сидя на балконе еще слабый, больной — мисс Драйлинг! расскажите мне о её последних минутах.

— Сэр Артингсон! — сказала эта дряхлая, седая старуха, — зачем вспоминать прошлое — вам нужен покой.

— Тебе нужен покой, Артур, — вскричала Джелла, — зачем ты хочешь расстраивать себя снова?

Он тихо покачал седой головой...

— Не бойся, моя родная, — сказал он, — теперь меня ничто не тронет. Все прошло, как сон, все страсти улеглись, и я буду слушать рассказ нашего дорогого друга, как далекую,

грустную повесть. Этот рассказ освежит мое сердце, разбудить мои уснувшие силы.

И мисс Драйлинг начала рассказ. Она рассказывала, как будто и ее тоже ничего не трогало, как будто после долгих, долгих страданий онемело, наконец, это разбитое сердца. И притом в её глубоких, впалых, обведенных темными кругами глазах блестела такая теплая вера во что-то вечное, далекое от всех земных страданий, а на её черной одежде блестели белые длинные воротнички, как у пастора — эта принадлежность костюмов шекеров. Она поступила в эту секту и только на время осталась здесь подле него, выздоравливающего, но все-таки больного её старого друга и шекеры ничего не могли возразить против этого святого дела.

— Я пережила эти потрясающие минуты, сэр Артингсон, — рассказывала она, — и мне теперь легко, как старому дереву, после долгого знойного дня, после грома и бури.

Она рассказывала, в каком странном, безумном состоянии вернулась она, её дорогая Дженн, из этого отеля, от мистера Артингсона.

«Он не любит меня, мэм, — шептала она. — Если бы он любил меня, он не был бы так холоден, он нашел бы в своем сердце несколько теплых слов участия, он бы заплакал. Он просто боялся меня, дрожал передо мной».

«Я несколько раз, — рассказывала мисс Драйлинг, — ходила к ней туда наверх, несколько раз говорила ей я не помню, что я говорила ей, сэр Артур... и что могут сделать слова в эти минуты. На все эти слова она почти не откликалась, она сидела грустная, убитая, подавленная. Я видела, сэр Артур, что ей тяжело и не могла ей помочь. Я хотела бы заставить ее плакать, о, наверное, слезы унесли бы все, что налегло, надавило её сердце, что отуманило её голову.

«Было уже поздно — кажется первый час ночи — когда я услышала этот стук, — глухой чуть слышный стук, но он был так явствен среди тихой ночи. Я не помню, как я бросилась к ней снова наверх, и не помню, что со мной сделалось, когда я увидела ее на ковре, холодную как труп. Я подумала, что цветы, эти ужасные цветы убили ее... Да! я и теперь думаю тоже самое... Вы представьте, что ат-

мосфера, в которой она сидела, целых три часа, была до того тяжела, до того убийственна, что я просто задохнулась, когда вбежала в её комнату. Прежде она освежала ее каким-то газом, но теперь она вероятно забыла о том, или, или... о! Господи, прости мое согрешенье!.. Может быть, Артур, она нарочно убила себя, прошептала она...

«Я, разумеется, тотчас послала за доктором, тотчас перенесли ее в мою спальню, вниз... Приехал и мистер Вертч (вы его знаете), и доктор Тюнинг и доктор Стент. Ей давали какие-то капли, насильно, сквозь стиснутые зубы, вливали ей в рот, ее растирали, обложили синапизмами и в четыре часа утра она пришла в себя и как я уверовала, как я жарко молилась! И знаете-ли, с этой верой, с этой молитвой ко мне вернулось такое успокоенье, глубокое, твердое, невозмутимое. Я сказала: если я и потеряю ее, разве это не Его воля, — Его великого, которого мы любим, потому что нельзя же не любить Его, ведь Он выше, чище, разумнее, бесстрастнее всех нас бранных и мимолетных созданий.

Она очнулась, но на всех смотрела дико,

никого не узнавала и дышала тяжело.

«Мисс Драйлинг! сказал тогда мистер Вертч (вы знаете сэр Артур, какой он умный и ученый человек), «мисс Драйлинг, сказал он, мы до сих пор не знаем, как помочь человеку в случае отравления тонким запахом ядовитых цветов — наука здесь бессильна. Мы будем ждать, наблюдать и действовать по симптомам».

И все это продолжалось, тянулось, как тяжелый сон.

«В семь часов мы получили вашу телеграмму. Я тотчас передала ее им, Вертчу, Стенту и Тюнингу, они ни на одну минуту не покидали ее, мою больную.

«Но тут они заспорили. Вертч предлагал прямо сказать ей вслух, громко: телеграмма от Артура Артингсона и передать ей эту телеграмму. Он горячо утверждал, что это сильное потрясение произведет неожиданный быстрый переворот в нервах, но другие так же горячо спорили, что ей нужен покой, глубокий безусловный покой. И вот, почему телеграмма не была ей передана. По крайней мере тотчас же. Но ей все-таки, передали ее,

сэр.

«В восемь часов она поднялась с постели глаза ее стали ясны, она узнала меня.

— Мэм! — сказала она, — что со мной?

— Ты больна, — говорю я, — моя Дженн, — будь покойна!

— Мэм! я знаю от него есть что-то.

«Я взяла телеграмму со столика и прямо подала ей, не спрашивая никого. Мистер Вертч не успел вырвать ее...

«Она прочла телеграмму, глубоко задумалась и подала мне ее».

— Поздно, мэм! — сказала она, — слишком поздно!

«Потом снова опустилась, утомленная и не прошло полчасика, как она начала метаться.

«Она просила пить; ей давали какие-то прохладительные сиропы. Она была так послушна, но очевидно ничто, ничто не помогало. Она мучилась. Ах, как она мучилась, сэр Артур, и как я горячо желала, чтобы скорее настал конец этим мучениям, но эта попытка продолжалась целых тринадцать часов. В десять часов она вдруг обратилась ко мне.

— «Мэм! — сказала она, едва дыша, — мэм!

ах! если бы он был ласковей со мной, мне кажется, мне легче было, бы умирать!

«Это были её последние слова...

«Прошло еще несколько, не знаю сколько времени, она приподнялась и тотчас же упала, глаза остолбенели, она начала дышать судорожно, порывисто.

«Доктор Стент подошел ко мне, взял меня под руку и насильно повел меня.

— «Пойдемте отсюда, мисс Драйлинг, — сказал он. — Бог милосерд; есть жизнь другая! — кто-то прошептал позади меня:

«Началась агония!»

«Больше я ничего не помню, сэр Артур; она умерла в половине одиннадцатого».

Артингсон опустил голову и глубоко задумался.

— Артур, мой Артур! — вскричала Джелла, бросаясь к нему вся в слезах — будь покоен.

— Я покоен, дорогая моя, — сказал он таким тихим, ровным голосом. — я совершенно покоен...

Он отвернулся от неё и опустил голову. Он усиливался понять её слова и не мог. Какие-то бессвязные понятия, представления

струились в его слабой голове, свертываясь клубами или переплетаясь в бесконечную путаницу. Он сидел целых полчаса, неподвижно, не замечая, как летело время.

— Артур! Артур! — вскричала Джелла, падая перед ним на колени, — неужели в тебе все окаменело, неужели ты никого не любишь?... не любишь меня?... — и она рыдала, целуя его руки...

— Я люблю тебя, Джелла, — сказал он, глядя её голову, — я люблю тебя, но то, что похоронено, то не может снова воскреснуть!..

\* \* \*

Прошло четыре года, только четыре года, и сколько перемен совершилось в это короткое время!

Мисс Драйлинг бесследно исчезла в тихой, замкнутой, земледельческой секте шекеров.

Мистрис Артингсон, эта любящая, самоотверженная Джелла, страдала, томилась — страдала потому, что не могла возвратиться к себе прежнего Артура. Он как будто переродился после громового удара. Он был задумчив, холоден, сух. Он бродил, как бродят помещанные меланхолики, и когда умерла она,

его Джелла — он не плакал. Угрюм, грустен, задумчив стоял он перед её гробом.

Он проводил в раннюю могилу его Эмму, также спокойно, безучастно, как проводил и ее, Джеллу.

Оставалась только одна Лида. Она вышла замуж за человека сильного, энергического, который основывал какие-то новые колонии в девственных лесах Виргинии. Она любила его и работала вместе с ним, как его помощница, как его работник, только от этого брака дети рождались хилыми и умирали.

Вымирал род Артингсона! Он понимал это. Он бродил одинокий забытый, покинутый всеми.

И кто бы узнал теперь прежнего статного, сильного красавца в этом седом, сторбленном старике!

Замолкли его чудные песни, его певучие мелодии.

Общество забыло о нем, как забывает часто о том, кто вел его вперед, кто увлекал его своими вдохновениями.

А жизнь все-таки шла своим ходом, работала наука, литература, поэзия, искусство, все

обновлялось, развивалось, стремилось в неизведанную даль будущего — один он был холоден и безучастен.

Он думал: «куда все идет и куда идти за ответом, и где этот великий ответ на великий вопрос?» Он сам своим сердцем прошел всю гамму страсти, и она сожгла, иссушила его сердце. Он читал даже эти записки ищущих света, этих «Просвещенных» и там говорили рассудительные, ученые люди, один бред и сумасбродство. Да и эта секта уже рухнула.

Он хотел верить и не мог. Чему же верить? Он не мог решить и только хриплый, скрипучий бас мистера Чёртча постоянно шептал над его ухом:

«Мы бродим впотьмах, сэ, мы бродим в глубоких, непроглядных потьмах!»

# Свет и мрак (Рассказ)

## I

Я хочу рассказать один странный случай, который встретился в моей жизни, когда я была еще очень молода.

Теперь много толкуют о гипнотизме, мантевизме и мысленном внушении. Может быть тот случай, о котором я расскажу, послужит материалом для объяснений некоторых из этих темных явлений нашей психической жизни.

В 1845 году мы жили скромно и уютно в нашем родовом К\*\*\* имении, в селе Роматицах. Нас было трое: я, моя добрая тетя и мисс Берд! В полуверсте от нас, в маленькой деревушке, Голубовке, жил он — мой добрый Поль — друг моего тихого детства и моей восторженной молодости.

В нашем доме многое до сих пор осталось нетронутым. Это старинный каменный дом, весьма удобный и прочный, построенный еще моим прадедом. Отец мой, большой ан-

гломан, сделал в нем и около него только небольшие, несущественные изменения. Он обратил рощу около дома в большой английский парк и ввел в доме английские порядки. После его смерти эти порядки свято поддерживала моя тетья, которая довольно долго прожила с ним в Англии. У нас был заведен утренний lunch с гренками и жареной рыбой, breakfast с неизменной ветчинной, сыром и настоящий английский обед в семь часов, с противным перечным супом, бараниной и ростбифом.

Дома, в семье, мы постоянно говорили по-английски и научили говорить и моего доброго Поля. Он был старше меня более чем на двенадцать лет; с тех пор, как я запомню себя, я, кажется, всегда находила его таким же, каким я знала его еще очень-очень маленькой девочкой... Я его звала «тихим» Полем и, действительно, он был всегда тих и кроток. Когда я досаждала ему какой-нибудь детской шалостью, он спокойно поднимался с места и уходил, не сказав мне ни слова. Но я очень хорошо понимала, что я его глубоко огорчила. Я начинала злиться, капризничать — и все это

разражалось слезами. Я плакала целый вечер, даже часть ночи, а на другой день робко смотрела на него, боясь подойти к нему, и когда он, как ни в чем не бывало, с светлой, радостной улыбкой на полных, румяных губах и с тихим, светлым взглядом его прекрасных тёмно-голубых глаз, протягивал мне руку, то я так не смело смотрела в его глаза.

— Вы не сердитесь? — спрашивала я его почти шепотом.

— Я никогда не сержусь ни на кого, а в особенности на вас.

— Скажите мне, Поль... как это вы делаете?

— Что такое?

— Как это вы никогда ни на кого не сердитесь?

— Очень просто! Я никогда ни на кого не сержусь и поэтому не могу сердиться на кого-то бы ни было.

— Да как же это сделать?! Ну, если вас сердят, дразнят. Если вам досадно, что не делается что-нибудь... не устраивается, не ладится так, как бы вы хотели...

Я помню, он тихо притянул меня к себе за руку и почти перед самым моим ухом про-

шептал:

— Смотрите вверх! Прямо на небо!

— Ну, что же?.. Я смотрю...

— Смотрите долго, серьезно... и вы не будете сердиться. Если будете думать, что то, на что вы смотрите, выше всего... а все остальное ниже... все пустяки, на которые не только не стоит сердиться, но даже не стоит думать о нем...

И странное дело! В то время, мне — ребенку, десятилетней девочке — касался этот прием удивительно практичным. Если что-нибудь меня волновало, то мне стоило выскокить в сад, или подойти к окошку и посмотреть высоко на небо, в самую глубину его. Я смотрела долго, пока сердце не утихало и волнение проходило. И я думала: что это все пройдет и снова придут радости, удача и счастье!.. Надо только быть терпеливой.

Затем эта необходимость смотрения на небо — все больше и больше сокращалась. Редко налетали минуты глубокого волнения и быстрее наступало это время «просветления», как я называла его. Я глубоко вздыхала всей грудью и, перекрестившись, входила в

комнаты спокойная и довольная Через несколько времени мне начало доставлять какое-то неопределенное наслаждение это долгое смотрение на светлое ясное небо. Меня начало тянут к этому удовольствию, и один раз я до того засмотрелась, что со мной сделался обморок. По крайней мере все тогда объяснили обмороком это странное состояние полной неподвижности, какого-то окаменения, которое продолжалось несколько часов. Мне запретили смотреть на небо, но я все-таки украдкой, не на долго, взглядывала на него и тотчас же отворачивалась, когда голова начинала кружиться и сердце замирало.

Все мое детство прошло под ближайшим и неутомимым надзором моей доброй няни Матвевны. Она любила меня искренно и глубоко, и благодарное воспоминание о ней ярко и живо до сих пор. Я, как теперь, смотрю на её высокую, угрюмую фигуру, с головой, покрытой большим черным платком, на её доброе бледное лицо с строгими чертами. Она научила меня молиться со слезами — «чистой молитвой», как она выражалась, и жила в доме только ради меня. Когда я вышла замуж она

ушла в один из дальних монастырей.

В пятнадцать лет я считала себя уже совершенно взрослой, тем более, что в этот день, когда мне минули эти пятнадцать лет, на меня надели длинное платье и я стала, как мне казалось, совершенно барышней. Но в сущности я была тем же наивным, добрым ребенком, а барышней уж меня никак нельзя было назвать. Я бегала взапуски, в горелки с крестьянскими девушками и даже мальчиками, браталась с ними. Мы вместе разыскивали птичьи гнезда, или собирали грибы и малину. И только летними вечерами, когда солнце тихо опускалось за дальнюю рощу, я присаживалась к Полю на нашем любимом холмике, который мы называли «зеленой горкой». Я брала его за руку и у нас начинались длинные беседы обо всем, чуть не до полночи. Он удивительно много читал, а главное помнил все и умел передать все прочитанное. Под его рассказами в моем представлении являлись целые яркие, живые картины.

Он рассказывал мне о далеких странах, о том, кто были Карловинги и Меровинги, о

том, как жили египтяне, ассирийцы и вавилоняне, и как живут краснокожие индейцы и желтые китайцы.

Он рассказывал об Коралловых островах, о жизни под тропиками и в полярных странах и так много-много он мне передавал в дружеских беседах в тихие летние ясные вечера.

Он был, так же как я, одинокий сирота. Отца его убили на Кавказе, а старушку-мать он схоронил, когда мне не было еще восьми лет и вот с этих самых похорон началась наша тесная дружба.

В эту ночь я не могла уснуть. Его положение представлялось мне таким тяжелым, отчаянным, что я постоянно плакала. Он так крепко, так нежно любил мать, маленькую добрую, но по правде сказать, довольно вздорную старушку.

В первом часу ночи я вся в слезах, вся промокнутая его горем, тихонько поднялась с постели, беззвучно оделась, чтобы не разбудить рядом спавшую мисс Берд и пробралась в сад. В решетчатом заборе было много лазеек, я мигом очутилась в поле и бегом полетела в его усадьбу. Я знала, что в заборчике, кото-

рый окружал его крохотный садик, была маленькая калитка. Через эту калитку он постоянно ходил к нам и через нее я теперь пробралась к нему. В его кабинете горела свеча... Я неслышно вошла через заднее крыльцо и мимо огромного птичьего садка, прямо влетела в его кабинет. Я бросилась к нему на шею вся в слезах. Я обняла его и, рыдая, едва могла говорить:

— Добрый, тихий Поль... Мне вас ужасно жаль!.. Я буду у вас хозяйничать, вместо Анны Алексеевны. Буду делать вам кофе... каждое утро... и буду целый день... целый день с вами.

Он крепко обнял меня и поцеловал в голову...

Потом встал, взял большой платок и, бережно завернув меня в него, тихо отнес домой, на своих сильных руках.

— Это теперь рано... дитя мое, — говорил он, — после... мы увидим...

И я думала: когда же будет это после? И мне было ужасно тяжело, что он не принял ни моего участия, ни моих услуг.

Тогда он уже кончил курс в Московском университете и возвратился кандидатом с золотой медалью.

— Я уже теперь навсегда поселюсь в Голубовке, — сказал он, — а не буду уезжать в Москву на зиму.

Я была ужасно рада и тотчас же сообщила эту весть моей тете, и моей старой няне, и мисс Берд. Я не знала, что они все давно уже знали об этом, и притом более обстоятельно чем я.

Когда мне минуло восемнадцать лет, то тетя сказала мне:

— Теперь ты уже совсем большая и эту зиму поедем в Москву: познакомимся с добрыми людьми, старыми моими приятелями и приятельницами и... повеселимся.

— Как же мы будем веселиться? — спросила я, смотря на её доброе бледное лицо и на её еще более добрые и кроткие большие черные глаза.

— Мы будем ездить в театр и на балы...

Это меня удивило и заинтересовало и в тот же вечер, когда пришел Поль, я ему передала эту весть.

Москву я уже знала: я прожила в ней около двух лет. Меня отдали туда в пансион, но через два года тетя меня опять взяла в деревню. В пансионе я ужасно тосковала и постоянно была больна. Мое образование опять стало домашним. Тетя учила меня по-французски и всем так называемым «элементарным» наукам. Ей я обязана моим образованием, да мисс Берд и моему «тихому» Полю, который развешивал передо мной в ярких образах и картинах все то, что я находила таким сухим и скучным в моих учебных книгах. Наконец, тетя выучила меня играть на рояле. Она играла как виртуозка, и как теперь я вижу её маленькую фигурку, всю в черном, за роялем и передо мной мелькают её ручки, с брильянтовым колечком на левом мизинце. Я полюбила музыку и вскоре целые часы стала проводить за роялем. Поль также любил музыку, хотя не играл — любил слушать меня, сидя в нашей большой зале, у окна.

В Москве мы пробыли не долго. На четвертом большом бале, который был в дворянском собрании, мне сделалось невыносимо скучно. Я вспомнила грустное задумчивое ли-

цо Поля, когда он прощался с нами.

— Смотрите же, — говорил он, пожимая мою руку: — веселитесь хорошенько и когда возвратитесь — все мне расскажите...

— Отчего же вы не едете с нами? — спрашивала я.

— Мне нельзя. У меня работа.

— Какая?

— После скажу...

— Все после... Когда же это после?..

И мы уехали.

На другой день бала в дворянском собрании я решительно объявила тете, что больше на балы не поеду.

— Отчего же? — спросила тетя. — Ты так веселилась.

Кругом тебя постоянно было столько кавалеров.

— Так!.. Не знаю отчего, но мне хочется домой, мне скучно без Поля.

И я заплакала.

Тетя пристально посмотрела на меня и ничего не сказала.

Мне было весело только на первом вечере — он меня тешил как новинка. Помню, со-

бираясь на него, я долго смотрелась в зеркало и любовалась на себя, на открытые плечи и голые руки.

Я точно тетя, думала я... Только молоденькая, притом нос у меня не такой длинный, как у тети, а таких волос у ней нет и никогда не было, и я любовалась на мои длинные и толстые черные косы...

Через два дня мы отправились в Роматищи. Стояли довольно сильные морозы, нам было тепло в нашем зимнем, обитом войлоком возке. На каждой станция я торопила, чтобы нам запрягли скорей лошадей и целых полторы суток почти ничего не ела.

Когда мы подъезжали к Роматищам, я услышала звонки и бубенчики. Прямо на нас летела бойкая тройка. В санях сидел Поль в его теплой дохе.

Помню, я так обрадовалась при этом свидании: мне хотелось броситься к нему на шею, но он подошел и отворил дверцу возка со стороны тети и порыв мой улетел; только слезы радости стояли на моих глазах.

Через несколько дней он мне признался, что это по его совету меня возили в Москву

для веселья. И когда я удивилась и недоумева-  
ла, для чего это было сделано, то он мне пря-  
мо заявил:

— Для того, моя дорогая, чтобы испытать  
вас... Здесь, в деревне вы живете монотонной,  
однообразной жизнью...

Но ведь эта жизнь вместе с вами, Поль! —  
перебила я его... Ах! если бы вы знали, как  
мне скучны показались эти вечера, в особен-  
ности последний... Театр!.. Да! Я действитель-  
но наслаждалась... Ах! Какой талант этот  
Щепкин, или эта Никулина-Косицкая... Но и  
театр мне опротивел... Потому, мне кажется,  
что подле меня не было вас — моего друга, ру-  
ководителя, с которым я могла бы поделить-  
ся... кого могла бы спросить о том, чего не по-  
нимала.

Он ничего не сказал и только крепко по-  
жал мою руку.

И моя жизнь потекла так же однообразно,  
как прежде. Я переиграла ему все пьесы. Мы  
 снова перечитали наши любимые вещи. И  
оба мы были так счастливы и довольны на-  
шей жизнью. Я только чувствовала, что он  
стал как-то ближе ко мне, роднее. Очень ча-

сто по целым длинным зимним вечерам мы сидели где-нибудь в уголку, чаще в диванной. Это было наше любимое место. Тетя беседовала с мисс Берд, или с нашим соседом Иван Иванычем Лючевским. А мы сидели молча и мне как-то сладко и жутко было сознавать его близость. Я брала его руку и не выпускала из своей руки. Я смотрела на его лицо и это лицо мне казалось до того милым и близким, что мне ужасно хотелось обнять его и высказать, как сильно, безгранично я его люблю. Но он обыкновенно тихо выдергивал большую сильную руку из моих рук и так же тихо отодвигался от меня.

Помню один раз, это было на масленице, на меня напала тоска.

— Это просто тяжесть блинов, — объяснял он. — Вы сколько сегодня изволили скушать?

— Нет! Поль, не шутите!.. Мне просто хочется плакать... Я всем недовольна... Мне все, весь свет противен...

— И я также противен?...

Ах!.. Нет... Поль! — сказала я садясь подле него и взяв его за руку. — Скажите мне, почему мы не говорим друг-другу «ты»... Мне ка-

жется, что вы мне такой же родной, как и моя тетья... даже... более, чем тетья, — прибавила я шепотом. Он опять хотел повернуть это в шутку.

— Вероятно, потому не говорим «ты», что мы с вами не пили брудершафт... Вот сегодня выпьемте и будемте друг другу «ты» говорить.

— Нет!.. Нет!.. Поль... не шутите этим, — и я вдруг неожиданно, и сама не зная как, припала к его плечу и разрыдалась.

Он молча сидел несколько секунд, потом немного отодвинулся от меня и взял меня за руку...

— Послушайте, милый мой, дорогой друг, — сказал он: — вы знаете, как я высоко ценю вашу дружбу и я хочу, всей душой и сердцем желаю, чтобы жизнь ваша устроилась прочно и правильно... Хотите, я вам скажу, почему вам скучно?...

— О! Да! Хочу! Скажите, Поль!

— Потому что у вас нет цели в жизни, нет глубокого занятия, которое поглотило бы все ваши чувства и мысли... Помните, я указал вам, как делать, чтобы не сердиться? Хотите,

я укажу вам теперь средство против скуки?..

— Хочу! Скажите!

Он наклонился ко мне и прошептал:

— То же самое... Если выбудете смотреть туда, «dahin» и думать, что там ваше дело, настоящее дело, то скучать вы не будете! Потому что вы будете любить то, что достойно истинной, глубокой любви.

Я широко раскрыла глаза и пристально посмотрела на него, а он наклонился к самому уху и еще тише прошептал:

— «Всею душой, всем сердцем, всею мыслию!» Понимаете?

Я задумалась.

— Но как же, Поль, скажите, я могу любить то, чего не знаю?..

— Полноте, дитя мое, это софизм и очень бесстыдный софизм! Спросите у вашего сердца, знает ли оно, что такое добро и что такое зло? Оно наверно вам скажет: да! И этого мало — в каждом конкретном случае оно укажет вам, куда и как идти в добрую сторону... Вы ведь любите музыку, стихи... все прекрасное... доброе... великое. Посмотрите на небо! Неужели вас не тянет в этот безграничный

простор?., на эту полную свободу, которая теперь связана нашей узкой здешней жизнью?... Куда же вас влечет? К тому, что вы должны любить всем сердцем...

— Знаете ли, Поль! Мне кажется, нельзя любить по заказу. Нельзя приказать сердцу, что оно должно это любить, а это не любить... Это неестественно...

— Опять софизм, дитя мое... Поверьте, что ваше сердце свободно... совершенно свободно... любите, что хотите... Выбирайте сами и знайте, что эта широкая свобода и есть высший дар, который дан нашей душе — это свобода духа... Вам только указано куда идти, а идти вы можете куда влечет ваше злое или доброе сердце...

Я опять задумалась.

### III

Наступила Пасха. Мы по обыкновению, вместе, в общем шарабане, вчетвером, ездили к Христовой заутрени. В этот год я как-то особенно усердно и восторженно молилась. Какая-то тихая радость чувствовалась в сердце, и на глазах невольно, сами собой, выступали слезы.

Мы похристосовались в церкви. Он подарил мне маленькое серебряное яичко с голубком, несущим масличную ветвь.

— Пусть этот голубь, — сказал он, — будет вестником мира...

— Для кого? — спросила я.

— Для вашей души, для вашего сердца.

Он почти целый день провел у нас. Пасха была поздняя и деревья начинали уже распускаться, а по всем лужайкам зеленела первая травка. Мы ходили с ним по саду, на верхней террасе, так как в нижнем саду нельзя еще было ходить, там было сыро.

— Послушайте, — сказала я, — мне сегодня удивительно хорошо, радостно, и я чувствую, что я люблю все доброе... но ведь этого мало... чтобы истинно любить, надо и делать доброе... Любовь точно так же, как и вера без добрых дел «мертва есть».

— Что же? разве вы не делаете добрых дел?.. Вы помогаете вашим бедным крестьянам... вы лечите их, заботитесь о них.

Я покачала головой.

— Этого мало! — сказала я. — Слишком мало... знаете ли, меня часто тяготит мысль, что

это наши крестьяне... Как-будто они не могут быть вольными? делать что хотят, быть вполне свободными?

Я никогда не забуду, как при этих словах сильно заблестели его глаза. Он взял мою руку и крепко пожал ее.

— Это верно! Совершенно верно, мой друг, — сказал он шопотом. — Но об этом еще не говорят...

— Почему же? — спросила я живо.

Он пожал плечами.

— Потому что такова сила вещей... Послушайте! — сказал он и несколько секунд молча смотрел на меня, — я также хлопочу, чтобы они были свободны. Но это я вам только говорю, и вы никому, никому не выдадите этой тайны, потому что эта тайна не моя, а многих очень хороших людей... Вы даете мне слово в том, что сохраните это в секрете... Не правда ли?

— Да! — сказала я, и тут только вспомнила, и удивилась, зачем он так часто и внезапно уезжал, и почему к нему приезжал, по ночам, таинственный какой-то господина, которого он называл своим товарищем.

— Ах! — сказала я. — Как бы я желала работать над этим делом вместе с вами... Да! Это действительно доброе дело.

— Это после... после... друг мой!

— Опять после... да когда же!.. Боже мой!..

Пришел май — ясный и теплый. Весь сад и вся роща зазеленели. Мы постоянно ходили с ним, или по целым вечерам сидели на «зеленой горке», в тени развесистых лип, на маленькой скамейке, и любовались на ясный закат или на светлый месяц, который отражался внизу, в гладком зеркале пруда, обросшего ветлами и осокорями.

Один раз, — это было 14-го мая, — он пришел к нам довольно поздно и тотчас же предложил мне идти в сад. Он был как-то особенно озабочен, но вместе с тем радостно и торжественно улыбался.

Мы сели на нашей любимой скамеечке. Он не выпускал моей руки из своих рук. Вечер был необыкновенно тих и тепел. Все в природе точно спало в какой-то дремлющей неге.

— Поль! спросила я, — отчего вы сегодня как-будто расстроены? Он не вдруг ответил, а как-то сосредоточенно посмотрел на меня и

опять улыбнулся.

— Оттого, мой милый друг, что я сегодня еще раз убедился в правде того, что всем давно уже известно— убедился в том, что проповедовать гораздо легче, чем исполнять. Вас я учил быть спокойной в неудачах... А сам, видите, какой...

— Что же с вами случилось, Поль? Какое несчастье?.. Ради Бога скажите! Доверьтесь мне...

— Все наше дело, — прошептал он, — пожалуй, окажется несбыточной мечтой...

— Как!.. — вскричала я.

— Так! И я теперь стараюсь успокоиться на том, что рано или поздно мы все-таки восторжествуем... Да еще у меня есть одно, что меня поддерживает в моих трудах и в моем горе...

И он пристально с любовью и с той же загадочной улыбкой посмотрел на меня. И мне вдруг показалось, что он говорит это обо мне. Сердце усиленно и радостно забилося.

— Что же вас поддерживает, Поль? — прошептала я.

Он не вдруг и не прямо ответил мне.

— Помните, Mari... как вы девочкой, назад

тому десять лет, прибежали ко мне ночью... когда у меня было тяжелое горе...

— Еще бы не помнить... Очень хорошо помню...

— И с этого вечера я дал себе слово быть неизменным другом и хранителем этой девочки... Это было ровно десять лет тому назад, 14 мая. Я сказал себе: может быть, сердце этого друга не будет принадлежать мне... оно выберет другого, но мое сердце будет принадлежать тому детскому порыву, с которым её маленькое сердце отнеслось к моему горю.

— Какой же вы скрытный, Поль! — вскричала я, краснея от радости и не веря своим ушам.

— Я следил за вами, я руководил вами... Мне страшно было потерять вас... Я теперь могу в этом признаться, но я шел по моей дороге неуклонно... Я уговорил вашу тетю... увезти вас на зиму в Москву. Я не скажу, чтобы это мне было легко... Но я сказал себе: не надо иллюзий! Если она увлечется... значит она может легко подпадать увлечениям и на нее нельзя положиться...

— Поль! — перебила я его. — Ведь я поборо-

да это увлечение!.. Я с детства твоя!.. И никто, никто кроме тебя не будет мне мил. Я это знаю, чувствую... И даю тебе слово, клянусь тебе, что никому, кроме тебя, я не буду принадлежать!

Он обнял и крепко поцеловал меня. У меня закружилась голова.

— Пойдем же теперь к тете, — сказал он дрожащим голосом, — и попросим, чтобы она нас благословила... Она уже давно дала мне согласие на то, чтобы я считал тебя своей невестой... Будь же официально и торжественно моей невестой.

— Как! — вскричала я. — И она мне ничего не сказала до сих пор?

— Она не сказала потому, что я этого не желал...

— Но ведь теперь... Ты во мне нисколько, милый, не сомневаешься? Ни чуточки?!.. Поль! Милый мой!

Он пристально, ласково смотрел на меня и с улыбкой кивнул головой.

И мы пошли к тете. Она так горячо со слезами обнимала и целовала нас и так усердно благословляла.

Целую ночь я не могла спокойно уснуть. Я постоянно просыпалась, вздрагивала и сердце билось с такой сильной радостью. «Он мой! Он мой!» — шептала я, и заливалась сладкими слезами, благодарила Бога и почти не верила ни своей радости, ни своему счастью. Мне казалось, что с этих пор все переменялось... Все смотрело радостно и все было полно какого-то особенного значения. Я вдруг поднялась до Поля, а до этих пор я смотрела на него снизу-вверх, как на своего учителя, ментора. Теперь я могу смотреть ему в глаза как равноправный друг...

## IV

Свадьба наша должна была совершиться в августе. Так желал Поль, ссылаясь на то, что до этого времени не успеют переделать его домик, или, как он называл, «наше гнездо», которое он хотел отделать все заново с английским комфортом.

Лето несло и уносилось незаметно, как ясный день, на крыльях нашей полной, глубокой любви; подходил уже конец июля. Но тут неожиданно случилось то, чего никто из нас не предвидел и что надолго отодвинуло же-

ланный день нашего соединения.

Во время моего детства со мной бывали легкие припадки лунатизма. Я обыкновенно не могла заснуть в лунные ночи, а если засыпала, то иногда выходила во сне в наш сад или рощу, тихо, как тень, и никто из домашних не мог за мной уследить. Совершенно непонятным образом, я отпирала запертые двери. Эти припадки продолжались до тринадцати лет. Затем появлялись реже и реже, и все думали, что они меня совсем оставили, как вдруг, во время последнего лета, раза два я опять выходила и один раз меня нашли уже утром спящую у решетки сада Поля на траве. Разумеется, всех это сильно перепугало и больше всего моего доброго Поля. Я опять должна была, по совету врачей, обратиться к холодным душам, которые, кажется, мне несколько не помогали.

В это самое время к нам в соседство приехал один помещик, князь Наянзи, который более десяти лет не был в своем поместье. Это поместье, большое село Карташи, было от нас в 12 верстах. Что привело его неожиданно в это село— не знаю, но об этом селе и его вла-

дельцах у нас в околотке ходило много очень странных слухов. Владельцы эти были из грузин и, если не ошибаюсь владели этим поместьем еще со времен Иоанна Грозного, который пожаловал Карташи их предкам, принявшим подданство России. В то время остался в живых только один прямой наследник этого рода, князь Алим Тариелыч Наянзи, и он-то приехал теперь в свое поместье. Откуда и зачем он приехал, никто не знал, но рассказней было много, в особенности от одной помещицы, которая, кажется затем и существовала, чтобы разъезжать по всем соседям, ближним и дальним, и развозить всякия новости, были и небылицы. Она говорила, что князь совсем молодой, красивый, и возвратился откуда-то с востока, из Бухары или Индии, что у него камердинером какой-то индеец — высокий, с громадной седой бородой, ниже пояса, а казачек его совершенно черный негритёнок, что дом у него громадный дворец, в котором бьют фонтаны и играет невидимая музыка. Одним словом, она наговорила столько сказочных чудес, что невольно задела даже внимание нашей семьи, которая вообще мало интересо-

валась чужой жизнью. Впрочем, во всех этих рассказах была известная доля правды. Князь действительно возвратился с востока, кажется из Персии, а громадный дом его я сама видела, когда мне было только десять лет. Помню, туда нас возил один помещик, теперь уже покойный, который был хорошо знаком с управляющим именем князя. Действительно, дом был похож на дворец, но он поражал своим безобразием и безалаберностью. Собственно говоря, это было три низеньких дома, одноэтажных, построенных «покоем». И из этой низенькой, приземистой постройки выдавались некоторые комнаты, а также высокая, круглая башня и два совершенно отдельно стоящих минарета. Кругом дома был громадный сад, или парк, который был постоянно в забросе.

Помню — в доме везде было сыро. Комнаты, с небольшими окнами, смотрели тускло и какой-то ароматный, крепкий запах слышался везде. Помню множество диванов, устланных богатыми коврами. Еще помню кунсткамеру, или музей, как называл его управляющий. Он помещался наверху, в двух низень-

ких залах.

Меня в особенности поразила в этом музее мертвая, отрубленная голова, высохшая и почерневшая, которая хранилась под стеклянным колпаком и затем множество безобразных истуканчиков. В особенности один из них врезался у меня в памяти, уродливый, с огромным животом и большим, широко открытым ртом, из которого выдавались громадные клыки. Глаза идола, из какого-то восточного камня, блестели тусклым зеленоватым блеском. Весь этот истуканчик, стоявший на возвышении, был убран засушенными ящерицами и змеями, которые весьма искусно, и даже изящно, были сплетены в какую-то чудовищную монограмму.

Прошло несколько дней и приезд князя начал уже входить в колею обыденных, привычных вещей, как вдруг, в одно утро он подкатил, в блестящем английском кабриолете, к подъезду нашего дома. Маленький черный грум ловко соскочил с его сидения и подал человеку визитную карточку князя. Помню, тетя быстро посоветовалась с мисс Берд и решила принять князя, так как он был дружен с

МОИМ ОТЦОМ.

По этим словам, я ожидала встретить уже пожилого джентльмена, и с чувством легкого смущения стала ожидать его появления в нашем салоне.

Наш старый Кузьма приподнял портьеру и тихо доложил:

— Князь Наянзи.

И он явился на пороге и низко склонил голову. Он казался еще совсем молодым человеком, — невысокий, но стройный, с необыкновенно бледным, матовым лицом, которое делало резкий контраст с его черными вьющимися волосами и большими усами.

Помню, мое первое чувство было — сильное любопытство. Но когда я взглянула на это красивое лицо, то какой-то невольный и безотчетный страх на мгновенье сжал мое сердце.

Прижимая шапокляк к груди, князь быстро подошел к тете и сказал очень правильно и красиво по-французски:

— Madame, я решился представиться вам, как родственнице моего доброго покойного друга, вашего брата.

Тетя представила его мне и мисс Берд. При этом я в первый раз взглянула прямо ему в глаза, большие, черные, обведенные длинными ресницами и смотревшие строго из-под густых, сдвинутых бровей. Мне показалось при этом, что в его взгляде, там, где-то, в глубине, блестит такой же тусклый огонек, как в глазах того маленького безобразного идола, которого я видела в его доме.

Он уселся и начал вспоминать, и хвалить моего отца.

— Как же, князь, когда умер мой брат, вам ведь было не более 12-ти лет? — сказала тетя.

— О нет, madam, мне было гораздо, гораздо более. Я гораздо старше вашего брата.

Тетя удивилась и пристально посмотрела на него. Я тоже мельком взглянула на него, на его профиль. Он был удивительно красив, правилен и изящен.

Он рассказал о своих далеких путешествиях. Он кажется объездил весь свет.

— Я полагаю, — сказала тетя, — что они надоедают, эти далёкие путешествия. — Если имеешь свой тихий угол, семейный очаг, то невольно человека тянет к нему. Покой ка-

жется для него милей и дороже всего на свете.

— О, нет! — вскричал князь. — Я совершенно противоположного мнения. Моя натура не любит покоя... Да и каждый нормальный человек живет сменой впечатлений. Одно и тоже надоедает до утомления. Будь хоть хуже, да что-нибудь новое. — Если бы в человечестве не было этого инстинкта новизны и смены, то поверьте, что не было бы ничего: ни литературы, ни газет. — и все люди давно умерли бы со скуки, как мухи.

— О! — сказала мисс Берд, по-английски, — есть много очень старых вещей, которые вечно молоды и никогда не надоедают человеку. Они вечны и неизменны как истина.

Он обратился к ней и сказал на правильном английском языке.

— I beg pardon, miss! — Извините меня, но я не могу согласиться с этим. Истина так же меняется, с веками с развитием народа и с взглядом каждого человека. Если бы этого не было, то у всех было бы одно убеждение и одна религия.

При этих словах я не выдержала и вмешалась.

лась в разговор.

— Как! — вскричала я: — вы полагаете, что есть другая истинная религия, кроме христианской?..

— Есть много людей, miss, — сказал он, обращаясь ко мне, — которые считают эту религию — заблуждением, а самое учение непрактичной утопией. И сказав это, он, прямо и пристально, посмотрел на меня. И я снова увидела в глубине его глаз какую-то тусклую, зеленоватую искру. — И вдруг с ужасом почувствовала, что я не могу отвести от него моих глаз и что голова моя кружится и сердце замирает точно так же, как оно замирало, когда я долго смотрела на небо.

Портьера в это время приподнялась, и тихо вошел мой Поль. Тетя познакомила его с князем и представила, как моего жениха. Он молча поклонился и пожал ему руку.

Туман слетел с меня, как только я увидела Поля. Я быстро подошла к нему, взяла его за руку и увела в сад.

— Поль! — сказала я. — Мне страшно! У этого человека такие глаза, каких я еще не видала в моей жизни... Когда он стал гово-

ритель и посмотрел на меня, то мне сделалось ужасно тяжело, и голова закружилась.

— Что же удивительного, мой милый друг. — человек незнакомый, приехал неожиданно, ты слышала о немного странного, взволновалась, как всегда, и сейчас вообразила, что у него дурной глаз...

— Нет! Нет! Поль... Я не ошибаюсь, я чувствую, что в этом человеке есть что-то особенное, неприятное... Все время, пока сидел у нас князь, я чувствовала, что мое сердце как будто связано и что тут подле... есть что-то тяжелое, что его связывает.

И только тогда я вздохнула свободно, когда князь распрощался и уехал.

Когда он крепко жал мою руку, я делала необычайное усилие, чтобы не взглянуть в его глаза: я их боялась, как огня.

## V

— Поль! скажи мне, спросила я его, когда князь с негритёнком исчез на повороте липовой аллеи. — Скажи мне, правда ли, что есть люди, которые считают Христа не Богом, а просто непрактичным утопистом.

— Есть разные взгляды, — сказал он задум-

чиво и тихо поцеловал мою руку, — а я вот что посоветую тебе, как другу моему: верь в то, что любовь все соединяет, и верь в Христа, как в идеал этого единения, как в Бога, соединяющего любовью все воедино. Это истина, и все то истина, что заключает в себе какой-нибудь общий нравственный, истинно человеческий принцип... Спроси свое сердце, и оно тебе скажет, что это истина... А главное — всегда слушайся твоего сердца. Оно чисто как зеркало, и пусть яд неверия никогда не затуманит его.

Мало-помалу я успокоилась, а на другой день все вчерашнее волнение исчезло. Вечером полная луна встала прямо против моего окна. Комната моя, довольно большая, была наверху, и широкое венецианское окно выходило прямо в сад. Я только что рассталась с Полем, и в ушах моих еще звучал его голос. Я долго и горячо, со слезами, молилась Богу, чтобы Он дал нам тихое, невозмутимое счастье. Я надела легкий пеньюар и села у раскрытого окна. Ночь была душная. Луна, светлая, блестящая, стояла высоко в небе. Я смотрела на её пятна, на эту светлую ландкарту и

вспомнила, что когда-то в детстве я слыхала, что если задумать о ком-нибудь и посмотреть прямо на луну, то и этот человек вспомнит о вас и также взглянет на луну. Я хотела подумать о Поле, но вдруг, совершенно невольно, вспомнила князя. Точно кто-то толкнул меня в сердце и с тяжелым чувством, когда оно сжималось и замирало, я пристально уставилась на луну. Я ясно видела, что все её пятна сливались, складывались в черты князя... Ясно вырезались его черные волнистые кудри, его несколько крупный и тонкий нос, его усы и страшные глаза его, которые смотрели на меня прямо, не мигая, и я не могла отвести моего взгляда от этих тяжелых, не мигающих глаз. В комнате все заволжлось легким туманом, сердце замерло... Но вдруг в соседней комнате раздался какой-то резкий стук. Я вся вздрогнула и очнулась...

Я встала вся дрожа и, читая молитву, хотела закрыть окно и опустить штору, но, взглянув вниз на аллею, которая была прямо против моего окна, я вдруг с ужасом увидела посередине её какую-то черную фигуру. Сердце сжалось с мучительной болью и какой-то

внутренний, тихий голос как будто шепнул мне: не смотри!

Но это было выше моих сил. Я подумала, что я только мельком, на одно мгновение взгляну и потом отвернусь, и позову девушку; я спрошу ее, кто это там стоит у нас в саду? И я взглянула.

Это был «он» — князь. Глаза его светились в темноте каким-то фосфорическим светом и мгновенно овладели мною. Я хотела закричать, очнуться и не могла — я только тихо простонала. И помню, что на одно мгновение у меня мелькнула смутная, успокаивающая надежда. «Что же, думала я, он там — внизу: он не может подняться в мою комнату». И только что я это успела подумать, как вдруг он тихо, тихо, плавно отделился от земли и в то же мгновение я сама очутилась в саду, на воздухе... Все кругом меня закружилось, заволкло туманом и среди этого тумана я видела только его.

Тихо, незаметно я подплыла к нему, а он взял меня за руку. Какая-то электрическая дрожь пробежала по руке, по всему телу, дошла до сердца и вдруг, к ужасу моему, я по-

чувствовала к нему могучую, неодолимую симпатию. Я почувствовала, как что-то сильное, страстное тянет, влечет, как магнит, меня к нему и что я люблю его больше Поля, больше тети, сильнее чем Бога и больше всего на свете.

Только одного я боялась: чтобы он не отвернулся от меня, одного желала, чтобы глаза его были вечно прикованы к моим глазам, к моему сердцу. Какая-то музыка, дрожь неги, лилась из этих глаз прямо в мое сердце...

Он обнял меня, нагнулся ко мне и впился своими горячими губами в мои похолодевшие губы. Я опять почувствовала, как все содрогнулось во мне и невыразимая нега, истома, что-то сладостное и жгучее полилось по всем моим нервам, по всей моей крови... Я смутно чувствовала, как сознание оставляет меня... как все покрывается густым туманом... Мне казалось, что я умираю и вдруг что-то холодное, как ледяные иглы, закололо мне сердце... Я неистово, дико вскрикнула и... очнулась...

Я лежала в моей комнате на полу, перед растворенным окном. Тонкий рассвет разли-

вался по небу, и розовая заря покрывала его. Побледневший месяц тускло смотрел мне прямо в глаза и тихий утренний ветерок слегка шевелил шторой.

Я поднялась с страшной головной болью, шатаясь подошла к постели и упала в нее, не раздеваясь. В ушах был шум. Меня качало, точно на лодке; стены кружились, пол волновался под моими ногами. Не помню, как я уснула, и как долго спала, но солнце было уже высоко, когда я проснулась с какой-то тупой, ноющей болью в сердце и с тяжестью в голове.

Все, что занимало меня так сильно, теперь вдруг как будто отодвинулось и заволокло туманом. Праздничный, радостный день исчез и настали будни и ненастье. Почти целый день я лежала. Напрасно тетья и Поль приставали ко мне и предлагали чем-нибудь развлечься, куда-нибудь прокатиться. Я не сказала им, — ни Полю, ни тете — о моем странном сне. Несколько раз мне хотелось им все рассказать, но чувство неловкости, стыда и чего-то связывающего постоянно останавливало меня. Притом, при воспоминании об этом

сне моему сердцу становилось так легко. Оно как-то сладостно сжималось и меня тянуло снова увидеть во сне князя и улететь вместе с ним.

В сумерки невольный страх напал на меня. Поль куда-то ушел. Тетя засела с мисс Берд в гостиной. Я бродила по всем комнатам, несколько раз поднималась к себе наверх, но полный месяц уже всходил и сердце мое замирало от страха. И вместе с этим страхом какое-то сладкое, страстное чувство заставило его биться сильно и порывисто.

Дверь тихо скрипнула. Я вздрогнула и обернулась. Вошла няня, подошла ко мне и села подле меня.

— Что ты, моя бедняжечка, все бродишь сегодня такая невеселая? — сказала она и обняла меня. — Видишь, какой красный всходит месяц. Сегодня полнолуние. — Она несколько минут помолчала и прибавила шепотом: — хочешь я подле тебя лягу? Тебе не так страшно будет спать.

Но при этом предложении сердце во мне как-то точно упало, как будто вдруг явилось препятствие на запретном пути к сладкому

плоду.

— Нет! Нет! — сказала я. — Я ничего не боюсь; сейчас же разденусь и лягу спать.

И я простилась с ней, зевнула и стала раздеваться. Сон начал клонить меня. Я накинула мой пеньюар, свалилась на постель и почти мгновенно заснула. Не знаю, долго ли я спала, но вдруг точно кто-нибудь меня тихо толкнул в сердце. Я быстро обернулась и приподнялась. Вся комната была ярко освещена месяцем. И вся она была, казалось, проникнута светящимся фосфорическим туманом.

Передо мной стоял он — князь, закутанный каким-то темным плащом, или туманом — не знаю. И сердце во мне забилося, забилося так сильно.

Я потянулась к нему... Но он незаметно отодвинулся от меня, поднялся, встал на окно и тихо поманил меня. На один миг что-то зашевелилось в сердце... Поль, тетя, мисс Берд... моя добрая няня... все как молния промелькнуло в моем представлении. На одно мгновение он показался мне каким-то страшным темным великаном... и в сердце так ясно раздался кроткий, любящий голос Поля...

«Остановись!..» Но нега, истома были так сладки, так неодолимы... Я быстро, с распротертыми руками поднялась с постели и не знаю, как очутилась подле него.

Мы вместе с ним тихо вылетели в сад.

Он взял меня за руку и опять то же содроганье, то же мучительно-сладкое чувство пробежало по всем моим нервам.

— Радостный! — сказала я шепотом. — Ты любишь меня? Скажи мне, что ты любишь меня!

Он отрицательно повертел головой и сказал каким-то глухим неслышным шепотом, но его голос так громко раздался в моем сердце:

— Любви нет! — говорил он. — Есть одно наслажденье!

И мы быстро понеслись, полетели. Воздух теплый, ароматный так ласково встречал нас. Он играл моими распущенными волосами.

Под нами, там, где-то, в недосыгаемой глубине, освещенной ярким месячным сияньем — проносились облака... блестело море, чернели леса, роци, города, деревни.

Он охватил меня рукой, и мне так хорошо

было нестись, лететь подле него.

## VI

Мы летели долго и, наконец, начали опускаться. Один город, большой город, начал развертываться перед нами широкой панорамой. В нем было много башен, колоколен, дворцов, монументов и небольшая речка текла посередине его — речка, через которую были перекинuty каменные мосты. На одном мосту стояла большая конная статуя. Над всем городом сиял какой-то чудный красноватый свет. Мы спускались все ниже и ниже... Я уже увидела большой сад... и в этом саду было много людей. Музыка бешено играла и все они так весело танцевали.

Меня вдруг неодолимо потянуло туда, к этому безумному веселью. И мы тотчас же очутились посреди этого бала, в саду.

Множество газовых рожков горело в стеклянных тюльпанах. На возвышении, в небольшой беседке, был оркестр и веселая, живая музыка лилась непрерывным каскадом.

Она, казалось, зажигала неудержимое веселье. Хотелось беситься, прыгать и хохотать,

потешаться над всем, что прежде казалось таким серьезным, таким дорогим, милым и святым.

Множество красивых и нарядных женщин плясали вместе с ловкими кавалерами. Они делали уморительные па, они вскидывали высоко красивые ноги, так что все их платья разлетались. Они прыгали на одном месте... приседали... или уморительно, порывисто, бочком налетали на кавалеров. И мне неудержимо захотелось также плясать и беситься... И не знаю, как, когда все закричали: «rond! grand rond» — я уже была тут, среди них и, схвативши руку князя и другого кавалера, вертелась в неистовом вихре.

Помню, мне было весело и только одного хотелось — чтобы все это вертелось, прыгало, бесилось, хохотало... сильнее, скорее, быстрее.

Вдруг в одном павильоне раздался неистовый шум и крик, и все бросились туда, и я прежде всех... Я толкала всех и пробиралась вперед. Случилась какая-то пьяная драка. Одному бутылкой разбили голову и его вели под руки, всего в крови, двое жандармов. И пом-

ню— вид потоков этой блестящей алой крови произвел на меня странное впечатление. Мне хотелось услышать её запах... Мне хотелось больше, как можно больше крови, огня, дыму... Мне хотелось бить, убивать, зажигать, захотелось грома, выстрелов, разрушения... Но все покрылось в моих глазах точно черным покрывалом и не знаю, как, мы уже летели высоко, высоко над всея этой толпой... я летела рядом с моим темным спутником...

Вместе с нами и кругом нас летели черные тучи, вспыхивали яркие молнии и удары грома раздавались как оглушительные выстрелы; но я их не боялась. Помню, мне нравилась игра молния. Они с легким треском, как змейки, обвивались прихотливыми зигзагами одна около другой, и чудные, яркий фиолетовый свет окружал их...

Мы летели долго, кругом нас редела постоянно буря, казалось, страшные порывистые ветер нес нас. И куда?.. я не знала, я только чувствовала, что там меня встретит действительное радостное высокое наслаждение... там был праздник.

Наконец, вдали показался какой-то туск-

лый, красноватый свет, который становился шире и ярче при нашем приближении... Я начала уже различать землю сквозь черную дымку туч, в просветах которых открывался яркий лунный свет. Мне казалось, что тогда был день, но только не белый. Свет его был какой-то особенный... красноватый, приятный, раздражающий и радостный свет... Ближе, ближе! и я уже издали услышала веселые крики и шум и какое-то бешеное, громкое шаривари и пение, от которого задрожали так весело все мои нервы... и мы влетели в тучи дыма... Громадная площадь развернулась перед нами, и на ней горели все огни, огни — без конца... И на самом горизонте эти огни то-нули в тумане. Это были маленькие костры и в дыму их быстро мелькали, кружились пары... Это были удивительно красивые женщины и какие-то бронзового цвета мужчины... Костюм этих женщин был легок и прозрачен, но от этого они казались еще красивее... Мы оба бешено ринулись в безумную пляску и начали кружиться быстрее вихря, под пение какой-то странной песни с аккомпанементом бешеных криков, которые раздавались как

раз в те мгновения, когда общее веселье, казалось, начинало колебаться и падать...

Мне было страшно весело и приятно... Какая-то нега разливалась по всему телу и щеконала мне сердце... Передо мною прыгали, скакали и кувыркались лягушки, уморительные мопсы... бараньи и козлиные головы качались во все стороны на длинных шестах... Свиньи хрюкали так мелодично, летучие мыши, совы носились повсюду. Я никогда не видала ничего причудливее и страннее этого удивительного маскарада.

Когда веселье достигло, казалось, высшей точки, вдруг раздался страшный удар грома и все засуетились. Я услышала со всех сторон неистовые крики, и все протягивали ко мне руки и кричали:

— Ведите! Ведите!.. Пора!.. Пора!.. Пора!.. И меня повели целой гурьбой с криком, шумом и гамом. Повели куда-то на гору... Казалось мне в тьму, но эта тьма расступалась... освещалась золотым блеском... Я увидела, что мы идем по целым грудам червонцев. И от них идет яркий золотой свет, который звенит такой чудной музыкой. Мы поднялись на самую

вершину, на которой лежали грозный тучи и из них сверкали ослепительные молнии... Тучи рассеялись, и я увидела того самого идола, которого я видела еще маленькой в музее князя. Но только этот идол был громадный — великан: и также вокруг него заплетались змеи и ящеры... Он странно ворочал громадными глазами, от которых во все стороны летели целые потоки яркого зеленоватого света... Но это был особенный раздражающий свет... Перед идолом был жертвенник из мертвых, свежеотрубленных окровавленных голов, из которых текла кровь струйками по земле, и эту кровь с жадностью лизали все мопсы и летучие мыши, свиньи и козлы и даже те ящерицы и змеи, которые окружали идола. Он сидел гордо, выставив вперед свой огромный живот и растопырив длинные пальцы, с кривыми когтями. На жертвеннике перед ним горело тусклое, небольшое синеватое пламя. Меня подвели к этому самому жертвеннику.

Я оглянулась. С левой руки у меня стоял князь, и странно! его лицо теперь показалось мне так сходно с лицом идола... Но все-таки

это лицо не казалось мне отталкивающим. Напротив, я видела в нем какие-то милые, удивительно симпатичные черты. И вдруг опять в моем сердце ясно отчетливо раздалось его слова, гордые и повелительные:

— Поклонись силе наслаждения, — говорил мне его голос, — и принеси жертву князю мира сего, повелителю людей!

И он указал мне на мою грудь. — На этой груди висел крестик, который был надет мне при крещении. Он ничего больше не прибавил — Но я ясно почувствовала, что мне надо снять этот крестик и бросить в синеватое пламя.

Сердце во мне похолодело и... содрогнулось. Я невольно отвернулась. Ужас сдавил мне дыхание. Мне хотелось бежать, но все окружавшие меня чудовища вдруг захохотали и уставили на меня костлявые, длинные пальцы. Они смеялись с таким пренебрежением, с такой ненавистью и злобой ко мне... И князь, казалось мне, смотрит на меня с таким презрением. Его голос снова раздался в моем сердце:

— Принеси добровольно жертву, говорил он.

Я пристально смотрела на него. Из его глаз лился прямо в сердце мне такой повелительный, зовущий свет, что сердце моё, душа моя, все существо моё, в страстной неодолимой неге потянулось к нему. На миг, смутно, в моем воспоминании промелькнули опять Поль, моя тетья, мисс Берд, моя няня, все мои домашние. Они сверкнули как белый свет, как светлая молния в моем сердце. Какой-то внутренний голос, голос Поля, сказал мне явственно:

— Остановись, не бросай! Слушайся своего сердца!

Но рука как-то невольно протянулась к кресту, я сорвала его с шеи и кинула в огонь.

Крик, шум, оглушительные рукоплесканья загремели кругом, пламя на жертвеннике взвилось высоко и пахло прямо в широко-раскрытый рот чудовища... Я вскрикнула и очнулась.

## VII

Заря алела на востоке... Ясное солнце встало. Я лежала над широкой рекой на голой, песчаной горе. Предо мной, внизу, на холмах

был разбросан красивый большой город, весь утонувший в зелени. В нем было много церквей и солнце блестело яркими звездочками на их крестах. С их колоколен раздавался призывный протяжный звон и каждый удар колокола отдавался в сердце моем мучительной болью.

Я металась и стонала.

Какой-то светлый белый туман, или облако тихо спустилось ко мне. Я с ужасом почувствовала, как это светлое облако обхватывает меня, я различала в нем какую-то фигуру в белом, серебристом одеянии. Святая митра блестела на её голове, светлый ореол окружал эту голову.

Но в то же самое мгновение порыв вихря окутал всю меня черной тучей и в моем сердце только промелькнули какие-то непонятные, страшные слова... И я поднялась на воздух. Что-то темное помчало меня с невероятной быстротой. Голова закружилась, и я на мгновение потеряла сознание...

Когда я очнулась, я увидела себя в моей комнате. Я стояла на воздухе, а предо мной внизу на кровати лежала другая я... В таком

же точно белом кружевном пеньюаре... У неё глаза были закрыты и, наклоняясь над ней, плакала и рыдала моя тетья. Плакала тут же на стуле мисс Берд и Поль стоял у печки, с таким бледным, исхудалым лицом. И были еще какие-то люди... Но я не могла узнать, различить кто это. Меня вдруг неудержимо потянуло к этой другой— белой и бледной, которая лежала передо мной, я бросилась и слилась с нею. Глаза мои мгновенно открылись, и я дико посмотрела на всех; тетья радостно вскрикнула.

— Очнулась! — проговорила она сквозь слезы. И мисс Берд, и Поль — все бросились ко мне... Тетья целовала мои руки, глаза...

— Погодите, — говорил Карл Иванович, наш домашний доктор, — не тревожьте ее теперь! Покой ей, безусловный покой весьма необходим.

И все отошли, и я осталась одна. Я усиленно старалась сообразить, припомнить, что со мной было. Но я помнила только одно: красивый город над рекой и желтую песчаную гору.

— Это верно было во сне, — сообразила я и

спросила тетю, что было со мной.

— Ты со вчерашней ночи лежишь без движения и без дыхания... Мы все измучились... — И она опять заплакала, а я из всех сил моей души старалась припомнить, что со мной было и... не могла. Временами, как будто, что-то всплывало, прояснялось в моей памяти, но тотчас же все заволакивалось туманом, и я закрывала глаза в полном бессилии. Мне кажется, нет ничего тяжелее, неприятнее, как сознавать полную невозможность вспомнить то, что за минуту, за две так сильно волновало всю душу...

Все, что я теперь рассказала, все это я припомнила потом, в одну минуту ужасного прояснения. Это случилось скоро, через несколько недель. А теперь я только чувствовала, что стала как бы совсем другая. Подошел ко мне Поль. Я посмотрела на него и отвернулась. Его лицо показалось мне неприятным, отталкивающим.

— Мэри, — сказал он, — дорогая моя! Что с тобой! — Я ничего не ответила.

— Уйдемте все!.. — сказала шопотом тетья. — Может быть, она уснет и ей лучше бу-

дет.

— Нет! — вскричала я и быстро встала с постели. — Нет, я не буду спать... Тетя, пошлите мне Дуню. Я оденусь...

И все вышли. Я надела яркое платье, сольферино, с короткими рукавами и открытым лифом. Надела брильянтовые серьги и collier. В зеркале я увидела свое исхудалое лицо, потрескавшиеся губы. Внутри у меня был жар, два ярких пятна выступили на щеках и глаза мои горели. Я распустила свои черные косы.

Тетя вошла ко мне и ахнула.

— Зачем же это ты так наряжаешься? Точно на бал, — удивилась она.

— Он приедет, тетя... как же мне не наряжаться?

— Кто приедет?

— Да он... — и я притопнула ногой. — Разве вы не знаете, кого я люблю... князь Наянзи...

Она ничего не ответила. Она широко раскрыла глаза и тихо вышла вон. За дверьми я услышала восклицания, громкий шопот и тихие всхлипывания. Я быстро двинулась к двери и распахнула ее.

— Подите вы все вон! — вскричала я. — Вы мне ужасно надоели! Вон! Вон!.. — И я сильно затопала ногами.

Все бросились вниз, торопясь сойти по лестнице. Через час и я сошла вниз. На лестнице я встретила Поля и Карла Ивановича. Они отстранились от меня.

— Вы видите! — прошептал Поль Карлу Ивановичу.

Я вошла прямо в гостиную и подошла к окну. Сквозь это окно была видна аллея, по которой должен был, казалось мне, приехать князь. И действительно, в час показался его экипаж. Он ехал в том же кабриолете и тот же негритенок сопровождал его, в виде грума. Кабриолет подъехал к подъезду, и я услышала какой-то шум и громкий говор в передней. Мне представилось, что его не пускают ко мне, что ему отказывают.

Я быстро, бегом бросилась в залу, в переднюю и распахнула дверь.

Князь стоял в пальто. Поль говорил ему что-то с жаром.

— Идите! Идите, князь! — закричала я. — Я дома, я здорова и очень рада вас видеть...

Он сбросил пальто, подошел ко мне. Я быстро и крепко схватила его за руку. Я ввела его в залу и в гостиную, где сидели тетя и мисс Берд. Они обе поднялись с своих мест и с недоумением смотрели на нас.

Я прямо глядела ему в глаза. В них не было того блеска, тех зеленоватых искр, которые так пугали меня прежде. И все черты лица его были удивительно милы и симпатичны.

— Вот князь опять приехал к нам, — сказала я. — Не правда-ли, тетя, это мило с его стороны?...

В это время вошли Поль и Карл Иванович.

— Я приехал узнать о вашем здоровье... До меня долетел слух, что вы вдруг опасно занемогли.

Я захохотала каким-то диким смехом, так что мисс Берд невольно вздрогнула.

— Это неправда; тетя, скажи, что это неправда... Я, напротив, чувствую себя удивительно здоровой и так рада видеть вас.

И мы уселись вдвоем на маленьком диванчике и начали тихий разговор. Я смотрела на него так пристально. Я любовалась им и не замечала, как постепенно, тихо, незаметно я

теряю сознание и погружаюсь в глубокий сон. Сперва исчезла комната, в которой мы сидели, затем стали исчезать тетя, Поль, мисс Берд. Но его я еще видела и в особенности его глаза. Наконец, и они исчезли...

Когда я очнулась, был уже вечер. Я лежала переодетая в моей постели. Вошла тетя на ципочках, подошла ко мне. А я смотрела на нее во все глаза.

— Ты опять заснула!.. — сказала она. — Но сон твой такой был тихий... спокойный. Спи!

Вошел Поль. Я протянула ему руку и тотчас же отдернула, как только он мне пожал ее. Мне показалась рука его удивительно холодной и жесткой.

И с этих пор долгое время я жила как во сне. Напрасно и тетя, и мой добрый Поль старались ласками возвратить меня к себе. Я не отвечала на их ласки, и мне удивительно тяжело было отвечать на все их вопросы. Я повиновалась всему, что они мне советовали и указывали, повиновалась как автомат, бессознательно, и весь мой ум был направлен на один мучительный вопрос. Я припоминала и не могла вспомнить, что со мной было, что я

видела в те две страшных ночи, после которых во всем существе моем вдруг произошла такая резкая перемена.

Я забивалась куда-нибудь в темный угол, и по целым часам сидела неподвижно, как истукан, чувствуя, что вся я как будто связана чем-то невидимым, незаметным, но чего нельзя ни развязать, ни распутать, ни разорвать... И все время усиленно наморщив брови, я старалась припомнить, что со мной случилось. Поль, тетя и мисс Берд постоянно отрывали меня от тяжелой мучительной думы, постоянно ухаживали за мной и только раздражали.

Через неделю, или две, не помню, черный грум принес от князя записку. И прежде чем он подал эту записку, я сбежала опрометью вниз, в гостиную и вскричала:

— Едемте, тетя! Непременно едемте! Вероятно, он зовет всех нас... Нехорошо, глупо отказать ему.

В записке князь действительно приглашал всех нас к себе на завтрак, которым он хотел отпраздновать свое возвращение в родовое поместье.

«Я надеюсь, писал он, что это благотворно подействует на вашу больную, которой потрудитесь передать мой глубокий поклон, равно как и почтеннейшему жениху её».

К Полю он послал отдельное приглашение, которое грум передал тут же, так как Поль сидел у нас. Он было возмутился этой бесцеремонностью, но я вдруг рассердилась и начала очень колко выговаривать ему.

— Вы просто ревнуете! — кричала я: — к этому образованному, просвещенному и так много испытавшему человеку... При том, это был друг моего покойного отца.

Я видела, что тетя, подле которой сидел Поль, тихонько толкнула его и прошептала чуть слышно:

— Не раздражайте ее! Я ясно слышала этот совет, так как со времени моей болезни слух мой стал поразительно чуток.

И все решили, что необходимо ехать и ответили князю благодарностью и обещанием что мы непременно будем к назначенному им часу.

## VIII

Помню, что день был ясный, сияющий и

жаркий. Мы вчетвером отправились в коляске. Полю, как я догадывалась, было неприятно ехать, но он очевидно ехал потому, что боялся оставить меня на попечении тетки и мисс Берд. С самого начала моей болезни и до конца он был моей верной, нежной, любящей нянькой.

Всю дорогу мое сердце усиленно билось и постоянно меня тянуло туда. Мне казалось, что мы ужасно тихо едем и я просила погонять лошадей, хотя они давно уже были все в мыле.

Наконец, мы въехали в распахнутый ворота чугунной решетки, и я невольно ахнула. По обеим сторонам аллеи тянулись рабатки, полные самых разнообразных георгин и всевозможных роз. Целая шеренга слуг в каких-то оригинальных восточных костюмах стояла у дома.

Князь встретил нас у входа под широким навесом. Он отворил дверцы с моей стороны, и я прямо выпрыгнула ему на руки. Бережно и почтительно он поставил меня на землю и поздоровался со всеми, рассыпаясь в благодарности.

Только что мы вошли в дом, как заиграла радостная, веселая музыка — казалось, пел какой-то большой согласный хор и мне было удивительно весело.

Князь повел нас показывать сад. Он был громадный и в нем не было той дичи, заброшенности, которая так поразила меня, когда я видела его в первый раз, еще ребенком. Везде били широкия аллеи громадных, тенистых деревьев, цветущие лужайки, клумбы красивых цветущих кустов.

Из сада мы снова вернулись в дом, и князь повел нас по этому дому. В нем была невиданная роскошь. Но все было как-то мрачно, вероятно от слабого освещения из небольших узеньких окон. И везде был тот же крепкий запах, который так порастил меня в детстве, но этот запах теперь мне казался удивительно приятным.

В одной угловой комнате была чугунная витая лестница и эта лестница вела на башню. Увидев ее, мне вдруг захотелось взбежать на нее, и я полетела вверх. Князь быстро пошел за мной. На половине лестницы у меня закружилась голова и я не помню, как вдруг

очутилась наверху. Князь как будто внес меня.

Весь верх был стеклянный и из его окон-балконов далеко открывался вид на все окружающее. Здесь был такой простор, что я, помню, всплеснула руками от восхищения.

— Ах, как здесь хорошо! — вскричала я. — Просторно.

— Хорошо, — сказал он, — потому что чувствуешь свою власть над пространством... и наслаждаешься ею...

— Разве во власти есть наслаждение? — спросила я...

— Самое высшее наслаждение — есть наслаждение властью, а жизнь каждого есть постоянное стремление к наслаждению: это старая, общеизвестная истина...

В это время внизу раздался голос тети.

— Я, кажется не взойду. У меня уже кружится голова. Поль! Дайте пожалуйста мне вашу руку.

Они тихо поднялись наверх и начали восхищаться, так же как я, широкой панорамой.

Но всем нам было тесно на небольшой площадке этого стеклянного фонаря. Меня от-

теснили, и я должна была спуститься на одну ступеньку.

Я взглянула вниз. На половине лестницы была маленькая площадка, выступ — и на нем высокая дверь, завешенная черной драпировкой, на которой были вышиты золотом какие-то слова.

И вдруг меня неудержимо потянуло заглянуть за эту драпировку. Я быстро перескочила перильца, отделявшие меня от площадки, подошла к двери и приподняла занавеску. За ней был полумрак, освещенный слабым, тусклым красноватым огнем. Я подалась вперед. На возвышении стоял идол. Тот самый идол, которого я видела в детстве, в музее князя. Перед ним на трех черепах стояла широкая чаша, в которой горело тусклое синевато-красное пламя. Прежде всего мне бросилось в глаза лицо идола: его глаза, блестевшие слабым зеленоватым огоньком, а затем, сердце мое невольно сжалось от ужаса: —я увидела на груди идола мой крестик.

И в то же мгновение, точно яркая молния осветила мою память, мое сознание... Предомной отчетливо вырисовалось мое жертво-

приношение. Идол принял громадные размеры. Пламя вспыхнуло, поднялось, осветило все предметы и я с страшным, раздирающим криком упала на пол.

Как сквозь сон я помню дикий хохот, шум, крики...

И затем все исчезло из моего сознания.

Я очнулась снова в моей комнате. Окна были занавешены зелеными шторами. В комнате был противный запах какими-то лекарствами.

Я быстро поднялась и села на постели. Вокруг меня опять были все мои семейные, родные... Мне припомнилось все, припомнилось, как чудный, обаятельный сон, а вокруг меня была противная обстановка и этот Поль, мой нареченный, которому я должна была отдать мое сердце... Но ведь это сердце принадлежало уже другому, который завладел не только им, но и всей душой моей. Меня ничто не привлекало, не тянуло к моим родным.

Мне было тяжело подумать, что я должна им во всем признаться, мне было стыдно и злорада, и досада душили меня. — «Да зачем же, в чем сознаваться?» — думала я.

Я снова легла, отвернувшись к стене и упорно молчала на все их вопросы.

Прошло несколько дней... Я молча вставала, надевала черное платье, распускала волосы и садилась в угол, сложив руки. Поль, тетя, мисс Берд, моя добрая няня, все наперерыв ухаживали за мной, старались уговорить меня, добиться ответа, но я, упорно молчала и только качала головой.

Раз, не помню, на четвертый, или на пятый день, я была в моей комнате и случайно взглянула на небольшой образ нерукотворного Спаса, который висел над моей кроватью.

Мне он показался каким-то страшным... тяжелое чувство тоски, отчаяния сдавило мне грудь. Я быстро вскочила с постели, неистово закричала и тут же упала, и захохотала. Со мной сделались конвульсии. На губах выступила пена.

Пришел праздник, кажется, Успенье. Тетя и няня меня уговорили съездить в церковь, помолиться. Я, наконец, молча кивнула головой. Меня одели и повезли.

Я тихо, ни разу не перекрестясь, простояла почти всю обедню, и когда священник вынес

чашу с Святыми Дарами, я вдруг застонала, заметалась, грохнулась на пол и захохотала. Со мной опять сделались конвульсии. Я начала биться об пол и кричать...

С трудом могли овладеть мною и увезли домой.

С тех пор потянулись целые месяцы, без просвета, в этом безнадежном, мрачном состоянии. Я постоянно была в каком-то забытьи и упорно молчала. Передо мной двигались люди, говорили со мной. Я ничего не замечала. Кормили, поили, одевали меня, — я оставалась ко всему безучастна. Только каждый месяц, во время полнолуния, на меня находила страшная тоска. Тогда картины тех наслаждений, с которыми познакомил меня или моего двойника ужасный князь, являлись мне как живые и меня тянуло туда, к этому, казалось мне, источнику наслаждения. Я металась, тосковала, стонала и билась об пол. Во мне являлась такая страшная сила, что пять высоких, здоровых баб не могли со мной сладить и уложить меня в постель.

## IX

В апреле меня повезли в Москву. Поль по-

ехал с нами. Мы советовались со многими докторами, с Иноземцевым, с Овером. Иноземцев приписал это раздражению брюшного нерва. Овер находил мое психическое состояние безнадежным и советовал поместить меня в больницу Всех Скорбящих. Большая часть докторов находила у меня обостренную истерию, соединенную с расположением к эпилепсии.

Меня пробовали лечить гальваническими токами, металлическими пластинками и даже магнетизмом. Последнее лечение доставило мне некоторое облегчение. Я стала как-то бодрее и аппетит мой улучшился, или лучше сказать, он снова появился. Лунатизм мой принял прежнюю, легкую форму, но весь мой психический склад и моя мозговая машина остались те же и положительно отказывались служить мне.

По-прежнему я просиживала целые дни молча, угрюмо сдвинув брови, по-прежнему я чувствовала гнет, страшную тяжесть в груди. Точно какой-то ком постоянно подкатывался к горлу и душил меня. По-прежнему я была безучастна ко всем и всему и хладнокровно

слушала мою бедную тетю, когда она уговаривала, упрашивала меня сказать хоть одно слово. Я равнодушно смотрела на её исхудалое лицо, на её заплаканные глаза. Я безучастно принимала все ласки и уход за мной, я не могла понять, насколько тяжело для них, для всех близких и родных, мое состояние и как страшно они измучились, ухаживая за мной.

Когда пришли теплые, ясные вечера мая, Поль обыкновенно отводил меня на наше любимое место, на «зеленой горке» и усаживал на скамейку. Он насильно склонял мою голову к его плечу, и я лежала послушно, как ребенок, и сердце во мне молчало, точно окаменело, а тяжелая, безвыходная тоска постоянно сжимала всю грудь мою. Мне все казалось, что вот, вот... кто-то придет и возьмет, и поведет меня. Или казалось мне, что тут же, сейчас же, рядом со мной, вдруг провалится земля и я повисну над зияющей бездной... Сердце страшно замирало во мне и руки холодели...

Один раз, вечером, Поль, сидя подле меня на скамейке и обняв меня одной рукой, вдруг закрыл другой рукой глаза и нервно, истерически зарыдал. Я вся вздрогнула, застонала,

вскочила и бросилась опрометью бежать от него, так что он насилу мог догнать меня, на самом берегу пруда, куда меня неудержимо тянуло броситься.

Ночью в моей комнате постоянно спали две горничные. Они тщательно прятали от меня спички, потому что раз я подожгла шторы и полог постели и чуть не сгорела. От меня прятали все острое, не давали за столом ножей и вилок. Смотрели постоянно, чтобы я не проглотила гвоздей, иголок или булавок, или не выпила бы чего-нибудь вредного. Но один раз за мной не досмотрели, и я выпила весь керосин из лампы. Со мной едва отводились и спасли мне жизнь. В другой раз я сделала петлю из шнуров моей портьеры и повесилась на отдушнике. Из петли меня вынули, когда я уже начала хрипеть и задыхаться. И странно! Я проделывала все эти покушения на самоубийство совершенно спокойно, бессознательно, а между тем, мысль о смерти до того меня пугала, до того была противна и тягостна моему представлению, что при одной этой мысли я дрожала и холодный пот выступал у меня на лбу и на всем теле. Прошло ле-

то, душное, жаркое. Почти каждую ночь была гроза и во все время грозы я металась и стонала. Мне казалось, что каждая молния нарочно сверкала для того, чтобы поразить меня, и когда раздавался удар грома — я замирала.

Почти с каждым днем положение мое становилось хуже и хуже. Я не могла уже, наконец, подняться с постели. Дни и ночи я не могла уснуть, я лежала, отвернувшись к стене, и тихо стонала. В это время доброй моей няни не было со мной. Она ушла в Киев, с твердой верой, что она вымолит мне у киевских угодников здоровье и силы. Она вернулась в половине июня, поздно вечером, или лучше сказать ночью. Она прямо прошла ко мне наверх. Подошла к моей постели, нагнулась надо мной и сказала шопотом:

— Здравствуй, моя желанная! Я принесла тебе благословенье от Феодосия Печерского.

Я перестала стонать и быстро обернулась. Что-то легкое, освежающее, казалось, повеяло на меня, точно то светлое облако, которое спускалось ко мне тогда, во время ужасного сна... И мне казалось, что это облако было св. Феодосий.

Я смотрела с какой-то внутренней радостной дрожью на небольшой деревянный резной образок, который держала няня в руках.

— Перекрестись и поцелуй его! — сказала она, и я силилась приподнять руку и не могла. Няня взяла ее и перекрестила меня. Затем медленно, торжественно, благословила меня образком. И вдруг у меня в груди что-то растаяло, распустилось. Мне стало удивительно легко, покойно... Я не верила себе, я думала, что вот-вот сейчас снова вернется эта ужасная, убийственная тяжесть. Но на место неё явилась удивительная тишина. Я начала тихо всхлипывать, как маленький ребенок, громче, громче, я обхватила мою няню, я припала к её груди и зарыдала, зарыдала... Я целовала её сморщенные щеки... Мне казалась она каким-то вестником мира, целителем моего сердца и несчастной, измученной души моей.

Она присела на мою кровать, она обхватила меня как маленькую, и, припав к её груди, я долго, но тихо плакала.

— Ненаглядная моя красавица, — шептала няня, целуя меня. — Как исхудала, бедняжка!..

Я чувствовала, что с слезами мне становилось легче, яснее и тише на душе. И не помню, как, я задремала и уснула, крепким, покойным сном. Няня переложила меня, как маленькую, на подушки и на цыпочках вышла.

Я слышала, как вокруг меня ходили, шептались, но мне было покойно, легко, хорошо... И я проспала всю ночь и проснулась поздним утром.

## Х

Помню, проснулась я слабой, голова кружилась, но на сердце было легко, радостно. Опираясь на стулья, я тихо поднялась с постели — и пошатнулась. В комнате все закружилось. Я простояла несколько минут и тихонько пошла, опираясь на стулья. На столике стояло мое зеркало. Я мельком взглянула в него и отшатнулась. Из зеркала глядело на меня страшно исхудалое, бледное лицо.

«Это не я!.. Это другая!» — промелькнуло в моей больной голове.

Я посмотрела на мои дрожавшие руки. Это были руки скелета, обтянутые кожей.

Я посмотрела в угол, туда, куда я прежде обращалась с привычным, восторженным

чувством, к образу Спаса. Там был вчерашний резной образок и на нем висел и блестел маленький крестик — мой детский крестик.

Не веря себе, своим глазам, я, шатаясь, подошла к нему. Я быстро, порывисто сдернула его с образка, схватила обеими руками, с чувством любви, благоговения прижала к своим губам, упала на пол и зарыдала.

«Он вернулся — я свободна!.. Спасена!..» промелькнуло в моем уме и сердце.

И я молилась, молилась, я благодарила и плакала.

Я надела его снова на себя и мне стало удивительно покойно, сидя на полу, я обернулась к двери, — в дверях стояла тетя и смотрела на меня со слезами.

С радостным восторженным криком она бросилась к мне. Я целовала её лицо, глаза, руки. Я облила их слезами... Моей радости, восторгу, безумию не было границ. Плача и смеясь в одно время, мы крепко обняли друг друга; шатаясь от радости подошли и сели на постели.

— Добрая! Добрая! Дорогая моя, — шептала я. — Я верю!.. Бог послал мне милость.

А она тихо шептала и просила.

— Говори еще... говори! Я так долго не слышала твоего голоса.

Дверь тихо скрипнула, отворилась. На пороге стоял Польш. С недоумением, не веря себе, он смотрел на меня. А у меня при взгляде на него сердце вдруг снова переполнилось восторгом, благодарностью. Я снова поднялась к нему и наверно упал и бы, если бы он не поддерживал меня. Я долго лежала в забытьи, в его объятиях.

И столько было радостного трепета в этот день, что у меня совсем закружилась голова и я не могла стоять на ногах. Меня снесли в гостиную, усадили на большом кресле. Каждый наперерыв старался мне услужить. О чем бы я ни заговорила, чего бы ни пожелала, все являлось тотчас же к моим услугам, словно по волшебству.

— Господи! — дивилась я: — как они меня все любят! И как я могла увлечься тем... темным и страшным... И какая ужасная разница между бурными наслаждениями, и между этими тихими, семейными радостями, проникнутыми миром, покоем и теплою, чистою

любовью.

С этого радостного дня началось мое быстрое выздоровление.

Когда все это я передавала потом Полю, передавала с тем тяжелым волнением, которое я испытывала тогда, то он сказал:

— Есть много еще необъясненного в снах и галлюцинациях. Но многое может быть объяснено гораздо проще тем нервным возбуждением, в котором ты тогда находилась.

— Как же... а крестик, Поль? Каким образом он явился на груди этого страшного идола, в доме князя. Ведь, я там ясно, отчетливо его видела...

— Да ведь и галлюцинации бывают, говорят, также очень отчетливы. Надо убедиться сперва, что действительно ли существует или существовала в доме князя та комната, в которую ты заглядывала.

— И как же затем крестик явился на образке? Я ведь расспрашивала и няню, и всех. Не повесили ли они его на образок? Они все уверяют, что не видали этого крестика.

— В лунатизме, в бессознательном состоянии, в том настроении, в котором ты тогда

находилась, ты могла снять его с себя и опять затем достать оттуда, куда спрятала и сама повесить его на образок.

— Поль, — сказала я тихо. — Можно все объяснить. Но там, где можно все объяснить, там нет места вере, нет места чувству. Там все дело одного холодного рассудка.

— Это совершенно верно, мой милый, родной философ. Но также верно и то, что этого никогда не может быть — и не будет. На том пути, по которому идет вперед человечество, первое, громадное место отведено не рассудку, а чувству и вере в его непреложность и справедливость.

— Я не совсем ясно понимаю тебя.

— Ведь ты веришь, что тот путь, на который в твоих галлюцинациях увлекал тебя князь, есть ложный, темный путь.

— Еще бы, — разумеется, верю.

— Вера дает инстинктивно твоему сердцу указание, куда следует и куда не следует идти. И даже в ту бесконечную, светлую сторону, где лежит общее благо, а не твое личное наслаждение. Пойдешь налево — ты будешь спускаться в ту бездну чувственных удоволь-

ствий, в которой кишат все чудовища людских страстей. Пойдешь направо— ты будешь подниматься на святые вершины, по трудному пути, проходить в те узкие врата, которые ведут людей к общему блаженству и к вечному солнцу истины... Это старая, древняя истина. Это старая песня человечества. Она родилась с начала мира. Она древнее Ормузда и Аримана. Она проходит во всех сказаниях, во всех эпосах. Это две мыши Ариосто — черная и белая, которые вечно бегают вокруг гигантского дерева и не могут догнать друг друга.

Я помню, он говорил это вечером, когда мы сидели на нашей любимой скамейке. Моя рука была в его руке. Я смотрела на потемневшее небо, на ясные звезды и эти звезды так ярко блестели и так ясно говорили душе о вечном, великом, непостижимом, что будет всегда, неизменно привлекать человека в светлую сторону добра и правды...

Почему и как исчезла, так внезапно, моя болезнь— я не знаю. Я предоставляю это объяснять людям более опытным и более сведущим.

Через два месяца я настолько поправи-

лась, что ни тетя, ни Польша не видели более необходимости откладывать нашу свадьбу, и 18 августа мы были обвенчаны.

Теперь уже минет скоро тридцать лет нашей мирной, тихой жизни с моим добрым, тихим Полем.

Мы оба уже сходим с горы и подходим к той грани, к той страшной завесе, которая скрывает от всех неведомый мир. Мы идем рука в руку и обоюдно поддерживаем друг друга в нашей вере, на скользком земном пути; мы ищем постоянно все доброе, что мы можем сделать здесь на земле для нашего бедного земного брата, и это чувство и стремление мы передали, я надеюсь, прочно и нашим детям.

Князя Наянзи я более не видала. Он вскоре после нашей свадьбы уехал из его имения. Затем прошел слух, что он умер где-то в Индии, в горах Нильгирийских.

# Олд-Дикс (Рассказ)

## I

**Ж**изнь человека — стремление к наслаждению. В трудах, в науке, искусстве, любви, страсти — повсюду? он ищет удовольствия, повсюду он касается тех струн, которые сильнее дрожат, в которых звучит бесконечная гамма неги, восторга, счастья, блаженства.

Мысли и чувства идут за пределы возможного. Их не примиришь с обыденной прозаической стороной жизни, с ее крохотными, грошовыми интересами. Мысль поднимается на неизмеримые высоты, она уносится в бесконечное и беспредельное. Для нее не существует ни времени, ни пространства. Чувство хочет вечных восторгов, вечного дрожанья, вечного блаженства. Земная оболочка тяготит человека.

Тяжела она в пылкой молодости, когда жизнь брызжет из всех пор и рвется к наслаждению, а суровая действительность говорит

ей постоянно: «смирись и терпи»! Тяжела она в дряхлой старости, когда ветхий, безвременно истраченный организм человека бессильно смотрит на наслаждение.

Печально мимо меня идут образы прошлого. Поблекнув, поникнув головами, они проходят как тени, бессильно сожалея о своем блестящем времени одно воспоминание, яркое, неизгладимое, отделяется от этой толпы полинявших призраков, как отделяется чудное создание искусства среди дюжинных, обыденных произведений и блестит вдохновляющей, вечно юной красой.

Я помню лето в той стране, где зима смотрит освежающей осенью, где во время ее сплет виноград и цветут померанцы. Там природа стоит вся убранная, как вакханка, в гирляндах плюща, в гроздях винограда. Там небо сияет, там море блещет, там нет бедности, ее отвратительных язв и лохмотий; там лаццарони, юный и улыбающийся, голый, прекрасный как Адонис, почернелый от загара, сладко спит на солнце на берегу моря, приносящего ему *frutti di mari*, и нежно баюкающего его всеми своими синими волнами. Страна им-

провизаций, страна вечных праздников, где нищета не тяготит человека, где он веселый, беззаботный, с песнью несет бремя жизни... Привет тебе, вечно юная, вечно живущая наслаждением Италия!

Нас было четверо: Фернандо Панчери, пылкий, живой миланец, весь созданный из веселости, из бесконечных *galantezza*; постоянно улыбающийся, остроумный, ловкий, находчивый. Его тёмно-синие глаза составляли резкий контраст с черными, вьющимися, длинными волосами и с черной окладистой бородой; его полные, алые губы и румяное белое лицо не гармонировали с небом юга; но, может быть, в силу их он и был постоянно ровен, постоянно восторжен и весел.

Другой мой спутник был испанец Диего де-Хуарос. Это лицо, которое так сильно нравится южным женщинам. В нем все проникнуто негой, томной, страстной. Правильный профиль, немного покатый лоб; тонкие сладострастные губы, черные бархатные глаза, томные, влажные. Он был создан для любви и постоянно жил ею.

Третий был тоже итальянец — Антонио

Брандини, худой, высокий, желтый, немного сутуловатый. Весь обросший волосами, так что выдавались только его черные, сверкавшие глаза. Это был поэт. Его стансы поражали силой страсти, пылкостью фантазии, его сонеты были полны увлекающей прелести. Это была смесь сарказма, чувства и неопределенного движения. Антонио был суров, молчалив, но его шутки поражали едкостью и грубой силой правды. Когда он выходил из своего угла, он был вулкан, бьющий чувством, страстью, остроумием. Таков и должен быть поэт. Он замыкается от толпы. Внутри его зреет и накапливается горючий материал, весь калейдоскоп жизни приносит туда свою лепту. Наконец, когда чаша бывает переполнена, довольно бывает одной лишней капли, одного едва заметного толчка, чтобы ее содержимое потекло неудержимою песнью, сверкая и искрясь, и увлекая за собой все, попавшее в этот кипучий поток.

Я помню один незабвенный день, весь сложившийся из блеска и трепета, из чар искусства, из обаяний и восторгов. Утро мы провели в галереях Palazzo Pitti. Прохладно и покой-

но было под его сводами, разукрашенными лепкой и живописью, в его огромных залах, раззолоченных, убранных бронзой, мрамором и малахитом. Сила древней красоты предстала там во всей ее вечной прелести. Живой мрамор смотрел на нас, полный силы и юности, как бы приглашая к наслаждению и чарам жизни. Эти статные, роскошные, вечно юные Венеры с их плавными движениями, то стыдливymi, то полными вакхической неги. Эти фавны, справляющие вечный праздник ликующей жизни.

С высоких стен смотрели на нас созданья великой кисти вдохновенных мастеров. Святые Мадонны, строго, девственно улыбались и сулили восторги неизведанного блаженства. Мясистые тела нимф и фавнов говорили о силе грубого, первобытного наслаждение. Голландская жизнь, скромная, уютная манила к себе своими картинами полного довольства спокойной жизнью, среди наслаждений тихого, ровного мещанского счастья.

Из глубины прожитых веков, из древних разрушенных могил, как живой, встал перед нами мир гармонии и ясно говорил о бес-

смертии наслаждение, о его вечно юных, нестареющих восторгах.

У палаццо Питти нас ждали две коляски, нанятые на целый день, и мы отправились к синьорам Дольчи, которые также ожидали нас, чтобы вместе отправиться на villa Scrozzi. Анунциата и Фелицата Дольчи — женщины Италии — сколько в них уменья жить, наслаждаться жизнью! Пылкие, красивые, блестящие, все созданные из огня страсти, свободные и беззаботные, как теплый сирокко, любящие гордо и преданно, привязанные к родине, благоговеющие перед нею, вечные энтузиастки, со словами восторга и обожание на чудных коралловых губках.

Мы уже издали увидели их на балконе Via Tortoni; вот они, майские розы Италии! Обе смеются, обе кричат: «o viva, viva allegrezza»!

С ними забываешь невзгоды жизни, ее диссонансы. Их вечная страстность постоянно возбуждает вас; в ней все оттенки, все струны звучат, полною и глубокою привязанностью, симпатией широкой и неодолимой.

В ответ им мы кричим, махая шляпами, платками. Брандини встал в коляске во весь

свой длинный рост. Его высокая, растрепанная фигура напоминает духа долины в Фрейшюце. Махая шляпой, он неистово кричит глухим басом «*é viva Italia, amore et donne amabile!*» Мальчишки на тротуарах отвечают ему оглушительным хлопаньем и голосят на все лады «*é viva, é viva!*»

Синьоры Дольчи сбегают с лестницы, мы усаживаемся, бросаем горсть баиоки мальчишкам, и они неистово дерутся из-за них. Бичи хлопают; кони бегут, гордо кивая головами. Мимо нас проносится пестрая Флоренция: «*E viva allegrezza!*»

На *villa Scrozzi* ждет нас обед от Беттони.

Чудная вилла! Сколько в тебе прелести, сколько гармонии. Громадные белые акации, развесистые, душистые, в поперемишку с бальзамическими тополями. Таинственные, прохладные гrotты; фонтаны, то сверкающие на солнце своими несущимися кверху потоками, то тихой струей журчащие в тени кипарисов. Каскады, несущиеся с гулом и пеной с искусственных спусков, сложенных из громадных камней. Мраморные статуи, столетние кипарисы и розы, розы без конца!..

Незаметно идет обед среди веселья, блестящих шуток, остроумия Панчери, парадоксов Брандини, и приближается к концу. Раздается музыка. Это странствующий оркестр. Мы все бросаемся к балкону. Музыканты играют бешеную тарантеллу. Панчери схватывает кастаньеты, случайно лежавшие на камине, и пускается выделывать соло. Анунциата присоединяется к нему. Мы любуемся на их грациозную и страстную пляску. За ними выступает другая пара, Диего де Хуарос, с младшей Дольчи...

Наконец танцующие в изнеможении опускаются на диваны... Мы кричим музыке *a basta, basta abbastanza molto!* Хуарос бросает им горсть золота. *Camariere* наливает им по стакану орвиетты.

Утомление овладевает нами. Сонное, сытое утомление. В нем сказывается дремлющее удовольствие. Успокоение нервного дрожание. И... *dolce far niente!*

— Синьор Антонио, — говорит Анунциата — что же ваш Санчини?

— Он со мной, со мной, синьора *bellissima*, вот он, Ессо... — И Антонио вытаскивает из

бездонных карманов своего пальто три тома: *Carmina Sancini*.

— Так давайте читать!..

— Теперь читать *Sancini*?! — изумляется Антонио. — *Ma questa e una barbaria, signcrina mia*. Читать после сытого обеда, после безумной пляски...

— Скажите лучше: после поэтического безумия; после восторженных движений тела необходима работа ума. Давайте нам поэзию; да именно поэзию, она будет ласкать нас, нежить гармонией стихов. Теперь именно недостает нам этого мерного ритмического каданса, под звуки которого тихо бежит мысль и дрожит чувство. Теперь, да именно теперь мы хотим наслаждаться поэзией! Не так ли, синьоры?

Мы согласились. Антонио развернул томик и начал.

Антонио читал с одушевлением. Волна поэзии, волна мерных звуков охватила нас. Она убаюкивала и в то же время не давала спать. Картина за картиной вставали перед глазами, под тихие ровные аккорды звуков. В них слышались слезы, дрожь чувства, нега любви;

Анунциата невольно повторяла последнюю строчку каждого стиха...

Такова сила светлой поэзии, навеянной радостным, мирным чувством. В ней даже мрачные стороны человеческой жизни принимают светлый характер. В ней нет глубокого страдание, тяжелого, безвыходного отчаяние. Она носится по волнам жизни, не падая в глубину их, не погружаясь на дно. Это порхающие звуки счастья, довольства всеми, даже мрачными сторонами жизни. И в то же время в них нет мелкости чувств, они знают те крайности, в которых слышится тяжелый стон отчаяние. В них все полно тем легким отношением, при котором на темные стороны поэт смотрит с — высоты своего чувства также легко, игриво, как и на светлые. Он готов умереть с улыбкой, и любить ради наслаждения. В его стихах, в живой панораме проходит та пестрота жизни, которая составляет ее юмор.

Целые часы проходили, а мы слушали и не замечали, как летело время. Это понятно только в Италии. Там все существо человека, вся окружающая обстановка сливаются со

стихами, которые он слушает. Кажется, вся природа и жизнь имеют свой ритм и только здесь может выражаться полная гармония, которая окружает вас и вместе с тем звучит в аккордах стиха.

Солнце довольно низко спустилось; жар отхлынул, уступив место ароматной, свежей прохладе вечера. Мы ходили по аллеям виллы и в каждом из нас звучали стансы Санчини. Казалось, вся природа отзывалась на эти звуки. Анунциата предложила сходить на Bello San Guardo, с которой открывался вид на Lagnna pontica. Мы все отправились. Антоний сопровождал нас стансами; кажется, это была его собственная импровизация. Натура поэта, как струна, до которой коснулся смычек поэзии, не может вдруг остановиться; она долго колеблется и дрожит, пока проза жизни не унесет этого волнение.

Из-за кустов громадных опунций и олив мы вышли на широкую площадку. Кто-то стоял там, на высоте, какая-то фигурка резко вычерчивалась на ясном зареве заката. При взгляде на нее, что-то знакомое поразило меня. Я знал только одну в моей жизни такую

приземистую, горбатенькую фигурку, которая теперь, на светлом фоне неба, казалась выше своего роста.

— Неужели это он! Мой Ольд-Дикс.

Я быстро взбежал на площадку. Фигурка обернулась ко мне...

— Ольд-Дикс!.. — вскричал я радостно, — ты ли это?

Мы обнялись.

Ольд-Дикс был мой старый школьный товарищ. Я бы сказал — мой друг, если бы Ольд-Дикс мог быть чьим-нибудь другом. Мы расстались с ним на Иттонской скамье, затем, чтобы снова встретиться в Импшайре, прожить там три месяца вместе и затем расстаться на три года. И вот судьба нас снова сводит так неожиданно, и где же?! Во Флоренции, на Bello San Guardo.

## II

Ольд-Дикс принадлежал к числу тех людей, которых природа создает по своему капризу, с тем, чтобы их больше не повторять. В нем было все оригинально и, между тем, эта оригинальность не бросалась в глаза. Ольд-Дикс не был эксцентриком. Он жил настоя-

щим джентльменом, отличался самыми утонченными, изысканными манерами английского денди. Его лицо поражало умом и вместе с тем легким оттенком страдания. Бледное, почти квадратное лицо, с коротким, выдавшимся подбородком, с несколько сторбленным носом, большим ртом, окруженным тонкими алыми губами, и большими, навывкате, серыми глазами, которые грустно и задумчиво смотрели из-под густых бровей. Но всего замечательнее у Ольд-Дикса был лоб: en face он казался громадным, в профиль — он весь, начиная с бровей, уходил плоской покатостью назад. Довольно густые темно-русые волосы, которые Ольд-Дикс всегда носил гладко причесанными, покрывали почти половину этого лба, так что с первого взгляда можно было подумать, что на нем надет парик или, по крайней мере, накладка. Ольд-Дикс постоянно ходил в черном. И теперь на нем был черный, легкий кашемировый сюртук и панама, с огромными полями.

Ольд-Дикс поступил годом позже меня в Иттон. Мы все, его товарищи, увидав его неуклюжую, уродливую, угловатую фигуру,

решили, что он не имеет права быть в Иттоне, что здесь принципу здорового, нормального человека должно быть безжалостно принесено в жертву все остальное. Мы решились выжить или, правильнее говоря, выбить его, если он, последовав благоразумию, не решится сам оставить Иттон. Мы выбрали трех самых сильных бойцов и порешили предложить Ольд-Диксу на выбор: или поединок с ними, или выход из школы.

При этом предложении Ольд-Дикс приподнял брови и вытаращил свои большие глаза.

— Господа! — сказал он — я не прочь попробовать силы с удальцами школы, но кто же из этого выиграет. Я пришел сюда учиться или, правильнее говоря, доучиваться. Положим, вы выгоните меня. Ваши удальцы получат от меня легкие воспоминание, а я потеряю возможность доучиться. Но что же приобретет от этого школа?

— Без рассуждений! — крикнул грозно один из бойцов — или дерись, или убирайся к чёрту!

— Я готов! — сказал Ольд-Дикс, — только вы, вероятно, примете в расчет мой малый

рост и позвольте мне драться на табурете...

— Ха! ха! Го! го! го! как на табурете? — закричала компания.

— Ничего, пускай дерется на табурете! — кричал самый ярый боец. — Я его скovyрну с него, скovyрну, чорт побери, вверх тормашки!

И прокричав эту угрозу, он скрепил ее поражающим ударом кулака об стол, так что столешница треснула и раскололась пополам.

Мы порешили драться немедленно и предоставили выбор табурета Ольд-Диксу. Он выбрал здоровый и стойко держащийся на его прямых ножках. Начался бокс. Первый боец, улыбаясь и бормоча под нос, шутливо вывертывал кулаки, подступая к Ольд-Диксу. Но вдруг неожиданно для себя и для всех нас, он полетел на пол. Он не рассчитал длину рук Ольд-Дикса, которые были действительно чересчур длинны, как у всех горбатых, и вследствие этого получил здоровый удар прямо в нос. Ошеломленный и озлобленный, он с бешенством поднялся и подскочил к Ольд-Диксу, но тотчас же опять полетел на пол с под-

битым глазом. Мы порешили выпустить следующего бойца. Он стал подступать осторожно, сильно вертя руками. Но Ольд-Дикс точно так же начал вертеть кулаками и притом быстрее его; а так как руки его были длиннее, чем у противника, то последний держался от него в почтительном отдалении и вертелся около табурета.

— Ну! Джик, бодрей, дружище! — кричали мы ему — насандадь молодца.

Джик, наконец, решился наддать удар и наметил в бок, который казался ему плохо защищенным, но тотчас же полетел на пол с подбитым глазом, он вскочил, налетел вторично и получил бокс в другой глаз. После этого он не рискнул попробовать в третий раз, вероятно, за неимением третьего глаза.

Остался последний боец. Он долго приноравливался, рассчитывал и, наконец, вероятно сообразив, что самая слабая часть у Ольд-Дикса — это его ноги и что здесь ему непременно удастся снять его с позиции, он решился сделать нападение на нижние оконечности. Одного только он не рассчитал, что для этого ему необходимо нагнуться и подставить

противнику затылок. И вот, когда он с мужеством быка, бросающегося на тореро, нагнув голову, налетел на Ольд-Дикса, этот опустил кулак, как секиру, и боец плашмя растянулся у его ног. Мы его подняли. На его искаженном лице выразалось глубокое недоумение: откуда он получил такой сокрушающий бокс?! Тогда вся компания начала неистово кричать и поздравлять Ольд-Дикса с полной победой. Сейчас же подали грог, и торжество продолжалось до второго часа ночи, причем мы все убедились, что Ольд-Дикса также трудно спойть, как и сбить с ног. Таким образом он был принят в Иттон. Мы назвали его Ольд-Диксом, так как он несколько напоминал нам старого горбатого сторожа Дикса, и понемногу привыкли к его неуклюжей фигуре. Затем мы убедились, что это оригинал, который желает себя держать в сторону от иттонской жизни и действительно доучиваться. Старые гуляки и коноводы, считающие школу чем-то в роде гимнастической залы, покосились на такое решение; но, испытав силу и твердость кулаков Ольд-Дикса, они только хмурились и почесывали в затылке.

Ольд-Дикс действительно пришел в школу затем, чтобы учиться. Нас удивляла в нем эта неутолимая жажда знания. Он ничего, ни одной буквы не оставлял, не узнав там о ней всего, что было известно человечеству. По целым дням он проводил школьной библиотеке. Тьюторы даже оставляли его там на ночь, разумеется, за приличное вознаграждение. Утомленный этим занятием, провозившись с книгами неделю, две, три, он тогда обращался к нам, заводил какую-нибудь поездку в Гемпшир или Литльбуль — и здесь отличался удивительными подвигами на поприще буршомании. Если происходило где-нибудь гомерическое побоище и у почтенных граждан Гемпшира глаза были подбиты, скулы сворочены и носы расплюснуты, то в этом подвиге непременно принимал участие Ольд-Дикс. Если в целом местечке были перебиты окна, отрезаны звонки и все собаки искалечены, то это наверно было дело Ольд-Дикса и К°. Прокрутив всю ночь, он смиренно возвращался в школу и опять принимался за свои книги. Это он называл: возбудить движение в организме.

Он не кончил курса в Иттоне, вероятно, убедившись, что больше там ему нечего изучать, что всю древнюю словесность он знает достаточно и может свободно читать всех авторов, что основание математики и физики им усвоены в совершенстве. Он оставил школу, но не оставил занятия. Когда мы встретились с ним в Импшайре, я был поражен его подавляющею начитанностью: не было, кажется, ни одной книги, сколько-нибудь и почему-либо замечательной, которую бы он не прочел; а прочитав для него означало знать. Память его была поистине изумительна. Самые ничтожные события, незначащие факты, года, числа, собственные имена... все это отпечатывалось при чтении в его мозгу, с тем, чтобы никогда не изгладиться. Да! природа отлила Ольд-Дикса в совершенно своеобразную форму!

Знание ему служило только средством. Он не был педантом. Никакие знания не завлекли бы его, если бы он в них не искал разрешение вопросов, которые его неотступно мучили. Это была голова, которая постоянно работала. В то время, когда нас занимали самые

обыденные впечатление, пошлые раздражение нервов, он уже думал, его занимала сущность вещей, их тонкие отношение друг к другу.

С ранних лет он был одинок. Оттолкнутый в семье, смешной, уродливый, он не знал никакой привязанности. Его натура должна была замкнуться в самой себе и, вместо ощущений, разгадывать их и объяснять, задумываться над их причинами. Он умел подавить в себе зависть и найти сострадание к людям. Он ясно видел, сознавал их недостатки, пороки, слабости; он видел, что весь этот балласт мешает людям идти вперед, миру развиваться, и признал законность и необходимость этого пути. Он понял, что люди не могут вдруг избавиться от этого груза и, сбросив его, устроить свою жизнь, хотя немного лучше. Он искренно и глубоко сожалел их, как маленьких детей, которые сами не понимают своего добра и плачут, когда им советуют не трогать огня. Дойдя до этой точки, он еще более почувствовал свое одиночество: он ясно понял, что он чужой для всех, что он перерос всех чуть не целой головой и видит впереди

то, что другим заслоняют их собственные головы. Он вышел вон из века, из условий толпы, из требований даже передовых масс. Мало-помалу он привык к своему одиночеству; оно перестало пугать его. Тогда он весь погрузился в один вопрос, который поглотил его всецело: что будет с людьми в неопределенном, далеком будущем?

Разрешать такие вопросы для всякого другого было бы безумием, ребячеством; но Ольд-Дикс мог жить только этим разрешением. Он понял, что для него было необходимо знание, что только при свете фактов можно найти сколько-нибудь удовлетворительный ответ в этом темном вопросе и он с жадностью искал этого знание.

Разумеется, на первом месте здесь стояли естественные науки. Он понял, что только в естествознании, в исследовании тех законов, которые управляют миром, можно найти разгадку. Здесь он проштудировал и изучил все, что входит в кодекс знание и в этой области мог конкурировать со всяким Гумбольдтом. Правда, он обходил обыкновенно мелочные знание, но нередко ему приходилось останав-

ливаться именно на них. Там, где дело касалось мелочных свойств материи, где в этих свойствах скрывались в отношении, из которых вытекали законы, там он погружался в щепетильные, мизерные факты, изучая, до каких геркулесовых столпов может доходить делимость материи. Он пришел к убеждению, что мир идет вперед, постоянно расщепляясь в своих атомах, и что цель этого расщепление — боле сносное соединение атомов, со всеми элементами мироздания.

Как ни темно было это объяснение, он принимал его на веру — притом его теория, по основному вопросу, который он разбирал, вовсе не шла так далеко. В этой теории он вывел закон, на основании которого строились все его предположение. В силу этого закона, в природе, а, следовательно, и в целом мироздании, не было ничего одиночного, отрывочного. Все развивалось одно из другого. Вследствие этого, по двум известным находилось неизвестное. Было дано *statu quo* материала, был дан путь его развития, выведенный из прошлого, надо было найти то, что выйдет в конце этого развития.

Многие нашли бы эту работу сумасбродною. Но Ольд-Дикс не испугался ее. Он сперва испробовал ее силу. Он постарался предсказать самые обыденные, ближайшие факты. Предсказание оправдалось, факты явились как бы в подтверждение его теории. С этих пор он шел в ней не стесняясь. Люди серьезные, идущие осторожно шаг за шагом в области знания, сочли бы такую работу мечтой утописта, но Ольд-Дикс и был именно мечтателем. Отказаться от своей мечты для него было равносильно смерти. Как сумасшедший с своей *idée fixe*, он не расставался с этой мечтой. Он жил только ею.

Его нельзя было назвать ученым. Он сам не добыл ни одного научного факта. Правда, рассматривая чужие работы, он сделал из них множество выводов, множество сближений, которые ведут к общим теориям. Но такие работы он считал чем-то в роде *hors d'oeuvres*. Он был слишком *fashionable* для того, чтобы возиться где-нибудь в вонючей лаборатории с кислотами и всякими ингредиентами или самому делать физиологические опыты над лягушками. Ко всей этой возне он чувствовал

отвращение инстинктивное и неодолимое. Притом он понимал, что на этом пути он должен превратиться в мелочного работника, сделаться специалистом, добиваться открытий в каком-нибудь факте, что вовсе его не интересовало.

Во время нашей жизни в Импшайре, он занимался и тешился как ребенок научными предсказаниями. Почти каждое утро он являлся ко мне с новыми №№ ученых журналов. Он показывал мне какие-нибудь работы, толковал их и затем предсказывал дальнейшее развитие этих работ и их результаты. И действительно, следующие книги журналов почти всегда подтверждали его слова.

— Что ты ничего не печатаешь? — спрашивал я его.

— К чему?!.. Разве мало их, этих печатников. Неужели мои мечты, мои горячие мечты должны быть высказаны печатно? Разве они что-нибудь прибавят или убавят из существующих работ. Моя теория?! Да! Это кое-что!.. Но знаешь ли, эта теория мне самому иногда кажется не более как пустым увлечением. Она связана, срослась со всем моим суще-

ством. Когда мой организм здоров, бодр и деятелен и моя теория мне кажется неопровержимой аксиомой, когда же находит на меня нервное расстройство, сплин, тогда все шатается внутри меня. Дух сомнение не дает мне покой и тогда бледнеет, и шатается все, что стояло твердо и казалось таким незыблемым.

Впрочем, он напечатал целую книгу. Это была теория отдаленных доказательств. Книга носила на себе отпечаток оригинальности, как и все в Ольд-Диксе. Она представляла целый трактат, строго выдержанный и везде подвергнутый математическому анализу и доказательствам. Но книга не пошла. Одни сочли ее слишком темною, другие удивлялись, как можно браться за такие вопросы и ставить метафизику или логику на почву математических доказательств. Автору она не принесла никакой известности и была скоро забыта.

### III

Я представил Ольд-Дикса, Джона Сюррисбюри, баронета, всей нашей компании. Он любезно поздоровался со всеми. Полюбовавшись на заходящее солнце, причем Антонио

продекламировал стихи умирающей любви, — мы отправились по соседству на одну замечательную виллу.

Она была заброшена и южный климат вскоре превратил ее в целый лес. — Деревья и кусты разрослись. Дикий виноград и плющ оплели их. В Италии так редко можно встретить заброшенный, не культивированный угол, что эта вилла, предоставленная собственным силам природы, представляла особенный интерес. Ольд-Дикс тоже полюбозыщивал взглянуть на этот одичавший уголок, и мы отправились. По дороге наша компания составила довольно порядочный хор. Свежие и звучные итальянские голоса звонко раздавались в вечернем воздухе и оглашали окрестности ноктюрнами Спонтини.

Мы подошли к массивным воротам, построенным во вкусе Растрелли, с массивными кариатидами. Сад уже отсюда показывал свою дичь. Ветки кустов разрослись, оплели всю решетку и свешивались над воротами, которая были отворены настежь. Мы вступили в тенистую аллею, заросшую травой. Сквозь деревья угрюмо смотрел дворец, с мра-

морным перистилем. Запустение оставило повсюду свои мрачные следы. Человек здесь отдал недумаящим силам природы свое жилище — и они заменили цивилизацию, придав этому жилищу суровый, романический характер. Как-то странно рисовались все эти деревья и кусты в светлых, еще несгустившихся сумерках вечера. Как исполинские образы, вставали они перед нами, неприбранные, раскиданные. Как будто тени прошлого, блестящего времени, окружали нас и сожалели о нем. Летучие мыши крестили воздух по всем направлениям.

— Пойдемте отсюда— вскричал Панчери, — я не люблю этой заброшенной природы, в особенности в сумерках. Она наводит уныние. Здесь как будто ближе подходишь к простым силам бытия, чуждым цивилизации и наслаждение. Здесь чувствуется покой грубой стихийной силы, гробовая тишина...

Проговорив это, он остановился на аллее. Мы тоже остановились, недоумевая: погружаться ли нам глубже в этот сырой сумрак заброшенного сада? В боковых аллеях стоял непроглядный мрак и среди ярко белели за-

брошенные, мраморные статуи: некоторые из них лежали уже на земле... И вдруг свершилось чудо! Дом весь осветился. Широкие полосы света полились из окон и далеко осветили сад. Мы переглянулись с недоумением.

— Разве здесь кто-нибудь живет? — спросил Хуарос.

Но нет, эта вилла уже двадцать лет, как заброшена, как будто владелец забыл о ней. При этом синьора Анунциата рассказала целую трагическую историю об этом заброшенном саде.

Недоумеая, мы смотрели на окна. Свет был обыкновенный, но нам казался он фосфорическим. Какие-то тени мелькали в окнах.

— Это верно духи, тени бывших владельцеввиллы, — проговорил Антонио.

— Кто бы это ни был, — вскричал я, — мы это непременно узнаем!.. — И я храбро двинулся вперед. За мной пошли Ольд-Дикс и Антоний. За нами нехотя последовала остальная компания.

Мы вышли из тенистой аллеи на большую куртину, усаженную кустами розанов, которые все были в полном цвету и сильно благо-

ухали. В середине клумбы снова была дичь: огромные кусты, нависшие, разбросанные, переплетенные, опутанные диким виноградом. Из-за этой клумбы дом представлялся во всем его блеске, сверкая множеством огней. Мы подошли к нему. На балконе отворилась дверь и на него вышла какая-то женская фигура, невысокая, но стройная, и оперлась на перила. Свет ярким пятном упал сзади и резко выделил ее черным силуэтом...

Я вздрогнул.

Эта фигура показалась мне близко знакомою. Неужели сегодня день бесконечных сюрпризов и я должен встречать милые, дорогая лица!.. Да! Это она...

— Джулия!.. — вскричал я, бросаясь к балкону. — Она быстро поднялась, затем еще быстрее вскочила на перила балкона и оттуда, прямо со второго этажа, с трехсаженной вышины, с криком: «Эдгард мой! Эдгард!» бросилась ко мне на шею...

Ольд-Дикс и Антоний поддержали нас.

Она целовала меня со слезами. Что ей было за дело, что мы не одни, что на нас смотрят. Ах, вы не знаете, что это была за женщи-

на!

Представьте себе целое море страсти, бурное, бешеное, с его бездонной глубиной, неукротимое, изменчивое, капризное. Целая жизнь ее была одним непрерывным волнением — жаждой неги, наслаждений, очарованной жизни. Она упивалась ими и ей все, все раздражение казались слишком бедными. Как будто всеми этими волнениями она хотела залить пламя, которое постоянно кипело и волновалось внутри ее. Когда она бросалась в омут наслаждений, невозможно было не идти вслед за ней, не поддаться ее влеченью. Это был какой-то стремительный поток, волнующийся, бешеный, все захватывающий и выбрасывающий целые каскады блестящих искр и всяких обломков. В Ницце она увлекла молодую девушку; она напоила ее всеми волнениями страсти, и несчастная истаяла среди вихря увлечений. В Милане она захватила чудного юношу, цветок миланской аристократии, и через три недели схоронила его без сожаления, играя и смертью точно также, как жизнью. Она устроила гомерически роскошные похороны, соорудила целую аллего-

рическую процессию. Почти весь Милан шел за гробом, участвуя в этой безумной, похоронной тризне.

К счастью или несчастью, судьба ей дала средства для такой жизни, ее богатство можно назвать баснословным и, во всяком случае, неистощимым. Единственная наследница богатого английского банкирского дома, она проматывала без контроля и сожаления все, что в течение нескольких веков накопили целые поколения, расчётливые, экономные, умевшие солидными оборотами наживать деньги.

Плод свободной любви — дочь сэра Стэнфорта, увлѣкшегося и женившегося на итальянке, она была совершенно независима. С самого детства, чуть ли не с пеленок, она не признавала над собой никакой власти. Случай, каприз были единственными ее повелителями. Отец, тетка, потом опекун старались выработать из нее созданье, покорное условиям цивилизации, общественности. Все напрасно. Она рвала всякую узду, которую надевали на нее. С бешенством ломала и била она все преграды и неслась в ту сторону, куда зва-

ла ее кипучая, страстная натура. Наконец, она была свободна от всех уз. Отец ее рано умер от аневризма, тоскуя по ее матери. Тетка махнула на нее рукой, опекун отступился, и Джулия закружилась в водовороте бешеной жизни, нестесняемой никакими условиями. Только случай спас ее от преступлений, к которым всегда влекут ничем не сдержанные страсти. Впрочем, может быть они и лежат на ее совести. Я знал ее всего только три года.

Мы встретились с ней случайно в Висбадене. Раз, вечером, я вошел в залу одного частного игорного дома. Что-то необыкновенное совершалось в ней в этот вечер. Толпа молча, неподвижно стояла вокруг стола. Эта тишина была поразительна — мертвая тишина, там, где было столько лиц. Позади первых столпившихся рядов, зрители стояли на стульях, и все жадно следили за перипетиями игры. Ни шороха, ни звука. Я с трудом пробился вперед. Там, около самого стола, напротив понтера, стояла женщина, гордо опершись на кресло. Ни одной ставки не раздавалось. Очевидно, здесь шел бой на смерть между кассой игорного банка и этой женщиной.

При взгляде на нее, я был поражен и глубоко пожалел, что я не художник. До того необыкновенно картинно было ее лицо и вся ее поза. Это лицо было олицетворенная страстность. Чудные, черные волосы, размеченные по плечам целым каскадом волнующихся кудрей; низкий, но прямой лоб. Раздувшиеся ноздри правильного тонкого носа; губы, выдавшиеся вперед, толстые, алые, страстные и гордо улыбающиеся; горящие щеки и глаза. Кажется, не передаваемы были эти глаза! Под черными, неподвижными бровями — они горели и светились нестерпимым блеском. В них было что-то странное, магнетическое... Я оглянулся кругом и с недоумением заметил, что все взгляды, все глаза устремлены на эти страстные, пылающие глаза.

— Кто это? — спросил я моего соседа, чопорного немца.

— Это! — сказал немец, вытаращив на меня рачьи глаза. — Это! — он нагнулся к моему уху, как будто шептал мне какую-то тайну — это мисс Джулия Стэндфорт! — и, проговорив это, он еще более вытаращил глаза и несколько раз значительно кивнул головой.

— Туз червей! — произнес банкомет.

— Gewonnen! — вскричала Джулия и какая-то сатанинская радость засияла на ее лице. Груд бурно заколыхалась.

По всей толпе пронёсся глухой вздох. Все зашевелилось, все заговорили. В одно мгновение гул наполнил всю эту залу. Одни смотрели с недоумением на банкира, другие на эту женщину. В глазах третьих была очевидная зависть. Большая часть стояла как бы испуганная, ошеломленная этим неслыханным событием.

— Funf Hundert Tausend! Potz Tausend! — шептали степенные немцы, дивясь неслыханному скандалу.

Тотчас же началась уплата. Кассиры развязывали пачки банковых билетов или звенели, пересчитывая золото. Какой-то господин взялся при счете помогать, и Джулия кивнула ему головой в знак одобрения и благодарности. Груды золота и банковых билетов передвигались к ней. Наконец, последняя сотня была сочтена, последняя пачка выдана.

— Все! — сказали кассиры...

— Все, — повторила она. Глаза ее дико

блуждали кругом, на губах играла презрительная усмешка. Все смотрели на нее, как будто ждали чего-то, какой-то развязки. Золото, очевидно, притягивало, как магнит. Все инстинктивно, невольно жаждали получить из этой громадной кучи червонцев и банковых билетов. Она запустила в нее обе пригоршни и тискала ими бумажки. Несколько секунд обводила она глазами всю стоявшую вокруг стола толпу, и вдруг, с криком: «для желающих!» начала разбрасывать золото и билеты кругом по залу. Все были сначала ошеломлены этим безрассудством. Затем многие кинулись подбирать падавшие червонцы, и все разразилось неистовыми рукоплесканиями и криками «браво!» Все были наэлектризованы ее поступком. Теперь подбирающих оказалось гораздо больше. Каждый хотел получить хоть частичку, хоть воспоминанье от этого золотого дождя. Шум и крик сделались общими. Назад неистово дрались уже из-за золота, между тем толпа продолжала рукоплескать и кричать «браво!» Многие кинулись к ней, подхватили ее на кресле и с оглушительными криками понес-

ли вон. Она захватила в подол горсти золота и продолжала его разбрасывать направо и налево, как безумный ребенок, потешаясь этой игрой. Сделался общий гвалт, одни приняли участие в этой овации, другие неистово дрались. Третьи, схватив канделябры, шли впереди процессии. Это была чудная, странная картина и посреди нее она, как неистовая вакханка, висит в дикой радости над всей этой толпой, хохочет и разбрасывает золото.

Вдруг, вместе с золотом, вылетел из ее рук платок. Многие бросились за ним, но он полетел прямо ко мне, и я ловко подхватил его и, пробравшись сквозь идущую толпу, подал ей. К удивленно моему, она схватила его вместе с моей рукой и, крепко стиснув ее, смотрела на меня своими огненными глазами.

— *Mon beau chevalier — attrape!* — шепнула она...

Я не мог оторвать от нее глаз, от этой безумной, вакхической, сверкающей красоты, и мы двигались вместе с шумевшей и волнующейся толпой, среди ее неистовых криков.

На другой день полиция вмешалась в это дело и обязала Джулию подпиской выехать

из города. Вероятно, это было влияние кассы банка и обыгранная компания прибегла к этой понудительной, деспотической мере.

#### IV

Через два дня мы отправились с Джулией странствовать по Европе. Сколько неистовств, дурачеств, безумных оргий производили мы повсюду, где останавливались! Ей нравились восторг, удивление толпы. Она не могла жить, кажется, иначе, как в каком-то чаду, бреду постоянного опьянение, среди шума, блеска и безумных волнений.

Но вслед за этой горячкой страсти, за этим пароксизмом бешеных вакханалий, наступил упадок сил, полное изнеможение. Она лежала несколько дней, — недель, в каком-то оцепенении. Едва двигалась, с трудом говорила, едва понимала, что вокруг нее делалось. Никакие медицинские средства, никакая помощь не действовали. Затем это изнеможение проходило; силы снова являлись и вместе с ними возвращался наплыв жажды безумных удовольствий. Сколько раз я старался удержать ее от этой сумасшедшей и пагубной страсти; но разве можно удержать волну, когда она,

поднявшись во весь рост, вся покрытая пеной, несется вперёд на скалистый берег чтобы с рёвом и гулом бешено разбиться в брызги о громадные камни.

Мы прожили с нею около трёх лет. Наконец, измученный, усталый, я с глубоким сожалением должен был оставить этот вулкан страсти, чтобы хоть немного отдохнуть, успокоить мои дрожавшие нервы. Она, кажется, была сама рада этой разлуке. В припадках устатка и изнеможение, она постоянно гнала меня прочь, как бы чувствуя, что эта опьяняющая жизнь может только погубить нас обоих.

И вот, теперь мы снова свиделись так неожиданно. Всякий благоразумный человек на моем месте бежал бы прочь от этой женщины, как от смертельной заразы; но разве есть узда для страстей и можно ли остановить то влечение, которое нас тянет в открытую бездну. Кто раз отведал из кубка бешеных наслаждений (и каких наслаждений!), тот уже не может забыть их и снова не возвратится к ним. Одна мысль, что мы опять вместе, что я снова нашёл эту чудную женщи-

ну — опьяняла меня и заставляла забыть все, самую жизнь. Весь дрожа, я не выпускал ее из моих объятий, а она, как маленький ребёнок, постоянно болтала отрывочные фразы и постоянно смеясь, сквозь слезы, целовала меня...

Я представил ей всех, и она так крепко, восторженно жала всем руки. Потом, быстро оставив меня, захлопала в ладоши и на этот зов из дому высыпала целая толпа прислуги. Впереди всех бежал низенький, толстый человек, лысый, с подобострастной, улыбающейся, чисто итальянской физиономией.

— Ессо, ессо, eccellenza! Que commanda, eccellenza? — бормотал он на бегу.

Джулия подбежала к нему.

— Синьор Скорци, я хочу, чтобы у меня был праздник, сейчас праздник, сию минуту праздник! Una gran festa. Свечей больше сюда, газу, огней, иллюминацию; чтобы весь сад был иллюминован, весь! Музыку, непременно музыку. Фейерверк! Больше шуму, больше грому. Зови сюда народ! Пусть все веселятся, потому что мне весело. У меня сегодня большое веселье!.. Una grandissima festa! Живо!

Живо! Скорее!..

И, схватив меня за руку, она пригласила жестом всех идти за собой. — Идемте, идемте, дорогие гости! — говорила она и быстро шла во дворец...

— Signora! tanto attenzione! — говорил Панчери... — и для нас было так неожиданно — questa e una miracula. Мы думали осмотреть необитаемую, заброшенную виллу, и вдруг находим в ней радушный прием...

— Я купила эту виллу. Мне необходимо было уединение, и я поручила найти мне где-нибудь дикий, заброшенный уголок. И живу здесь отшельницей и... ужасно скучаю... но теперь, теперь... — вскричала она с дикой радостью, — вся скука, горе, усталость прочь теперь, я хочу пировать, играть жизнью!.. — И она повелительно взмахнула рукой.

Мы вошли во дворец; это был старый, заброшенный, полуразрушенный дом и стоял во всей мерзости запустения. Потемнелые, испятнанные стены отсырели, потрескались; во многих местах штукатурка свалилась и лежала неприбранною на полу. Везде была пыль, сор. Обои, полинялые, пожелтевшие, висели

кусками. Громадные, правильные, темные пятна показывали места, где когда-то висли картины, а мраморные постаменты — что на них стояли вазы или статуи. Мебель, когда-то богатая, золоченая, теперь полиняла; обивка как будто местами истлела. Продырявленные гардины унылыми лохмотьями свешивались с окон, огромные зеркала тускло смотрели сквозь целые слои грязи, вовсе не отражая предметов. Потрескавшийся, мраморные пол представлял огромные щели. Весь почернелый, покрытые огромными пятнами, он казался сложенным из неотделанных кусков темной лавы. Всюду поражало запустение и безобразие оставленного, заброшенного жилища. Повсюду был затхлый, мертвенные запах. Две тощие летучих мыши с писком летали по залам. Огромные паутины свешивались с потолка и целая, длинная анфилада комнат, роскошно убранных, стояла в забросе и разрушении.

— Вот мое жилище! Ессо ю! — говорила Джулия. — Неправда ли, оно похоже на гроб, в котором гниет мертвец. Эй, Бертуччио, Джованни! Ты... как тебя зовут... Живо, чтобы все

это было прибрано. Долой пыль и плесень, и больше, больше огня! Затопить все камины, кажется, здесь сыро... — И она сделала нервное движение плечами... И тотчас целая ватага слуг бросилась убирать комнаты.

Мы пришли, наконец, в угловую комнату, в которой было жильё. Здесь было такое же запустение, как и везде, но по крайней мерз в нее не было сору и пыли.

Здесь нас встретил монах с иезуитским взглядом, подозрительно смотревший и угрюмо отвечавший на наши поклоны.

— Вот моя Padre Anselmo. *Dolcissime Padre* — говорила, смеясь, Джулия — покаяние кончено, теперь начинается масленица, *é viva allegrezza*.

Монах злобно посмотрел на всех нас, как коршун, у которого изо рта выхватывают лакомый кусок. Очевидно, он воспользовался минутами изнеможения и упадка Джулии и накрыл ее врасплох. Но едва ли она и в эти минуты искренно отдавалась раскаянию и не забавлялась на счет Падре Ансельмо, тогда как он думал, что потешается над своей жертвой. Воспользоваться состоянием в несколько

миллионов было весьма заманчиво для Падре Ансельмо и К<sup>о</sup> и он занимался этим делом с большим старанием.

Между тем, приказание Джулии начали понемногу исполняться. Явился опять тот же оркестр странствующих музыкантов, который играл нам на вилле Scrozi. Синьор Скорци, весь запыхавшийся, красный, говорил, что эта музыка только временная и что он послал уже во Флоренцию за большим оркестром, что он тотчас же явится. — Subito! Subito! Но это будет стоить немного дорого для Eccellenza, un milliajo lire, una mille, и он вытягивал вперед свой толстый палец с треснутым ногтем.

В саду началась иллюминация. Плошки, разноцветные фонарики зажигались повсюду. Очевидно их не жалели. Все разметанные, разросшиеся деревья были унижены ими— и сад заблестел тысячами огней. Везде на куртинах, в клумбах загорелись бенгальские огни, придавая зелени какой-то фантастический, сказочный вид.

Вместе с огнями, появился и народ. Кажется, ему не откуда было бы взяться здесь за го-

родом, на виллах, но он шел из ближних и дальних деревень, отсюда, вырастал из земли. «Festa! Una gran Festa!» пронеслось в воздухе, и везде по дорогам и тропинкам спешили, бежали толпы, торопясь, как на пожар, боясь опоздать или пропустить такую серьезную, важную вещь, как una gran Festa. Сад оживал, наполнялся толпами. Повсюду раздавался говор, неумолкаемые гул и крики мальчишек. Летучие мыши, испуганные этим небывалым движением и шумом, высоко роились в воздухе над миллионами огней...

Наконец, вот и оркестр. Он остановился у входа во дворец, чтобы проиграть своя приветственный ритуфель.

А Джулия, вся блестя восторгом, одушевлением, носилась всюду. Она шутила, смеялась, сыпала остроты, шалила, как дитя:

— Достопочтенные синьоры! — болтала она, — мы все с вашего позволение на нынешний вечер будем переименованы. Синьор Эдгард будет Джулия, я — синьор Эдгард, почтенные Баронет будет дон Диего Хуарос, не менее почтенные дон Диего Хуарос будет баронетом, Падре Ансельмо будет синьором Ан-

тонио, синьор Антонио будет реверендиссима Padre Anselmo.

И она хохотала и хлопала в ладоши, как безумная. Все, увлеченные ее веселостью, отвечали ей тем же. Все, казалось, были влюблены в нее. Даже синьоры Дольчи были поражены этой безумной веселостью.

— Чудесно! великолепно! — кричала она. — Мы оденем Padre Anselmo в мое платье.

Падре Ансельмо вздумал возмутиться и протестовать против такой профанации.

— Как! — вскричала она, — вы не хотите этого сделать для меня, для общее веселости? Скорци положи в мои карманы больше денег, *biglietti del banco*, десятки, сотни тысячи... и если Падре Ансельмо наденет это платье, то все деньги его!

Невозможно передать той игры физиономии, которая появилась при этом предложении на лице *reverendissime Padre*. Это была смесь унижение, гордости и отчаянной жадности. Мы взглянули на это лицо и разразились неистовым хохотом, а он улыбнулся и начал одеваться в платье Джулии, молча

ощупывая карманы.

В большой зале, между тем, слуги накрывали стол на девять человек, великолепно сервируя ужин. В этой зале было светло, как днем. Огромные люстры горели тысячами свечей. Множеством канделябр и бра были увешаны запятнанные стены. Целая толпа осаждала залу из сада; тысячи глаз смотрели в окна. Оркестр гремел попури из «Фаворитки». Двери распахнулись настежь, и сквозь целый строй почтительно стоявших слуг мы вошли в залу.

Оживление достигло maximum'a. Каждый был готов делать тысячу дурачеств. Все говорили, все смеялись, никто не слушал. Казалось, все были подняты этим общим весельем. Народ шумел, веселился и танцевал в саду. Мальчишки прыгали, кричали и кувыркались, как безумные. Даже слуги были веселы и с шутками подавали кушанье, а *signor* Скорци был олицетворенное веселье. Пот градом катился с его красного лица, с его лысого лба. Усы и эспаньолка ошетинились, он кричал и вертелся, как чорт, везде поспевая.

— Больше огня! — кричал он, — синьора

любит огонь, музыканты, синьоры музыкусы: Una tarantella ma con fuoco, con fuoco! Синьора любит tarantella... e viva allegrezza!..

В это время раздался оглушительный залп. Это начинался фейерверк. Десяток ракет взлетел на небо, с треском хлопая в вышине сильными форшлагами. Крики толпы превратились в неистовый рев: «bravo, bravo!» голосила она и покрывала рукоплесканиями выстрелы фейерверка. — Вот он! Una gran festa Италии!

Мы все вскочили из-за стола и вслед за бежавшей Джулией пошли на верхний балкон.

Вся оживленная, бушевавшая картина открылась перед нами. Тысячи огней, от которых зарево поднималось в тёмносинем небе. Беснующаяся толпа, постоянно хлопавшая в ладоши; толпа, озаренная бенгальскими огнями. Целые потоки бриллиантовых искр летели в небо. Огненный дождь падал с него. Фонтаны, швермеры, колеса прыгали, вертелись, сверкали чудовищными массами огня. Вся эта сияющая картина бешено раздражала нервы. Казалось, дух буйной оргии охватил каждого: начиная от грудного младенца до

дряхлого старика. Толпа оборванная, грязная, в лохмотьях неистово веселилась, забывая свою голодную бедность и все невзгоды жизни. Это была паника восторга, бред наслаждение; ничего здесь не было разумного, ничто не походило на мысль. Шум, гром, крики, огни, какое-то бешенство простых, стихийных сил.

— Скорци, *carissimo Scorzi!* — кричала Джулия. — Денег, денег сюда! Какая же *Festa* без денег!..

— *Subito, Subito, Signora!* — и в одно мгновение несколько слуг тащут большие мешки, полные чентезимов. Джулия схватывает целые пригоршни их и с неистовым криком начинает бросать в толпу. С оглушительным ревом кинулись эти голодные звери на деньги, забывая об фейерверке, иллюминации и обо всем, что тешило их с минуту тому назад.

Джулия сама походила на бешеную вакханку. Она с каким-то самозабвением разбрасывала полные пригоршни медных монет и неистово кричала. Вдруг ее голос оборвался на самой высокой ноте. Она пошатнулась и, схватившись обеими руками за грудь, удуш-

ливо закашлялась. Я бросился ее поддерживать. Она закрыла платком рот и с полминуты судорожно кашляла и билась на моей груди. Праздник, по крайней мере на балконе, оборвался. Все притихли и с недоумением смотрели на этот припадок жестокого кашля. Наконец, он кончился. Джулия отняла платок от рта. Платок был в крови.

— Джулия! — вскричал я, — это сумасбродство, ребячество! Как можно так тратить жизнь... Ты не из железа!

— Нет, — прошептала она, тяжело дыша и улыбаясь сквозь слезы. — Я из крови, и она лезет наружу... И для нее *gran Festa!*.. Это фейерверк жизни!..

## V

На другой день я перевез Джулию в город, где она наняла чуть не целый бельэтаж в *albergo Gran Bretagna*. Ею снова овладел один из припадков полного упадка сил, вероятно вследствие быстрого потрясение, перехода от подавленного состояние к бешеному возбуждению. Два дня она лежала в полном бессилии, едва двигаясь, с трудом произнося отрывочные фразы сквозь конвульсивно стисну-

тые зубы. Я разумеется окружил ее самыми изысканными заботами. К сожалению, во Флоренции, в прежнее время, нельзя было найти сколько-нибудь сносного доктора. Я случайно попал на добросовестного немца, который все лечение свел к предоставлению организма его собственным силам и организм восторжествовал над болезнью. На третий день, к вечеру, Джулия видимо окрепла; припадок исчез. Она встала, на лице выступила краска, на губах грустная улыбка, глаза тихо засветились довольством вернувшейся жизни. В такие минуты весь ее организм как будто перерождался. Она вся точно уходила куда-то внутрь, и там к чему-то чутко прислушивалась, что-то наблюдала, чего-то ждала. Брови ее высоко приподнимались, глаза смотрели кротко, задумчиво, неопределенно. На губах неподвижно стояла грустная улыбка. Даже склад, овал всего лица как будто изменялся. Вместо широкого с немного выдавшимися скулами— оно становилось таким вытянутым, — вытягивался нос и становился тоньше, вваливались щеки. Одним словом, это была другая Джулия. Но кто бы мог решить — в

какие минуты она была лучше! В те ли мгновение, когда лицо ее зажигалось непобедимым вакхическим увлечением и сверкало ослепляющей, сладострастной красотой, или в эти минуты успокоение, когда необыкновенно милые тени грусти и думы ложились на это кроткое, доброе лицо. Ольд-Дикс, который заходил к нам по пяти раз в день, был поражен этой невиданной им переменой. Он высоко приподнял брови, как будто остолбенел, когда Джулия вышла к нему и с кроткой улыбкой протянула ему еще дрожавшую, похуделую руку.

— Вот!.. Вы воскресли! — сказал он, не спуская с нее изумленных глаз.

— Вернулась к наслаждениям жизнью — пояснила она тихим, ослабевшим голосом и опустилась, уселась, полулежа, на восточном диване.

Ольд-Дикс также присел на кресло, вертя в руках шляпу и продолжая смотреть на нее теми же удивленными большими, немигающими глазами.

— Вам надо беречься — он совершенно прав. — И он кивнул головой на меня...

— Зачем? — спросила она.

— Чтоб наслаждаться жизнью.

Она тихо покачала головой.

— Нет!.. Кто бережется, тот не дорожит жизнью... Жизнь только тогда хороша, когда ее проматываешь, прожигаешь... Что же может быть приятного в связанной жизни?.. Не пой, когда тебе хочется петь... Не спи, когда так хочется спать. Не выходи на воздух, потому что он холоден... Нет! я не понимаю такой жизни.

И она хотела пожать плечами, но вся нервно, быстро вздрогнула и улыбнулась своему бессилию...

— Поберегите по крайней мере теперь себя; хоть в этот вечер... — сказал он, быстро вставая... — Я завтра зайду к вам...

— Нет!.. Не убегайте, — проговорила она, быстро схватив его за руку... — Мне хочется наслаждаться... Знаете ли?.. Жизнь состоит из бурных и тихих наслаждений... Надо только ими пользоваться... И вот для меня в сегодняшний вечер настала пора таких наслаждений... Теперь внутри меня так тихо, покойно, точно в ясную ночь... Мне хочется любить

всех, все... Немножко хочется плакать... от избытка чувств... Нет, не уходите! Тихие наслаждение такая редкость в жизни. Надо ловить их... а ты садись тут... и она указала мне табурет у ее ног. И мне будет так уютно, покойно, как в тихом уголке, и она поджала ноги, вся закуталась в ее белый, широкий, настоящий алжирский бурнус, и прислонила голову к спинке-подушке дивана...

— Вы мне что-нибудь расскажите... непременно расскажите что-нибудь простое и хорошее... я буду вас слушать, так тихо, тихо, тихо... точно мирный, покойный стук часов... Оставайтесь! — прибавила она, когда Ольд-Дикс стоял в раздумье, тихо вынула шляпу из его рук и положила ее на диван.

Он посмотрел на нее задумчиво, заложил руки за спину и несколько раз прошелся по комнате. Это всегда бывало с ним, когда какая-нибудь мысль волновала его.

— О чем же я буду вам рассказывать? — вдруг резко спросил он, остановившись и обернувшись к ней. — О том, что в каждом человеке два человека, а не один?

О том, что в нашей натуре две дороги: в по-

ложительную и отрицательную стороны? Да это вы верно знаете. Это до меня прекрасно высказал Гете. Вы понимаете по-немецки? — И, не дожидаясь ответа, он откинул голову назад, протянул свою длинную руку вперед и начал декламировать, неистово коверкая произношение на английский акцент:

*«Zwei Seelen fühl ich, ach, in meiner Brust!..»*

*(Ах две души, две вражеские тени  
Живут во мне, живут в моей груди!*

*Одна, любовью земною,  
Срослась с землей, цепями бытия,  
Другая, светлую мечтою,  
Стремится к прадедам, в небесные края).*

Только вот это последнее стремление идет так высоко, но за то идет ужасно далеко, в неизмеримую даль будущего. — И он энергически махнул рукой.

— Послушайте, — вдруг начал он, быстро сядясь возле Джулии. — Если б вы знали, как бедны, как ничтожны наши наслаждение! Все это не более как дрожание нервов. Одни

бурные, бешеные — это неистовое allegro — это presto-prestissimo-furioso другие — тихие, нежные. Те и другие должны сменять друг друга взаимно. Такова уж натура человека, и вы представляете самые резкие, болезненные крайности этих двух сторон... Это день и ночь человеческих чувств.

— Ты, кажется, хочешь прочесть нам лекцию физиологии. — заметил я... — Но едва ли она доставит «тихое наслаждение...»

— Нет, пожалуйста! — перебила меня Джулия, быстро схватив мою руку... — именно в такие минуты я готова все слушать и... понимать. Я мало училась, но я много могу понимать... именно в такие минуты «тихих наслаждений...» Да, я понимаю, что даже наука может доставить тихое наслаждение...

— Да! — сказал Ольд-Дикс внушительно и смотря на нее в упор. — Это одно из высших, настоящих наслаждений... Но многие ли умеют им пользоваться?!.. — И он пожал плечами. — Оглянитесь кругом. Все ищет чувственных наслаждений, все стремится раздражать свои нервы... И так как они еще очень грубы, то и раздражение должны быть грубы и рез-

ки. Кому можно растолковать, кого можно убедить теперь, что эти наслаждение ничтожны в сравнении с теми, которые даст нам будущая, правильная жизнь человечества, взятая с бою, упорным трудом. Наши отдаленные потомки будут дивиться настоящим наслаждением человечества, как мы теперь дивимся рыцарским турнирам или уродливым, допотопным животным. Все наши наслаждение, это — какой-то бред безумия, какая-то дикая оргия, неистовая вакханалия. И это не может быть иначе. Вся жизнь, вся обстановка неизбежно приводит к тому. Удовольствия человека должны быть безумны. С одной стороны, он обременен непомерным трудом — нелепым, противным, бесчеловечным, а с другой — он мучится припадками бездействия и общего недовольства... И вот где причины постоянных войн, постоянных взрывов накаплиющихся газов общественно-го брожения. Довольному человеку только кажется, что он доволен, в сущности, ад fond du coeur — он озлоблен и на жизнь, за которую надо цепляться, и на своих братьев, в особенности голодных, против которых надо посто-

янно носить оружие... Нет! свободного наслаждение точно также еще не знает человечество, как и свободного труда!

— Ну! — резко перебил я его, — ты теперь ударился в социологию и начинаешь проповедовать вещи, всем давно известные, которые были от начала века и будут до конца его...

— Нет! — вскричал Ольд-Дикс... — ты, — он остановился и как будто запутался в слове, что с ним всегда бывало, если его быстро перебивали. Вообще он был плохой спорщик, хотя и говорил плавно и красиво, — ты... не перебивай меня... дай высказаться... Мир изменится непременно, радикально изменится. — И он постучал пальцем в грудь, как будто давая этим знать, что это его твердое сердечное убеждение... — не потому он изменится, что люди, наконец, поймут, что так жить нельзя, что они также страдают, как животные, но на том пути, по которому они идут, есть прогресс, мало того, есть улучшение... Это ничтожное обстоятельство становится поражающим, если мы оглянемся назад и посмотрим, что оно сделало в течение долгих,

долгих тысячелетий... Как! из простых явлений, из камня, слизи, из едва заметного пузырька жизнь прошла целый ряд форм для того, чтобы выразиться в человеке. Когда подумаешь, как длинен этот ряд, каких форм в нем не отыщешь, то голова кружится от одного этого разнообразия!.. И в виду этого — думать, что развитие сказало свое последнее слово в человеке! — Какое жалкое самообольщение! Какой детский, близорукий самообман!.. Нет! человечество пойдет дальше — непременно, непременно!.. Сперва физически, потом нравственно, умственно... потому что на последнее нужно гораздо больше труда, работы. В общих чертах без сомнения люди будут сходны с их теперешними, настоящими грубыми предками. Но состав их, самые элементы тела будут другие! Уже нынче мы видим в белом племени значительное изменение, удивительную белизну и прозрачность кожи. В отдаленном будущем эти признаки усилятся; разовьются... и, если мы овладеем самым составом тела... то ничто не мешает нам сделать его легким, прозрачным и прочным...

— Ты делаешь скачек, — опять перебил я его. — Ты забываешь, что белое племя выработалось помимо людей, силами природы и что у нас нет никаких данных для того, чтобы сказать, что мы будем «владеть» когда бы то ни было составом нашего тела...

— А!.. Скептицизм знания!.. Это в порядке вещей. Да при настоящем положении науки — оно иначе и не может быть, ничего другого, кроме полнейшего скептицизма, недоверия в проникающие силы ума и опыта... И все это потому, что наши передовые братья, ученые, очень мало заботятся о лучшем устройстве жизни. Они заботятся только о себе и трудятся для самоудовлетворения. Они ищут истину ради истины и вовсе не заботятся о постройке жизни. О! если бы они взялись за это дело серьезно, искренно, тогда многое для нас сделалось бы доступным и возможным... Но куда!.. Ведь изучать какие-нибудь щетинки морских червей гораздо легче и приятнее, чем разъяснить какую-нибудь сторону жизни...

Он махнул рукою, быстро поднялся с кресла и опять начал ходить по комнате, заложив

руки за спину. Он очевидно попал на любимого конька, с которого ему трудно было спуститься, и я предоставил ему ехать на нем с полным удобством. Джулия полудремала под мерный шум его речи...

— И вот поэтому-то самому, — продолжал он ходить и проповедовать, — и явился скептицизм, явилось мнение квиетистов, лентяев, — мнение, что нашим силам недоступны общие явление, что нам никогда не суждено овладеть ими. Эти господа учат, что на всем, что ушло от нас в глубь и мрак прошедшего, на всем на этом лежит запретная печать, что мир неорганический вне нашей власти, что мы не можем им распоряжаться и золото останется вечно золотом, для того вероятно, чтобы человечеству было удобнее выливать из него золотого тельца и поклоняться ему...

— Что ж, ты хочешь воскресить алхимию?

Он обернулся, остановился на мгновение и снова начал ходить.

— И откуда взялось у них это мнение, этот скептицизм? — продолжал он. — Кто им сказал, что мы не будем владеть силами природы? Вся эта близорукость идет из двойствен-

ности человеческой природы. На все мы смотрим, с одной стороны, слишком узко, а с другой слишком широко. И середины тут нет никакой. Точно ножом обрезали. Вкусив от плода знание малейшую частичку, мы уже думаем, что съели весь плод и бессильно говорим: и дальше будет то же и весь плод таков. Да помилуйте, *Signori doctissimi, iiiustrissimi*, будьте же последовательны, ведь вы узнали только одну альфу— и смело говорите, что дальше ничего нет и не может быть кроме той же альфы... Ну! а с другой стороны мы страшно самолюбивы; открыв частичку света, мы думаем уже, что весь он перед нами, во всем блеске. Мы ослеплены им, возвеличены и с гордостью называем наш век— веком необыкновенных открытий, веком прогресса. Х-ха! Какое жалкое самохвальство. Римляне и греки также называли их век — веком прогресса, Мавры — век халифов, Египтяне — век фараонов. Мы идем вперед и сами себе не верим, какие громадные, гигантские шаги мы делаем. А на самом деле, как прикинуть к этим шагам мировой масштаб, то они окажутся короче куриного носа. Что мы действи-

тельно сделали, чем мы имеем право гордиться?.. Наша гордость, — сказал он, вдруг останавливаясь передо мной, — идет оттого, что мы слишком отданы настоящему современному, мы слишком полны им. У нас нет сил отрешиться от условий века, подняться выше его и посмотреть туда, в неизмеримую даль будущего... Как жалки, ничтожны покажутся нам наши открытия и успехи!.. Да с этой высоты весь наш прогресс со всеми его научными знаниями покажется чем-то в роде мышшиной норки, маленькой и темной... Мы тогда почувствуем, вместо гордого простора, такую давящую тесноту, что все невольно запросят выхода. Но и без того необходимость этого выхода чувствуют уже все... Оглянись кругом, разве всем не стало тесно? И это не нравственное требование, а чисто научное. Люди понимают смутно, — обрати на это внимание, — они смутно чувствуют, что надо что-нибудь сделать, что пищи не хватает, воздуху недостает... Они инстинктивно предчувствуют, что мир накануне великого научного открытия, которое поведет его вперед... И может быть это открытие лежит не в прихоти

случая, но в верной, глубокой, совершенно новой и своеобразной оценке старых знаний!.. Да! я в этом глубоко убежден, я почти это знаю...

— Ты, однако, пророчествуй, — прошептал я, — да не так громко... — и молча указал на Джулию.

Откинувшись на спинку дивана, она спала крепким, добрым сном, ее улыбающееся, довольное лицо стало удивительно кротким и детским, а вся поза представляла грациозную, симпатичную картинку. Матовый свет лампы ровно и нежно скользил по всей ее белой фигуре и едва заметным, затушеванным пятном выдвигал ее красивую, откинутую назад голову. Ольд-Дикс видимо любовался на нее и его лицо изменялось. Оно становилось также добрым, детским и симпатичным. Но сквозь это простое, доброе выражение скользила грусть или оттенок страдание, никогда его не покидавший.

Простояв несколько мгновений, он как бы нехотя отвернулся, посмотрел на часы, взял шляпу, которую я переставил с дивана на стол, и протянул мне руку.

— Не буди ее! — прошептал он. — Ей нужен теперь больше всего покой и крепкий сон. — И он на ципочках пошел вон. Я пошел за ним.

Пройдя два салона, он вдруг остановился и снова принялся за пророчество.

— А знаешь ли? — сказал он — Люди, кажется, начинают понимать, хотя смутно, что так жить нельзя?.. Но разумеется от этого понимание до дела еще громадный шаг, в несколько сот, может быть, тысяч лет. Необходимо дружное, общее усилие, а где его возьмешь? Мы далеки еще, слишком далеки от того периода, когда у всех будет одна мысль и одно чувство. Мы теперь еще в периоде процесса разделение, раздробление того и другого... и мы только еще вступаем в этот период всеобщего разъединения, обособления. Мы теперь груда камней, которые разбиты на множество самых разнообразных кусков. Придет же время, когда это раздробление достигнет до предела и тогда вдруг откроется, что все это обособление только кажущееся, что в основе лежит одна общая, связующая мысль, один мировой закон, и все это разно-

форменное дробление, не более как разные части, разные стороны одного удивительно сложного явления, подчиняющегося этому закону... И вот, когда настанет это блаженное время, тогда люди совершенно прозреют, пелена спадет с глаз, и для них вполне станет ясно, что все они, без изъятия, от мала до велика, должны трудиться, чтобы устроить свою жизнь.

— Мне кажется, что и теперь они устраивают ее, по возможности... И теперь мысль об общественности, об ее целях, захватывает более и более места в понятиях и стремлениях общества...

Ольд-Дикс ничего не ответил, он посмотрел на меня, широко раскрыл глаза, потом тихо отвернулся, потер лоб рукой, нахмурился и задумчиво пошел далее, но в следующем салоне он опять быстро остановился и схватил меня за руку.

— Ты меня не понимаешь, — начал он нервно, отрывисто, с несвойственной ему живостью. — Ты меня совершенно не понимаешь. Люди и теперь смутно догадываются, что надо устраивать жизнь... Но кто же ее

устраивает?.. Пропагандистов много, но где же работники?!.. Да если б они и были, то не об них я говорю. Масса, масса вот что важно, пойми ты это. Важно то, чтобы вся эта масса, — пожалуйста вразумись, — вся эта масса прониклась не мыслью, не сознанием, что надо устроить жизнь, но желанием, чувством; чтобы это желание стало органической потребностью, вожделением... А на это нужны века, нужна радикальная переработка человеческой природы. Ведь человечеству вот уже восемнадцать с лишком веков и твердят, и долбят: «Люби ближнего, как самого себя», а его натура, всей ее кровью, всеми нервами, восстает против этого обезличивающего принципа... Когда же эта натура, наконец, не только поймет, но выработает внутри себя одно страстное, упорное органическое стремление, жить в другом я, тогда все на перерыв, друг перед другом в запуски, примутся за работу. Тогда настанет век упорного, циклопического труда и самый труд сделается истинным наслаждением.

— Ну! Этот трудовой период будет только заветной мечтой утопистов и оптимистов в

роде тебя... а на самом деле он, может быть, тогда настанет, когда земля кончится...

Он пристально посмотрел на меня.

— Ты истый сын земли, — сказал он, — а прогресс есть явление мировое, вездусущее... Ну лопнет или замерзнет наша планетка, — эта одна из бесчисленных клеток мироздания, — разве с ней вместе кончится жизнь этого мироздания?.. Да наконец разве люди будут вечно, неразрывно связаны с землей?..

Теперь я в свою очередь посмотрел на него «большими глазами», как говорят французы.

— Ну, об этом долго говорить, — сказал он, взглянув на часы... — Уже поздно!.. Когда-нибудь побеседуем и об этой статье... Прощай!

Он крепко пожал мне руку и быстро пошел вон, нахлобучив шляпу, по обыкновению, назад. Я пошел за ним, в коридор, на лестницу. Дойдя до первой площадки, он опять остановился и, натягивая перчатку, снова заговорил:

— А оптимизмом ты не брезгуй! Это единственный и прочный светильник. Знаешь ли, есть две веры? Одна слепая, а другая зрячая. Это не вера, а знание, которое держится на

убеждении, на чувстве, и вот эта-то вера живет во мне — и живет в каждом человеке, думающем и чувствующем...

Я проводил его в широкие сени, и мы вышли на крыльцо. Мне хотелось подышать теплым воздухом флорентийской ночи. Улица была почти пуста, фонари ярко горели. Где-то вдали стучали колеса по каменным плитам. Над высокими домами опрокинулось тёмно-синее, глубокое небо и все оно горело яркими, трепещущими звездами...

— Вон! — сказал Ольд-Дикс, указывая на эти звезды: — видишь сколько их, этих солнц, вокруг которых вертятся невидимые пилюльки, такие же крохотные, как наша землячка... И каждый человек, на этих пилюльках, также ставит себя в центр всего мира и также рассуждает, как ты... самопривилегированный землежитель!..

Сказав это, он улыбнулся, кивнул мне головой и быстро пошел, громко стуча по каменным плитам тротуаров.

Я опять посмотрел вверх. Звезды также ярко горели. Одни мерцали красноватыми огнями, другие светились тускло, ровным светом,

третьи — вспыхивали, как маяки, то разгораясь, то замирая...

«Этакая таинственная, недостижимая бездна» — подумал я невольно...

## VI

На другой день снова настал период «бурных наслаждений». Уже сквозь сон до меня долетел шум какой-то возни, хлопотни. На дворе было ясное, жаркое утро. Via Tortoni шумела и голосила.

Я вошел в уборный салон. Джулия в кружевном неглиже, ясная, цветущая, сияла как южный, жаркий день.

— А! Signore Sonmambulini! — вскричала она, хлопая в ладоши. — Bravo, bravi! Вот и вы просияли... А я уже распоряжаюсь.

И действительно: перед ней, слегка наклонясь, стоял Скорци, и на все ее распоряжение живо бормотал, делая уморительные жесты:

— Si, Si! Si, Exellenza. Si! Si! O! Cabito, cabito! Понимаю, все понимаю!..

— Джулия! — вскричал я, подходя к ней. — Ты кажется опять хочешь дурачиться!?.

— Нет! My dear amico! (мой дорогой друг!) — сказала она, с наивной улыбкой ре-

бенка, — я только хочу отпраздновать день моего выздоровление. Разве ты не рад моему выздоровлению? Не бойся, мы повеселимся, *ma delicato! delicates!* (но потихоньку! потихоньку!).

Я махнул рукой и предоставил «периоду бурных наслаждений» делать свое дело.

Целый день прошел покойно и весело. Она еще очевидно не совершенно оправилась от припадка. Еще нервы были утомлены и требовали покоя.

Мы обедали в нашей компании, которую Джулия назвала *Compania di sampragna*. Дон Хуарос очевидно был влюблен в Джулию до конца ногтей. Он весь сделался бархатным и сладостным до приторности, так что Джулия предлагала его всем — вместо ликера. Панчери был бесконечно мил, остер и умильно любезен. Даже Антонио просиял, вышел из-за туч, как-то пригладился и сыпал парадоксами. Синьоры Дольчи были просто веселы без конца. Что касается до Ольд-Дикса, то он, напротив, сделался необыкновенно угрюм и рассеян. Я несколько раз ловил его пристальный, вопросительный взгляд, обращенный

на Джулию. Он очевидно искал в ней другую, вчерашнюю Джулию, с ее жаждой «тихих наслаждений» и не находил даже следа того, что было вчера.

Обед протянулся долго. Солнце уже низко спустилось. Около гостиницы, на улице усилилось движение. Как-будто собиралась толпа и ее говор становился гуще и громче. Но весь этот шум скрадывала наша собственная шумная болтовня. Вдруг раздались удивительно полные, все заглушавшие торжественные аккорды музыки. И в то же мгновение в залу ввалила целая толпа театральных пейзапов и пейзапов, в национальных флорентийских костюмах. Это был народ свилл, который явился благодарить Джулию за ее Gran Festa, вероятно с твердою уверенностью, что ricca forestiera устроит еще такой же праздник. Все они несли букеты, все были убраны лентами и начались шумные, бесконечные поздравление и благодарности. Мы с Ольд-Диксом подошли к окну, взглянули на улицу и переглянулись. Почти вся улица была заставлена колясками и в каждой коляске стояли корзины с цветами. Отель, насколько можно

было видеть из окна, был убран гирляндами и флагами.

— Ну! Достопочтенные Signor'и, — сказала громко Джулия, — теперь, если вам угодно, то мы отправимся кататься.

И все шумною толпою двинулись и при криках: «E viva! viva bella Julia!» вышли на крыльцо отеля.

На крыльце почтительно стояли все слуги отеля. У каждого в петлице был букетик бутонов из роз. Даже швейцар украсился огромным букетом из *Roses de Bourbons*.

Народ и мальчишки цеплялись за ступени высокого крыльца, за выступы подоконников.

Перед крыльцом стояла коляска, запряженная восьмериком красивых лошадей. Все они были убраны гирляндами из цветов и страусовыми перьями. Кучера и вершники, в живописных атласных, белых костюмах, украшенных серебряными галунами, также были все убраны цветами и лентами. Вершники держали в руках нечто в роде длинных тирсов, убранных лентами и обвитых виноградом. Сама коляска представляла род колес-

ницы, увешанной гирляндами и венками.

Как только мы появились на крыльце, вся толпа заволновалась, замахала шляпами, и с неистовым, неподдельным восторгом все разразилось криками: «E viva! viva!», которые заглушал оркестр-монстр, по крайней мере, из двухсот музыкантов, стоявших вокруг коляски и дудевших в медные трубы из всех сил своих легких.

Мы уселись в коляски. Оркестр также поместился в колясках. Целая улица была наполнена ими. При восторженных криках мы тронулись в путь. Я оглянулся назад. За нами тянулся целый громадный кортеж. Насколько мог захватить глаз в даль — все виделись нарядные, разубранные цветами коляски, наполненные разряженным народом.

Полицейские думали было задержать этот веселый кортеж, недоумевая, не будет ли он политической демонстрацией, но... веселье заразительно, в особенности для итальянца — и полиция принялась вместе со всеми аплодировать и кричать неистово: *é viva!*

Мне казалось, что вся Флоренция высыпала на улицы смотреть на небывалую процес-

сию и на наш чудовищный праздник. Всюду открывались окна и почти из каждого выглядывали любопытные головы и головки. Отовсюду махали платками и кричали: *é viva! viva!*

Мы проехали чуть не по всей Флоренции и затем отправились на окрестные виллы.

Мы успели побывать только в четырех или в пяти виллах, но в каждую из них мы врывались бурным потоком. Хозяева, изумленные этим неожиданным нашествием, не могли удержаться от заразительного, захватывающего веселья — и отдавались ему с детской готовностью. На каждой вилле мы танцевали котильоны, тарантеллу и всякие безумные танцы. На каждой вилле мы устраивали иллюминацию и сжигали фейерверки.

На восходе солнца мы повернули назад. Музыканты устали. Наш кортеж значительно убавился. Джулия, утомленная, бледная, но довольная, спала, прислонясь к моему плечу и тихо улыбалась сквозь сон. Напротив нас, на скамейке, ехали Ольд-Дикс и Антонио. — Поэт был в ударе, в возбуждении и целую дорогу декламировал экспромты, в которых вос-

певал наслаждение жизнью. Когда мы вернулись в отель, то он развалился на одном из диванов и заснул как убитый.

Ольд-Дикс весь вечер был сумрачен и почти не спускал глаз с Джулии. Раза два она ловила этот взгляд — страстный, задумчивый, и вопросительно взглядывала на меня.

На другой день она опять слегла. Снова наступил период тяжелого нервного утомление — и продолжался дня два. Ольд-Дикс заходил раза по три на дню осведомляться о здоровье Джулии. На третий — он пришел вечером. Джулия встала, ее лицо опять переменилось. Это была Джулия «тихих наслаждений». Она грустно улыбнулась и протянула Ольд-Диксу дрожавшую и похудевшую руку.

— Вот что значит злоупотреблять жизнью и ее наслаждениями, — сказал он с сожалением, любуясь на нее.

— Это уж он читал мне наставление, — сказала она слабым и тихим голосом, и кивнула на меня головой.

— Вам нужен теперь безусловный покой.

— Это мне говорил также доктор... даже сегодня. И я буду наслаждаться этим покоем... в

волю... в могиле.

Ольд-Дикс пожал плечами.

— Какое же наслажденье в могиле?! — про-  
бормотал он. — Наслажденье — в жизни, а не  
в смерти!

— Вот, — сказала Джулия, — доставьте мне  
«тихое наслаждение», как тогда... Когда это  
было Эдгард? Я уже не помню... третьего или  
четвертого дня... Расскажите мне что-ни-  
будь... о вашей жизни, о вашей молодости.

— Вот он знает! — указал он на меня. —  
Мы вместе с ним воспитывались в Иттонской  
школе.

— Нет! Расскажите мне о вашем детстве...  
Мне трудно представить себе вас ребенком...  
Я думаю вы были очень оригинальный ребе-  
нок.

Он пристально посмотрел на нее и тотчас  
же нахмурился и отвернулся. Она лежала на  
оттоманке, и вся была олицетворенное вни-  
мание.

Он медленно поставил шляпу на стул и сел  
на табурет, прямо против нее и возле меня.

— Вы просите рассказать вам о моем тяже-  
лом, несчастном детстве, — сказал он. — Гово-

рят, что все прошедшее мило сердцу. Я не могу этого сказать о моем прошедшем. Оно невыносимо тяжело и грустно. Но вы хотите, чтобы я вызвал его из моего сердца. Извольте! Для вас я это сделаю. Слушайте! — Он нахмурился и провел несколько раз рукой по лбу и по закрытым глазам и начал:

— Представьте себе ребенка, заброшенного в лесную глушь, посреди гор, обросших сосновыми лесами и предоставленного совершенно самому себе. Такова была обстановка вашего покорнейшего слуги в его детстве. Я был для моей семьи каким-то фамильным пятном. Среди целого поколения баснословных красавиц, атлетов, которые могли бы служить моделью для художника — блестящих, гордых, чопорных — вдруг рождается существо слабое, хилое, уродливое... Говорят, на меня, на маленького, нельзя было смотреть без смеха и сожаление, до того я был уродлив, с моей огромной головой, горбами, длинными рученками, глазами на выкате и широчайшим ртом.

— Воображаю! — вскричал я. — Красив был мужчина!

— Я удивительно напоминал галчонка, выпавшего из гнезда и меня, как галчонка, забросили в дальний угол, в лесную глушь, на руки к управляющему одним из шотландских имений, в Айльтони. Управляющий сразу понял, что от меня хотят отделаться и немного заботился обо мне. Он поручил уход за мной деревенской бабе и был очень покоен на мой счет. Баба оказалась сердобольным, добрейшим, толстым существом. Она меня пичкала всякою дрянью и оставляла по целым дням на песчаном бугре, на солнце. Может быть это обстоятельство и укрепило меня. Ведь сажают же рахитических детей голых на песок.

— Да! — подтвердил я. — Это средство практикуется и до сих пор.

— Мое отшельничество продолжалось целых восемь лет и во все это время я только раз, один раз, видел мою мать. Отца моего я никогда не видал. Раз, неожиданно для всех, приехала карета, запряженная шестеркой сильных лошадей. Из кареты вышли три дамы. Мы все, деревенские мальчишки, глазели на такое невиданное чудо, и я был впереди всех: — оборванный, запачканный, ничем не

отличавшийся от других. Но меня отличили. Управляющий подвел меня к одной из дам, очень красивой женщине, высокой, одетой в кружевах и батисте. Это была моя мать. Она побоялась дотронуться до меня, даже в перчатке. — «Так вот он какой! — сказала она. — Маленький Джон. — Она рассматривала меня в лорнет, как невиданного зверя. — Он очень поправился! А вы водите его прилично! Смотрите он весь запачкан!» — Управляющий пожал плечами: На него не напасешься! — сказал он. — Целый день багет, все рвет, все пачкает. Все дети от него терпят, всех бьет. Такой уж шаловливый мальчишка!» — Мать пробыла в имени три дня. В эти три дня она желала меня выдрессировать. Но я был настоящим диким зверенком. В первый день я терпеливо сносил все, что со мной делали. На другой — показал зубы и когти. На третий — совсем обзлился, убежал в лес и забился в трущобу, из которой меня добыли уже по отъезде матери. Она умерла, когда мне минуло девять лет. Отец прислал мне двух гувернеров и этим покончил свои заботы обо мне. Гувернеры занимались со мной мало и неохотно, так что мне

была полная воля наслаждаться моей свободой. Я жил как дикарь, в лесу, полуцивилизованную, полуживотную жизнью. Но тут случилось обстоятельство довольно странное, которое я не умею объяснить... Я влюбился! Право я не могу иначе назвать моих чувств и моих отношений к одной двенадцатилетней девочке.

И он замолчал и развел руками.

— Что же? продолжай! — сказал я. — Это интересно. — Джулия слушала с страстным вниманием.

— Это была дочь, — продолжал Ольд-Дикс, — одного из соседних фермеров. Ее звали Лилли. Она была больная, чахоточная девочка, которая, как и я, пользовалась полной свободой. Она так же постоянно бродила по лесу, где мы встретились с ней во время одной из ее прогулок. Если бы мне показали невиданного зверя — я был бы менее поражен, чем при виде этого милого, тихого создания. Она мне казалась чем-то неземным, нездешним и, словно по ошибке, очутившимся в моем лесу — я называл Айльтонский лес моим лесом. — И вот эта встреча имела уди-

вительное влияние на всю мою жизнь... Мы скоро сблизились, сдружились и по целым дням проводили вместе. Она рассказывала мне сказки или напевала шотландские песни. Она пела их вполголоса, таким тихим, нежным голоском. Иногда мы плели венки и гирлянды и развешивали их по кустам и деревьям. Первые уроки понимания жизни я получил от нее... Так прошло целое лето и зима. Зиму мы обыкновенно проводили в большой кухне, на ферме, перед громадным камином. С весной ей стало тяжелее. Она с трудом двигалась, опираясь на мою шею. — «Лилли! — просил я ее. — Моя милая Лилли, не умирай! Ты оставишь меня одного в этом лесу, и я умру с горя!» И горячие, хотя детские, но едва ли не самые искренние, слезы катились тогда по моим щекам. Моя мольба осталась, разумеется, тщетной и моя Лилли умерла на моих руках. — Ольд-Дикс замолк и голос его слегка задрожал. Он отвернулся.

Джулия схватила его руку и крепко пожала ее.

— Воспоминанье еще свежо до сих пор, — заговорил Ольд-Дикс, — и я думаю никогда не

состарится... — Да! я знал любовь, только будучи ребенком... Лилли так легко, весело рассталась с жизнью, улыбаясь и тихо напевая старинную балладу о том, как сестра Угба прощалась с своим братом Ольмом. Песня замерла и оборвалась... Тихий вздох вылетел из ее груди и ее не стало... «Лилли! Лилли! — вскричал я, — зачем ты умерла!..»

И он опять замолк и несколько секунд сидел молча, угрюмый и нахмуренный.

## VII

— Несколько дней я не помнил себя, — так начал опять Ольд-Дикс, — и если бы это состояние продолжилось еще один день, то меня, наверное, отдали бы в дом сумасшедших... Я очнулся в Лондоне. Все было дико, незнакомо мне. С этих пор все переменилось снаружи и внутри меня. Снаружи меня окружали учителя и гувернеры; внутри, когда я оставался один, я постоянно думал только об одном: как умерла Лилли и отчего она умерла? Эта мысль сделалась моей *idée fixe*, и мало-помалу перешла в другую. Я стал думать: почему все люди умирают и нельзя ли сделать так, чтобы они не умирали?

В загробную жизнь я не верил — даже в детские года... Но, странное дело, я верил, что Энох был переселен на небо... Но куда же? На небо?!.. Несколько позднее, я все эти верования бросил и забыл, как ребячьи грезы. Но Лилли, моя бедная Лилли не выходила из моей головы. Я часто видел ее во сне и всегда просыпался со слезами на глазах. В Иттоне, в первый раз я засел за книгу и, по мере чтение, что-то весьма неопределенное начало мелькать в моей голове. Я стал более и более верить в могущество прогресса и знание... и наконец, дошел до моих убеждений...

Он вдруг остановился, замолк и посмотрел на Джулию. Она как будто спала, но только что он замолк, как она открыла глаза, схватила его за руку и заговорила.

— Нет! Продолжайте! продолжайте! — заговорила она... — Скажите мне дойдут ли люди до того, чтобы не было горя и зла, и чтобы жизнь их была одно вечное наслаждение без конца?

Ольд-Дикс с уверенностью кивнул головой.

— Это мое кровное убеждение, — сказал

он.

— Как! — вскричал я. — Ты думаешь, что люди дойдут наконец до бессмертия!.. Но ведь это только твоя фантазия.

— Когда состав нашего тела изменится, — сказал внушительно Ольд-Дикс, — то что же помешает ему быть вечным... Как вечен воздух, эфир... Как вечна вся материя...

Я пожал плечами.

— Если люди будут воздушными, — догадалась Джулия, — то они будут летать по воздуху.

— О! непременно, непременно! — вскричал Ольд-Дикс. — Я не могу иначе представить будущее человечество, как отделенным, свободным от земли и плавающим в мировом, эфирном пространстве.

— Ах! Как это будет весело! — вскричала Джулия и всплеснула руками. — Я так бы желала летать по воздуху... Как птица, как ласточка... — И в глазах ее мгновенно загорелись искры и также мгновенно потухли.

— Воздух и свет — вот две стихии будущего человечества, — сказал докторально Ольд-Дикс. — Воздух — это среда более материаль-

ная, грубая. Эфир и свет — это среда для более развитых и более успевших. Мне кажется, все в мире рано или поздно можно превратить в световой эфир. — Ведь мир древних растений когда-то горел и оставил после себя уголь. Теперь этот уголь служит нам для топлива и освещения. Продукты его горение можно опять собирать и пускать в оборот. Таким образом является вечное, светящееся *perpetuum mobile*... Солнечный луч, конденсируясь в растениях, не пропадает. Он постоянно превращается в новые формы световых лучей. Но вместо солнечных лучей мы можем утилизировать уголь, как механическую силу пара, и превращать ее в свет посредством электродинамических машин. Рано или поздно, но вся материя непременно превратится в свет. Я в этом убежден... И вот в этих-то волнах неугаваемого, бесконечного света будет проходить жизнь будущих людей.

— Но что же эти будущие воздушные или эфирные люди, — перебил я его, — удержат ли они их теперешнюю форму или и форма их будет другая? Ведь все наше тело организовано для земли?

Ольд-Дикс быстро поднялся с табурета. В моем вопросе он, вероятно, услышал насмешку. Он несколько раз прошелся по комнате, потер лоб и снова сел на свое место.

— Это трудный вопрос, — сказал он тихо и задумчиво. — Из всех отправлений нашего тела только два не имеют прямого отношения к жизни на земле. Это — отправление, в результате которых являются мысль и чувство. Но какая же форма связана с ними!? — И он тихо провел рукой по воздуху. — Ничего!.. Ничего я не могу здесь представить себе... Ведь легенды рисуют же нам образы прекрасных детских головок, с крылышками из небесного эфира... Может быть, люди примут этот образ, а может быть, они останутся верны образу своих грубых, элементарных предков и сохранят его по привычке или из любви к консерватизму... Тут мы ровно ничего не знаем...

Я приложил палец к губам и молча указал ему на Джулию. Она спала мирно и радостно улыбалась сквозь сон. На щеках ее выступил нежный румянец. Тонкие брови приподнялись кверху. Это было лицо счастливого ребенка.

Несколько мгновений Ольд-Дикс любовался на нее. Затем быстро схватил меня за руку, подхватил свою шляпу и на ципочках быстро провел меня через два салона; в третьем он остановился, выпустил мою руку и несколько секунд потирал себе лоб и тяжело дышал.

— Что у тебя?! Болит голова? — спросил я.

— Н-нет... Я должен бежать от вас, — сказал он.

— От кого?! Куда бежать?! Я тебя никуда не пущу.

И я схватил его за обе руки и усадил на козетку, которая стояла подле.

— Объясни, ради Бога, куда ты хочешь бежать? Зачем?

— Я сам не знаю куда... Но надо!.. Надо!.. Нервы!.. И он закрыл лицо руками.

Я тихо отвел его руки. Он зажмурил глаза, но эти глаза были полны слез.

— Джон! Что с тобою? Признайся мне. Доверься старому товарищу и другу.

— Знаешь ли, — проговорил он сквозь слезы. — ее лицо мне удивительно напоминает, удивительно... лицо моей маленькой Лилли.

— Так зачем же бежать?! Джон!.. Оставайся

здесь при ней, а я уеду.

Он вскочил с козетки и порывался уйти, но я крепко обхватил его руками.

— Джон! — говорил я. — Ведь я не люблю ее. Пойми ты это, старый дружище. Она мне так же дорога, как всякое наслаждение мимолетное, опьяняющее. Один раз я бросил ее и теперь так же, я думаю, я расстанусь с нею без сожаления.

Он подвел меня к длинному зеркалу, в котором отражалась вся его коротенькая, горбатая фигурка.

— Смотри! — сказал он, указывая на свое отражение. — Разве может меня любить какая-нибудь женщина?!.. Нет!.. Нет!.. Я мечтатель, фантазер... Я думал... мне казалось, что я давно все похоронил... Все глубоко обдумал и выбросил за борт.

— Джон! Джон! — говорил я, обняв его. — Женщины часто любят, не знаю почему... отвратительных уродов; и чем они безобразнее, оригинальнее, тем они крепче привязываются... А у тебя, посмотри, какое умное, славное, доброе лицо.

— Нет! Нет! Нет!.. Это не может быть! Это

не должно быть! Это регресс, аномалия!

И он вырвался из моих объятий и побежал, размахивая своими длинными руками.

Я бросился за ним.

— Послушай! — говорил я. — Чужаки ты!

Но он уже выбежал в швейцарскую. Все камерьере и лакеи стояли на вытяжку, и швейцар широко распахнул перед ним выходные двери.

Я вернулся к Джулии. Она спала по-прежнему. Несколько минут я смотрел и любовался на ее прекрасное лицо. Я смотрел, как тихо поднималась и опускалась ее грудь, и какое-то довольство обладанием красивой женщиной и сознание собственного превосходства, пред уродливым Ольд-Диксом, невольно шевелилось в сердце.

Какое скверное, эгоистичное животное — человек!

## VIII

На другой день я проснулся поздно и мне подали записку от Ольд-Дикса. Вот что писал он:

«Мой дорогой друг!

«Я уже уехал и мысленно простился с то-

бой. Заочно расцеловал тебя, старый и неизменный дружище! И крепко поцеловал ручку моей второй дорогой Лилли. Когда ты получишь это письмо, я, наверное, буду уже далеко от тебя. На жизненном пути неожиданно для меня встретила станция и задержала меня. Теперь я снова в дороге, в бесконечной дороге. Я ездил до сих пор из желания развлечь себя и излечиться от моего сплина. Теперь я буду ездить, чтобы лечиться от глубокой сердечной раны, которую нанесла мне... Флоренция и от которой, вероятно, излечит меня преждевременная могила.

«Весь твой, верный Джон Сюррисбюри, баронет».

Когда прочла это письмо Джулия, она широко раскрыла глаза, и яркая краска разлилась по ее лицу.

— Что это такое? — спросила она меня, быстро мигая глазами.

— Чудак! — сказал я. — Он влюбился в тебя. Он говорит, что ты удивительно напоминаешь ему его Лилли.

Она отвернулась и несколько секунд простояла неподвижно, тихо перебирая пальца-

ми по столу. Затем быстро схватила мою руку.

— Эдгард! — вскричала она. — едем! Догоним его!.. Скорее! Скорее! — И она вся заволновалась.

Я пожал плечами.

— Если он не написал нам, куда уезжает, то, вероятно, он не хотел, чтобы мы это знали. Зачем же мы будем его искать?

Притом... если страсть его действительно глубока, то он, наверное, даст знать о себе. Он приедет!..

Она задумалась, ее красивые брови то сдвигались, то снова приподнимались. Грудь волновалась. Она теребила скатерть на столе.

Ставка была поставлена. Пересилит ли у нее привязанность ко мне начинающееся чувство к этому оригинальному, уродливому чудаку?

Целый день она была задумчива. Постоянно подходила к окнам, точно кого-то ждала. К нам пришла обедать вся наша *compagnia di campra*. Дон Хуарос был необыкновенно сладостен. Обе Дольчи блестели неподдельным весельем. Панчери был в высшей степени остроумен. Но Джулия была рассеяна, без-

участна и задумчива. Я думал: не зажглась ли уже в ее сердце искра нового чувства? Ведь все женщины очень жалостливы и часто их сожаление разрастается в любовь. При этом всякое препятствие их только раздражает. Но вечером, вдруг, перед нашими окнами хлопнула петарда и раздалась музыка. Целый оркестр играл на улице, целая кадриль пьерро и пьеррет бешено танцевала на широкой панели. Мы тотчас же зазвали всю эту *compagnia di allegrezza* к себе и пошла бешеная потеха. Мы пировали опять вплоть до утра.

Утром я только-что открыл глаза, как Джулия напала на меня.

— Едем, *miò corò!* *Mia anima carissima, miò corò precioso!*

— Куда? Зачем?

— Едем скорее, скорее вон из этой скучной Флоренции!

— Помилуй! Ты так веселилась вчера и на прошлой неделе.

— Нет! Едем! Я здесь умру, утоплюсь!..

— Куда же ехать?

— Туда — на юг, на теплый юг.

И мы отправились в Неаполь.

Дорогой я думал об Ольд-Диксе и о Джулии. «Нет! это не твоя, маленькая, тихая Лилли, — думал я, — это бешеный вулкан, это целое море непостоянства. А ты, мой горбатый философ, решающий мировые задачи, ты не мог решить одного вопроса: может ли сердце женщины, брошенное в омут бурных наслаждений, остановиться и затихнуть на глубокой привязанности к одному человеку?»

И мне стало грустно. Я живо представил себе это задумчивое, симпатичное лицо. Я думал, что наша встреча была последнею в жизни и что мы больше никогда, никогда не увидимся. Но судьба свела нас опять и очень скоро, свела, действительно, в последний раз в жизни.

В Неаполе Джулия подняла на ноги целый город, взбунтовала всю голодную чернь, всех лаццарони. Полиция вежливо попросила нас удалиться, откровенно признаваясь в своем бессилии. И какая полиция может сдержать расходившийся народ, наэлектризованный жаждой к наслаждению?! Festa для неаполитанца — это вторая религия; там праздник неразлучен с культом, там в честь мадонны

зажигаются фейерверки и бенгальские огни. Понятно после этого, что Джулия для неаполитанцев сделалась предметом культа. Довольно было показаться ее коляске на улице, чтобы народ с ревом, задыхаясь, бежал за ней и кричал: *é viva donna Julia, splendida Julia, carissima, sancta, bellissima.*

Бурбоны отлично поняли эту народную страсть к праздникам, посредством трех F — *Festa, Farina* и *Forca*, полновластно управляли Неаполем. Они давали народу бесчисленные праздники (*Festa*), продавали ему для макарон и поленты муку (*Farina*), по произвольным ценам, а недовольных этим порядком вещей они без церемонии отправляли на виселицу (*Forca*).

Из Неаполя мы отправились в Рим, через Фоджио. Дорога эта была весьма опасна, так как горные разбойники грабили без церемонии встречного и поперечного. Но Джулия непременно хотела ехать именно этим путем.

— Я никогда не видала разбойников, — говорила она, — мне кажется, они все должны быть настоящие горные джентльмены!..

Я нанял особый дилижанс. Нанял целый

отряд карабинеров и заплатил вперед порядочную сумму этим «горным джентльменам» для свободного проезда. Но это всё-таки не помогло и не спасло нас от нападения. Около Фоджио какая-то шайка погналась за нами. Ветурин наш пустил лошадей вскачь, но вслед за нами защелкали выстрелы и полетели пули. Две лошади упали — раненые или убитые. Карабинеры начали отстреливаться, но большая часть их ударилась в бегство.

— Стойте! — вскричала Джулия. — Остановись!

— Что ты! — вскричал я. — Сумасшедшая! Нас убьют или засадят в плен и сдерут громадный выкуп.

— Стой! — повторила она громко и настойчиво.

Глаза ее сверкали. Ноздри раздулись. Щеки пылали. Она напоминала мне ту Джулию, которую я увидел в первый раз в игорном доме, в Висбадене.

Ветурин с трудом остановил лошадей. Раздалось еще несколько запоздавших выстрелов, и кто-то сильно дернул и отворил дверцу кареты. Перед дверцей стоял высо-

кий «джентльмен», с окладистой черной бородой, в широкополой шляпе и длинным пистолетом в руке. Джулия легко выскочила из кареты. Я бросился за нею с пистолетами в обеих руках.

— Синьор, — сказала она, обращаясь к разбойнику, — я думала, что вы все... горные джентльмены... Я ошиблась. Вам было заплачено за свободный проезд... Зачем же вы нас останавливаете?!

— Синьора Стэндфорт, — сказал разбойник, — во-первых, не каждый день попадают нам такие жирные, лакомые куски; а во-вторых... мы бедные абруцци... То, что было заплачено, пошло в руки северянам и папской полиции... а мы... мы ничего не получили... пустяк!

— Сколько же вы хотите получить? — спросила Джулия.

Разбойник оглянулся на товарищей. Их было человек пятнадцать-двадцать, и они уже окружили карету. Один толстый, рыжий разбойник шепнул ему что-то.

— Мы желаем получить с вас, синьора, — сказал черный джентльмен, — двадцать пять

тысяч скуди... Это немного для такой богатой особы.

— Да, — согласилась Джулия, — это немного. Это половина всего, что я имею с собой. — И она отперла портфель, который был надет на ней, и вынула два банковых билета. — Вот вам, — сказала она, протягивая один из них разбойнику, — это то, что вы требуете; а вот это — я отдаю вам добровольно, на добрую память обо мне. И она отдала ему и другой билет. Разбойник взял деньги и протянул Джулии руку. Она пожала ее, а он снял свою шляпу и, махнув ей, обернулся к товарищам. И все они вдруг подняли шляпы кверху и неистово закричали:

— *E viva, синьора Стэндфорт! E viva bella e generosa julia!*

— Стойте! — вскричала Джулия. — Стойте! Надо выпить за нашу встречу... Эдгард, мой милый! — обратилась она ко мне по-английски. — С нами, кажется, есть аликанте... Распорядись, пожалуйста, чтобы там на этой площадке разостлали ковер...

— Синьора! — вскричал черный разбойник, который очевидно был предводитель

банды. — Вы наши гости и мы должны угощать вас. У нас есть Asti и Setti Colli. Что прикажете? Que volete?

— Ну, видишь, — вскричала Джулия, — я тебе говорила, что они настоящие джентльмены!

Ковер был разостлан. Мы уселись. Явились и Asti, и Setti Colli. Явилась волынка и два кларнета. Явились, чуть не из-под земли, какие-то две сьоры в альбанских костюмах — обе смуглые брюнетки — и началась бешеная музыка и пляска. Разбойники ходили, обнявшись с карабинерами. Они постоянно подходили к Джулии, чокались с ней и кричали: *é viva, viva, bella julia!*

Над лесом поднялась луна. Мы простились с бандой и уселись в карету. Черный джентльмен и еще двое разбойников проводили нас почти до Фоджио.

В первом городе папских владений ждал нас перевод, на значительную сумму, на имя конторы Винкеля и Комп. Я получил его, для чего мы должны были пробыть целый день в дрянном маленьком городишке. Но в этом городишке был довольно большой монастырь и

почтенные padre выклянчили у Джулии целую тысячу скуди.

— Это за наше спасение от разбойников, — оправдывалась она.

— Хорошо спасение, — пожал я плечами, — которое стоило целого состояния.

И везде, где мы проезжали, Джулия бросала бешеные деньги, то кармелитам, то бенедиктинцам, то картезианцам, то просто каким-то неизвестным благочестивым отцам. Благодаря этому, нас везде встречали и провожали с почетом.

— Джулия, — сказал я, — «горные джентльмены» на верху, на горах; *reverendissime padre* — внизу... Которые же из них ближе к небу?..

Она засмеялась и бросила золотой подошедшему к нам нищему.

— Этот будет ближе всех, — сказала она.

В Рим мы приехали за неделю до карнавала. Разумеется, Джулия приняла в нем участие и из карнавала вышла какая-то чудовищная, подавляющая оргия. Почти весь Корсо был занят длинейшим, небывалым поездом. Пульчинело был колоссален. Он бук-

важно напоминал колокольную. Карнавал представлял всю историю Рима в живых картинах, начиная от древних римлян, которых изображали дикие альбанцы, покрытые звериными шкурами. Начиная от знаменитой волчицы, которая была представлена, в виде громадной колоссальной статуи, до последнего новейшего времени, представленного в виде чудовищного разбитого яйца, из которого выглядывает смиренно Папа с громадным бичом. Полиция не хотела пропускать поезд. Но Джулия бросила громадное количество скуди, и полиция закрыла глаза, так что все реверендиссиме падре были изумлены скандальной аллегоричностью карнавала. В журналах цензура вычеркнула описание поезда; все корреспонденции были перехвачены.

Горячка безумия достигла высшей степени, последнего градуса, в последний вечер масленицы. Весь Рим был возбужден. Все почтенные отцы, дряхлые, поседелые и облыселевые были подняты на ноги. Открещивались, отплевывались и всё-таки веселились.

Центром вакханалий сделалась Piazza del Popolo. Там вся Monte Pincio была занята кор-

тежем. Он расположился на ней, как какое-нибудь судилище на эстраде, и оттуда зажигал весь народ. С этой вышины вся площадь представляла странную, дикую картину. Вся она была залита огнем, тысячи факелов, маколетти блестело на ней. Неистовый гул стоял над толпой. Казалось, совершается бунт... дерутся, махают руками, кричат, голосят. Точно демон столпил всю эту массу и заставляет ее волноваться. Она вся опьянела от бешеного, безумного веселья. Тысячи человек лезли прямо на Monte Pincio, другие не пускали их, и все это голосило, неистовствовало. Какой-то громадный Пьерро прыгал по всем головам, махая огромным громадным факелом и неистово кричал:

- Tutti padri.
- Sono ladri.
- Ignoble morte.
- Loro sorte!..

Люди представляли непередаваемую путаницу, хаос, живой клубок, в котором мелькали руки, ноги. Он скатывался вниз, снова поднимался. Крики, вопли, стоны, проклятия и неистовый бешеный хохот раздавались среди

этих зверей, обезумевших от вакхического веселья...

А та, которая была виновницей всего этого хаоса, моя Джулия, лежала в это время без чувств у меня на руках!..

С ней снова повторился припадок удушливого кашля. Пароксизм долго мучил ее. Наконец, кровь хлынула из горла, и она упала без чувств. Мне казалось, что жизнь уже оставила ее, что я держу в дрожавших руках мертвый труп.

Вся толпа около нас тотчас же остановила свое веселье. Многие кричали: Доктора! Доктора! Где доктор!?!...

И доктор явился — такой же неуч, коновал, как и все римские доктора того времени. Лысый, седой с открытым ртом и выпученными глазами, он тотчас же предложил кровопусканье. Я спорил, что кровопусканье вовсе не нужно, что крови и так вышло довольно.

— Смотрите, — говорил я, показывая на залитое кровью платье Джулии. — Разве вам мало!..

К счастью, в это время она пришла в себя и наш спор кончился. Тотчас же явились носил-

ки. Несколько человек бережно уложили ее и подняли на плечи. Все это делалось быстро, в общей суматохе, все кричали, распоряжались, чуть не дрались. Как-то странно было видеть теперь это молчаливое шествие посреди дикой, опьяненной, ревущей толпы. Мы шли, точно зачумленные. Повсюду, завидя нас, народ затихал, сторонился, умолкал, все переглядывались, все шептались. Старухи плакали и стонали:

— Jesu! Jesu!

Многие, бросая все, шли за нами!..

## IX

С этих пор началось быстрое увядание Джулии. Организм ее был окончательно подорван, и от прежней, кипучей, живой натуры осталось только какое-то постоянно тлеющее нервное раздражение. Кровь тотчас же прилиwała к голове, к лицу; глаза блестели, она начинала волноваться; тотчас же ее схватывал пароксизм кашля и кровь бросалась горлом.

Я выписал из Парижа знаменитого тогда доктора Андраля, выписал из Гейдельберга так рано умершего, талантливого молодого

доктора Фолька. Оба были настолько добросовестны, что признали положение больной безнадежным и прямо высказали мне это. Андраль посоветовал увезти ее куда-нибудь в глушь, в совершенно тихий уголок, где бы не беспокоил ее никакой шум, никакое волнение.

— И вы думаете, доктор, — спросил я его, — что ее натура может успокоиться в таком мертвом угле, что она выдержит всю скуку этой тихой жизни?

Он пожал плечами.

— Я не знаю, — сказал он, — но это единственное средство продлить ее жизнь. Притом и самая дорога ей безусловно вредна. Поезжайте куда-нибудь не так далеко. В южную Германию. Поезжайте на Корниче, в Ниццу, в Бельвю...

— А если увезти ее в Венецию? Там одним шумом меньше. Там нет стука колес.

— Что ж? Поезжайте в Венецию. Только все эти итальянцы крикливый и певучий народ.

— Да разве на Корниче не те же итальянцы и притом ваши шумливые и веселые ком-

патриоты — французы.

— Что же? Поезжайте в Венецию... — Он потупился, помолчал и шопотом, скороговоркой прибавил — у нее быстро, очень быстро разовьется горловая чахотка... Очень быстро.

На другой же день, с скорым поездом, мы отправились в Венецию. Я нанял целый вагон и сделал все, что было возможно, чтобы ей было покойно. Я заплатил порядочную сумму кондукторам, чтобы они оберегали наш вагон от всяких криков и шуму. Словом, я сделал все, что мог, и довез ее до Венеции почти без приключений. Только в Вероне — Porta Nuova — случился какой-то скандал, какая-то шумная драка и хотя ее тотчас же остановили, но Джулия всё-таки взволновалась и кровь опять прихлынула к горлу.

В Венеции я поселил ее, на маленьком канале, где почти не было движение, в небольшой Albergo di Bella Stella. Мы наняли несколько первых номеров в бельэтаже. Их большие окна выходили прямо на юг и из них был виден Canallo Grande.

Тотчас же я отделал эти номера, насколько было возможно, комфортно и уютно. Я

убрал их растениями и цветами. Я выписал целый тюк романов английских и французских (Библиотеки для чтения тогда в Венеции еще не существовало). Я постоянно твердил Джулии, и молил ее, чтобы она была покойна, не волновалась. И она действительно как бы переродилась. Она точно вся ушла в себя. На лице ее постоянно была какая-то тихая дума, брови приподняты и большие глаза кротко и вдумчиво смотрели на все.

— Знаешь ли? — говорила она. — Я теперь точно в могиле... И эти цветы, это — мои могильные цветы.

— Полно! — утешал я ее. — Ты еще поправишься. Мы опять уедем с тобой на юг, снова в *Bella Napoli*. — Бурбонов тогда не будет, их выгонят — и опять ты услышишь *Santa Lucia* и тарантеллу. — И я защелкал пальцами, как кастаньетами.

— Нет, Эдгард, нет! — И она взяла мою руку ее горячими руками. — Смотри прямо мне в глаза, прямо, прямо, не мигая.

И она уставила на меня ее страстные, глубокие глаза. Я невольно отвернулся.

— Видишь! Видишь! — вскричала она. —

Ты лжешь! Ты меня обманываешь... Нет!.. Я умру здесь... Я это чувствую. И если бы мне была дана не одна жизнь, а десять, двадцать жизней, то я всех бы их так же промотала, как одну... Умереть в двадцать три года... выпив полную чашу наслаждений! Разве это не счастье!.. Правда, я мало жила, но я много чувствовала. — Если бы все что я пережила растянуть на долгую жизнь... То что ж бы из этого вышло?.. Все это разменялось бы на мелочи, на чентезимы. Если растянуть молнию не на один миг, а на целый час, то ведь это не была бы молния. Это был бы простой огонь, а гром превратился бы в шорох, в тихий шум. Только целая масса быстрых, захватывающих душу ощущений дает нам удовольствие!.. Не правда ли, Эдгард!? Не так ли, мой милый?

— Ты теперь точно Ольд-Дикс. Такой же философ: только не горбатый.

Она слегка вздрогнула и пристально посмотрела на меня, потом уселась на диван с ногами, помолчала и тихо, как бы про себя начала:

— Каждый человек жаждет постоянного потока... бешеного потока наслаждений... Ах!

В этом сказывается наша бедная, человечья душа... Это она всегда жаждет и ищет — сильного, великого, или вечного, нескончаемого.

— Abasta философии, — прервал я ее. — Abastanza multo!.. Пойдем на балкон! — Я взял ее за руку и вывел на балкон, с которого был виден Canallo Grande...

Несколько дней, чуть не целую неделю, мы провели тихо, спокойно, ее нервы как будто отдохнули. По вечерам мы катались в гондоле по Canallo Grande или на взморье. Гондола тихо, неслышно скользила и ясный, роскошный месяц поднимался из моря и отражался в его тихих водах.

Иногда она засыпала у меня на руках, и я ее, сонную, довозил до дому и вносил на руках в нашу квартиру, как малого ребенка.

Один раз был какой-то праздник. Вся публика, разряженная в маскарадные, живописные костюмы, — ехала в лодках, в гондолах, спешила к Ponte Rialto. Мы смотрели на эту процессию с нашего балкона. Музыка весело гремела, а она жадно смотрела, широко раскрыв глаза, и жала мою руку. Грудь ее тяжело дышала. Ноздри раздувались. Она напомина-

ла мне раненую чайку, которая следит за полетом своих летающих подруг и печально смотрит в глубь воздуха, манящего вдаль.

Раз я уходил куда-то один и, вернувшись домой, нашел ее спящую. Я довольно долго любовался на ее разметавшуюся фигуру, и она мне живо напомнила прекрасную статую «умирающей вакханки» Folini, одного из малоизвестных итальянских скульпторов. Она лежит и борется с агонией. На полузакрытые глаза ее, в дремотной неге, величаво, торжественно спускается сон смерти. Лицо еще жаждет вакхических наслаждений, еще не остыл на нем пыл страсти, но вместо него уже пробегают судороги страдания. Опрокинутая пустая чаша выпала из ослабевших рук. Растрепанный венок из винограда спадает с головы. Она подняла руку, как будто призывая еще сладость жизни и ее жгучие восторги... Но все напрасно! Все кануло, безвозвратно, в холодную вечность...

Мне стало невыносимо грустно. Я вышел на балкон. Кругом была тишина, была какая-то унылая, мертвая пустыня, было сонное царство смерти, среди тихих, дремлющих вод

грустных каналов. Печально, беззвучно сновали гондолы по молчаливым водам, неслышно причаливая то к одному, то к другому крыльцу. Молча выходили из них седоки, молча скрывались они за угрюмыми тяжелыми дверями. Жизнь как будто оставила город, и он стоит, погруженный в воспоминанье когда-то шумных и славных былых времен.

Иногда, по вечерам, мы ходили с Джулией на площадь Св. Марка. Там так же было все пустынно. Кое-где тихо болтали какие-то си-ньоры около столиков, расставленных вдоль галереи с галантерейными магазинами. К ним подходили букетьерки и молча предлагали им маленькие букетики фиалок и розаны. Ни шума, ни крика. Мы молча садились тоже за столик около Cafe del Oriente и молча выпивали по чашке плохого шоколада. Тихо зажигались газовые огоньки кругом всей громадной площади. Тихо струились флаги на высоких шестах около собора Св. Марка и тихо поднимался над площадью, в глубине тёмно-синего неба, сияющий месяц.

Эта глубокая, невозмутимая тишина, мне

кажется, всего сильнее действовала успокоительно на нервы Джулии. Она уже не возбуждалась от внезапных криков и спокойно слушала разнощиков, которые почти целый день выкрикивали.

— *Aqua fresca! Aqua fresca!* Свежей воды!

Она даже смеялась, когда продавец туфель распевал зычным голосом:

— *Eccolo, Signori! Papussil Papussi! Al Papussaro!*

Но среди этой благодатной, врачующей тишины болезнь всё-таки не дремала и делала свое дело. Она сказывалась в нервной дрожи, в пароксизмах лихорадки, быстро уносивших ее силы, и, наконец, в удушливом кашле, который все чаще, настойчивее являлся и всегда, в конце его, кровь бросалась горлом.

В конце мая от Джулии осталась одна тень. Она страшно похудела и на ее впалых щеках выступили два резких розовых пятна. Громадные глаза горели ярким зловещим блеском, и грустная, болезненная улыбка почти не сходила с алых губ. Углы рта постоянно приподнимались и выказывали прелестные белые зубки.

Наступило восьмое июня. Это был день ее рождения. Я поднес ей громадный букет из белых и малиновых роз. Она сидела на своем обычном месте, на балконе. Взяв от меня букет, она смотрела на меня своими кроткими глазами и упивалась его запахом. Может быть, этот аромат напоминал ей лучшие дни веселья и восторгов.

— Мерсі, Эдгард!.. — сказала она тихо. — Знаешь ли, что?.. Эти розы... они пышны, красивы... Не потому ли они так красивы, что... в их короткую жизнь... они умеют уложить столько блеска, аромата?.. Глядя на них, невольно думаешь... ведь вот... природа... добивается же скоротечных, но сильных восторгов... Розы ее пылают и быстро вянут... Весенние воды пронесутся быстрыми, шумными... потоками и... замолкнут... Море забурлит волнами... и утихнет... Лето промелькнет... все в зелени... в знойном жару, в аромате цветов... Ах, милый мой друг! Как хороша бурная, страстная, восторженная... жизнь!.. Но нет, нет!.. мой милый... Я не ропщу... — И она крепко сжала мою руку ее маленькой ручкой. — Не жалею... Я смирилась... Я... — Она

потянула меня к себе, и я наклонился к ее лицу. — Я умру сегодня!.. — прошептала она чуть слышно... — Сегодня меня не станет... и я... освобожу тебя.

Я выдернул мою руку из ее руки.

— Перестань, Джулия! — вскричал я. — К чему расстраивать себя?.. Ты поправишься...

Она повертела головой и приложила палец к груди.

— Здесь смерть! — прошептала она... — Я уже слышу... ее... Она здесь... Да!.. — И она закивала головой... — Я отцветаю!.. Эдгард... как знаешь... тот цветок, который цветет один день... Как его зовут?.. Ты помнишь, Эдгард?

— Я не помню, Джулия.

— Знаешь, он цветет всего один день... и отдает воздуху весь свой аромат... отдает среде... безучастной среде... всю свою красоту...

Она помолчала несколько минут и снова начала:

— Нет! Эдгард!.. Я не жалею о моей жизни!.. Мне только жаль расстаться с ней. Но если бы я могла вернуть снова свои силы... Я прожила бы... точно также... бурно, весело... в шуме и блеске... Как, знаешь?.. Метеор!.. Он

пронесётся, пролетит... и оставит за собой... оставит радужную полосу... так и я.

Она тяжело вздохнула и опять помолчала.

— Везде, всюду... куда являлась я... я вносила радость... радость и веселье... Многие вспомнят обо мне... вспомнят с сожалением... Я разбрасывала наслаждение... разбрасывала широкой... рукой... и если, Эдгард... эта жизнь идет... к наслаждению... как уверяет наш... Джон... то... не правда ли? Тем лучше, Эдгард!.. Тем лучше!.. Если же там... за гробом... ничего нет... То я не жалею... не жалею моей жизни... Она славно прожита!.. Я не жалею о ней... Нет!

И она откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и тихо, несколько раз повторила:

— Я не жалею о ней!..

Мы опять просидели несколько минут молча. Вдруг с лица ее сбежала краска. Она сильно побледнела и перестала дышать. Букет выпал из ее рук.

— Джулия! — вскричал я, бросаясь к ней, — Джулия! Что с тобой!?

Она молчала и не двигалась.

Я схватил стакан воды, намочил ей голо-

ву... И она понемногу пришла в себя, открыла глаза. Яркий румянец снова выступил пятнами на ее щеках.

— Что такое!?!... Я заснула?.. — спросила она. — Зачем же ты разбудил меня?

Я обтирал ей лицо и голову моим платком. Она взяла мою руку и приложила к ее горячей голове.

— Ляг, поди, на диван, — сказал я. — Тебе будет удобнее.

— Нет! Мне так хорошо... Покойно!.. Не буди меня...

И она вся потянулась, с улыбкой... как маленький ребенок... Но вдруг отбросила мою руку, приподнялась, широко открыла глаза и начала прислушиваться.

— Слышишь, Эдгард!?!... Кто-то идет!

Я тоже стал прислушиваться.

— Никого нет... — сказал я. — Это тебе только кажется...

— Отчего, Эдгард, мне сегодня... с самого утра, кажется... что кто-то должен придти... именно сегодня?..

И действительно, с самого раннего утра, как встала, она несколько раз подходила к ок-

нам, выходила на балкон и усиленно вглядывалась в даль, на Canallo Grande.

— Эдгард! — говорила она, — скажи мне... иногда тебе не кажется, что должно что-нибудь свершиться... особенное... Никогда не бывает этого с тобой?.. Нет?

— Никогда не бывает... Просто у тебя нервы возбуждены и дрожат.

— Но отчего же... скажи мне... они вчера... и третьего дня не дрожали?.. И я ничего не чувствовала?.. А сегодня дрожат... — И она как-то нетерпеливо обдергивала кружева и блонды ее легкого платья. Несколько раз растегивала лиф или распускала легкий, ажурный галстучек на ее шее, — точно все это давило ее.

Я предложил ей сейчас, после завтрака, проехаться в гондоле, и она с радостью согласилась, даже слегка оживилась.

Позавтракав, мы отправились и почти целое утро ездили с ней по каналам и далеко выехали в море. Оно было совершенно покойно, и вся Венеция отражалась в нем, как в зеркале.

Под конец прогулки Джулия совсем утоми-

лась и уснула у меня на коленях. Мы вернулись домой. Я внес ее в гостиницу и уложил на диван. Она не проснулась. Дыхание ее было ровно, покойно. На щеках то вспыхивал, то погасал яркий румянец. Я не будил ее.

Она проспала до самого обеда. Я прошелся по немногим улицам и по площади св. Марка. Мне было жаль потерять Джулию, но в глубине сердца я был доволен и не столько за себя, как за нее, за эту страдавшуюся натуру.

Я вернулся к обеду. Она все еще спала. Я велел накрыть на стол перед ее диваном и тихонько подавать кушанья. Посреди стола стоял в вазе подаренный ей мною букет из роз. Я молча сидел и не дотрагивался до супа, смотря на нее. Вдруг она открыла глаза и поднялась с дивана. Чьи-то быстрые шаги раздались в коридоре. Слуга торопливо подавал мне чью-то карточку. Но она бросилась с криком:

— Джон! — и остановилась по середине салона.

Ольд-Дикс точно вырос в дверях.

Я вскочил в изумлении. Я смотрел и не верил глазам.

Да! Это был он — старый дружище! Но как переменился он! Как он похудел, постарел. Седина сильно проглядывала в его волосах.

А она уже обнимала его и плакала. Он гладил ее волосы и целовал ее голову.

Я не знал, что со мной происходит. До того странна и неожиданна была эта сцена. Я чувствовал, что я рад был этому свиданию. Даже у меня на глазах выступили слезы радости. Но какое-то чувство недовольства собой, не то зависть, не то раскаяние, мутило душу. У меня быстро промелькнул вопрос: не лучше ли бы было если-бы я убежал от них во Флоренции и оставил бы их вдвоем? Может быть, он сумел бы удержать бедную Джулию на «тихих наслаждениях» и она не погибла бы?

Когда он протянул ко мне правую руку и обнял меня, то я крепко поцеловал его долгим поцелуем, как истинно близкого, родного мне друга; левой рукой он поддерживал Джулию.

Мы, все трое, обнявшись, подошли к дивану и все трое опустились на него. Но Ольд-Дикс тотчас же вскочил и сел подле, на стуле, с левой руки Джулии. Он взял ее за руку и пристально посмотрел на ее лицо.

— Как вы переменялись! — удивился он.

— Джон! — вскричал я. — Она поправится! Она непременно поправится. Посмотри: ты ее воскресил... Она теперь смотрит совсем как здоровая.

Она тихо покачала головой.

— Джон! — сказал я... — Ты, вероятно, голоден? Мы, видишь, еще не обедали... Давай обедать, старый дружище! Живо! Весело!.. На тебе супу!

И я налил ему тарелку и смотрел на них без всякой зависти. Он сидел подле нее. Они смотрели друг на друга, как влюбленные, и держали друг друга за руки. Я налил и ей супу и принялся за свой и за вкусные горячие пирожки.

— Джон! — вскричал я. — Джулия! Что же вы не едите! Ну! Живей! Дружно!

Они оба улыбнулись и принялись тихо за суп, не переставая смотреть друг на друга.

— Откуда же ты приехал к нам, Джон? — спросил я. — Точно с неба свалился. Где ты был?

— Я из Америки.

— Как так!? На пароходе?

— Прямо на американском пароходе до Чивитта-Веккио, а там в дилижансе в Рим. В Риме я тотчас же нашел ваш золотой след и по нем приехал сюда.

— Какой золотой след?

— Как же! Мне сейчас же рассказали, какой был великолепный карнавал и как после карнавала *bella e ricca Signora Julia* уехала в Венецию.

И он взглянул на Джулию и у обоих глаза заблестели.

— Что же, ты все эти два месяца прожил в Америке? — спросил я.

— Нет! В Америке я пробыл только несколько дней. Я не мог пробыть дольше...

— Где же ты был?

— В Африке.

— Видишь! Как тебя метало!

— Я хотел проехать в центральную Африку, но... мне сделалось невыносимо тяжело. Меня тянуло в Европу... Я думал: пусть же меня отделяет... целый океан и отправился в Нью-Йорк...

— И возвратился снова в Европу, — перебил я его, — и приехал в Венецию, как раз в

день рождение Джулии.

— Как! — удивился Ольд-Дикс.

— Сегодня мне стукнуло 23 года, — сказала Джулия. — Я уже старуха! — и она вся покраснела.

— Вот объясни, — сказал я, — у нее сегодня было предчувствие, что ты приедешь. Целый день она ждала кого-то. Объясни мне, что это такое? Разве могут быть предчувствия? Что это за вздор такой?!

Ольд-Дикс пожал плечами.

— Что я могу объяснить? — сказал он. — Отчего, как только я вышел из дебаркадера, гондольер вашей гостиницы прямо, ничего не говоря, взял мои вещи и повез сюда? Отчего, войдя в гостиницу я, никого не спрашивая, прямо отдал мою карточку и сказал, чтобы меня вели к тебе? Счастливое совпадение многих случайностей! *Qui lo so!*

— Браво! Выпьем же за это совпадение случайностей и за нашу дорогую новорожденную.

И я налил шампанское в бокалы. Мы чокнулись и поцеловались с Джулией и с Ольд-Диксом. Джон поцеловал у нее руку и страст-

но смотрел на нее.

— Целуйтесь же! Целуйтесь! — вскричал я. — Что за церемонии?!

Она горячо обняла его и поцеловала долгим поцелуем. Потом вдруг откинулась на спинку дивана и побледнела как платок, который она поднесла к губам. Глаза ее закрылись. Ольд-Дикс с ужасом вскочил.

— Что это!? — вскричал он.

— Это уж второй раз сегодня с ней, — проговорил я.

И снова я смочил ей голову водой. Но она не приходила в себя и не дышала. Сердце не билось. Я думал, что уже жизнь ее оставила.

Ольд-Дикс был бледен и дрожал, как в лихорадке. Мы давали ей нюхать эфир, нашатырный спирт, какие-то остропахучие соли. Я растирал ей грудь и, наконец, после долгих усилий, нам удалось привести ее в чувство. Я дал ей успокаивающих капель, и она понемногу оправилась. На щеках ее снова показался румянец. Мы, вместе с Ольд-Диксом, взяли диван, на котором она лежала, перенесли ее в спальню и позвали к ней горничную.

Ольд-Дикс сидел, как убитый, и молчал. Я

рассказывал ему, как в Риме, на карнавале, у неё бросилась кровь горлом. Но я видел, что он не слушает меня и с ужасом смотрит на двери. Я прошел в ее спальню. Она надела белый пеньюар, закуталась в арабский бурнус, и вся дрожала. Я ее вывел в смежный салон и уложил на широком, мягком диване. Затем, привел к ней Ольд-Дикса. Она с улыбкой протянула ему руку, которую он крепко поцеловал.

— Я напугала вас, друг мой?.. — сказала она. — Сядьте здесь... подле меня... и ты садись, тут, — указала она на стул. — Я теперь буду отдыхать от «бурных наслаждений»... Теперь настал период постоянных, вечно тихих... наслаждений.

Она говорила с трудом, тяжело дыша.

— Сэр Джон! Друг мой!.. — просила она, — расскажите мне что-нибудь, как тогда... Помните!.. Я, может быть, засну под ваш рассказ... — Расскажите мне: как люди будут жить... потом... тогда, когда нас уже не будет... Расскажите, пожалуйста!

И она улыбнулась по-детски.

Ольд-Дикс не вдруг начал говорить. Он

пристально посмотрел на нее, грустно улыбнулся, вздохнул и тихо, задумчиво начал:

— Будущие люди будут жить счастливее, чем мы... Поверьте мне!.. Будущее их счастье в их руках. Когда они поймут эту великую истину, то счастье сделается их достоянием... Они, прежде всего, найдут возможность освободиться от всяких заразных болезней... Они сделают свой организм недоступным ни для каких заражений. Наконец, они уничтожат самую заразу... Ум человека и знание должны быть всеильны...

— Друг Джон! — прервал я его. — Ты говоришь все о материальных страданиях, о болезнях тела. Но разве в этом одном все несчастья людей?.. Разве внутренние, сердечные страдание не мешают счастью людей!?...

— Слушай! — сказал он и схватил меня за руку. — Слушай! И не прерывай меня... Когда человек найдет средство сладить с своей физикой, переработать ее и подчинить своим разумным силам, тогда и его внутренние силы, его нравственное я, сделаются совсем другими. Тогда настанет общее довольство жизнью и злые страсти замрут: им не будет пи-

щи. Теперь мы бьемся из-за каждого клочка земли... А тогда у людей, в их владении, будет бесконечность пространства. Поверь! Им не будет тесно...

— Нет! — вскричал я. — Я тебя опять прерву. Ты, очевидно, меня не понимаешь... Разве счастье людей в довольстве собой и другими?.. Нет! Тут есть еще что-то неразгаданное... Окружи человека полным довольством, и ты думаешь, что он будет счастлив?!.. Нет! Нет! И тысячу раз нет.

Он посмотрел на Джулию и приложил палец к губам.

— Она, кажется, уснула, — сказал он чуть слышно.

Действительно, она не шевелилась. Глаза были закрыты.

Грудь приподнималась медленно и ровно. Легкий румянец выступил на ее щеках.

— Ты мне задаешь вопрос, — начал он почти шопотом, наклоняясь к моему уху, — который долго меня мучил в последнее время. И, наконец, я одолел его. Слушай! Счастье лежит в любви... Да! В любви — полной и взаимной... Чем здесь удовлетворится человек?

Мы не знаем... и... может быть, долго еще не узнаем, но это верно. Это истина. Человек может найти счастье только в любви к другому человеку и в любви к себе этого человека... именно этого, а не другого. И вот почему я явился сюда. Для меня, для моего сердца — это стало до того ясным, наглядным, что я не мог долее бороться с собой и... — он крепко обнял меня и прошептал чуть слышно над моим ухом — я решился... не отказываться... от твоего великодушного решение... Помнишь?.. Во Флоренции?

Я взглянул на Джулию и быстро вскочил со стула.

— Джулия! — вскричал я, — что с тобой?! — И я бросился к ней.

Она лежала, вся вытянувшись, откинув голову назад. Руки ее были судорожно прижаты к груди. Лицо мертвенно бледно. Глаза остолбенели. Рот раскрылся и зубы были стиснуты.

Но в одно время с моим криком раздался отчаянный крик Джона, и он упал без чувств к моим ногам.

Я позвонил и бросился вон. Первого, встретившегося мне слугу, я послал как можно ско-

рее за доктором. Наш доктор жил в двух шагах от нас. Затем я снова вошел в номер. Я подошел к Джулии. Раскрытые глаза ее не смотрели. Они были тусклы. Рот искривился в неестественную улыбку. Холодные руки были так сильно прижаты к груди, что я не мог их отнять.

«Боже мой! думал я. Его (доктора) верно не найдут дома!.. А тут каждая секунда дорога!.. Неужели все кончено!»

Я наклонился к Джону.

— Джон! — тихо позвал я его. — Джон!..

Он быстро раскрыл глаза, нахмурился. Затем тихо приподнялся, сел на пол и обернулся к Джулии. Лицо его приняло вдруг грустное выражение. Он подполз к дивану, положил на него голову и тихо прошептал:

— Лилли! Моя Лилли! Зачем ты умерла!?!...

И он закрыл глаза. На лице его было столько безысходной грусти, такая тоска, отчаяние, что я невольно отвернулся.

Я чувствовал, что горло мое сжимается и на глаза выступают слезы...

## Х

На другой день тело Джулии было набаль-

замировано и в наших салонах повсюду распространился смолистый аромат. Я послал депешу к ее тетке, на родину и через день получил ответ. Тетка телеграфировала, чтобы тело Джулии было непременно перевезено в Бальдриддж, где оно будет поставлено в склепе Стэндфортов. Я заранее заказал траурный вагон на железной дороге.

Во все эти печальные дни мой Джон бродил как тень. Его лицо осунулось. Почти все волосы поседели. Когда положили Джулию в гроб, он почти не отходил от него и сидел молча в углу, опустив голову на руки. Несколько раз я принимался заговаривать с ним, но он отвечал односложно, нехотя или вовсе не отвечал.

Мне тяжело было смотреть на этот гордый, смелый ум, опрокинутый и придавленный сердечным горем. «Где же, думал я, эта сила мысли и знание, на которую он так твердо надеялся и о которой проповедовал людям с таким убеждением?»

Вечером я вызвал его проехаться и выбрать цветов, чтобы убрать гроб. Он неохотно согласился и пошел вслед за мной, мрачно

опустив голову. Мы сели в гондолу и поплыли на окраину города, туда, где были маленькие цветочные заведение. Все что было цветущего мы забрали с собой; мы нагрузили и нашу гондолу, и целую лодку. Но всего этого мне казалось мало, и я послал телеграмму в Верону. На другое утро нам прислали целый вагон цветов и зелени. Мы убрали ими весь салон, в котором стояло тело Джулии. Самый гроб был буквально весь покрыт цветами и только бледное лицо ее выглядывало из венка из белых роз.

На третий день, вечером, пришли паяльщики и запаяли свинцовый гроб. Мы вынесли его на канал. У крыльца дожидалась большая гондола, убранная трауром. По середине ее возвышался катафалк. Мы поставили на него гроб и снова покрыли его весь цветами. Затем мы сели в эту гондолу рядом с Ольд-Диксом и отчалили. За нами тронулась целая флотилия гондол и лодок. Мы въехали в Canallo Grande и тихая, заунывная, торжественная музыка понеслась по тихим спокойным водам.

Мы выехали на взморье. Солнце уже зака-

тилось и все небо было полно ясной, спокойной зарей. Чайки сновали, носились над морем и с жалобным криком вились над гондолой.

— Джон! — спросил я. — Куда мы теперь с тобой поедем? Поедем ли мы провожать ее тело до Англии, до Бальдриджа?.. Или поедем в Америку?..

Он ничего не сказал; только тихо высвободил свою руку из моей руки.

Все последние три дня он почти молчал и ничего не мог есть, несмотря на все мои доводы и убеждение.

Мы плыли почти целый час молча.

— Джон! — сказал я опять. — Вот! Ты проповедовал о будущем счастье людей... Может быть, оно и будет... Я не спорю... Но нам, которым теперь приходится жить в омуте неустроенной земной жизни... Скажи! Что нам делать?.. Ведь вот... перед нами, — и я указал на гроб Джулии, — промелькнула и исчезла молодая, блестящая жизнь, не дождавшись твоего будущего блаженства... Что же нам делать? Скажи мне, Джон?...

Он пожал плечами, нахмурился, тихо под-

нялся со скамьи и подошел к гробу.

Он облокотился на него обеими руками и закрыл ими лицо.

Гондола медленно плыла. Тихо раздавалась грустная музыка.

Он вдруг поднял голову и спокойно спросил гондольера.

— Здесь глубоко!

— О! Наверное, очень глубоко, эччеленца!

Он крепко обхватил гроб Джулии обеими руками.

— Эдгард! — вскричал он громко. — Прощай!

И прежде чем я успел вскочить с места, он приподнял тяжелый гроб и перекачнул его на себя.

В следующее мгновение он полетел вместе с гробом в море... Гондола сильно покачнулась. Брызги воды взлетели высоко и разбросались далеко во все стороны. Точно сильный взрыв возмутил спокойную воду.

Мы вместе с гондольером бросились к катафалку. Широкие круги воды катились все шире и шире по морю и качали гондолу. Музыка затихла. Кругом нас раздались крики и

все гондолы подъехали к нам. Все расспрашивали:

— Что такое случилось!

И все тотчас же начали толковать: что надо вытащить скорее Ольд-Дикса. Но чем же и как вытащить? Несколько лодок отправилось в город за сетями, баграми и водолазами. Пришлось ждать их возвращения. Одну лодку я послал на железную дорогу известить о случившемся.

Вечер был ясный и душный. Я дрожал от волнения и сел подле катафалка. Я смотрел в воду, на то место, где упал Ольд-Дикс. Гондольер спустил в этом месте якорь. Я сидел и ждал. Может быть, думал я, Ольд-Дикс покажется, выплывет. Он был хорошим пловцом.

Но вода была по-прежнему покойна. Кругом была тишина. И только оживленный разговор с других гондол и лодок доносился до нас как бы издалека, да в борта лодки тихо и глухо плескалась вода.

«Неужели, думал я, он ответил своей смертью на мой вопрос?.. Нет! Это был просто припадок отчаяние, безумный порыв страсти...»

Уже стемнело, когда посланные вернулись

из города, привезли с собой все, что было нужно и начали розыски. Мы бросали лот, чтобы узнать глубину. Она оказалась 30 футов. Мы спускали и тянули сети, спускали багры на длинных веревках и тянули эти багры по дну моря. Наконец спустились водолазы, долго искали, но все поиски оказались напрасны.

В третьем часу ночи, измученный и усталый, с сильной головной болью и горечью во рту, я вернулся домой, в Albergo di Bella Stella, выпил стакан грога и завалился спать.

Рано утром мне привезли известие, что тело Ольд-Дикса и гроб Джулии были наконец найдены и вытащены из воды. Руки Ольд-Дикса так плотно обхватили гроб и заочене-ли, что только с большим трудом могли раз-жать их.

# Гризли (Поэма-фантазия)

## Часть первая

### I

Тихие звезды. Робкие звуки. Трепет, мерцание месячной ночи. Ароматы лугов, ароматы лесов. Журчанье ручья серебристого.

Тысячи образов стелются, вьются над лугом, над рощей, над речкой. Тысячи головок смотрят сквозь ветви, смеются и крадутся, шепчутся и шалют, шалют без конца.

Вот один зацепился на ветке и махает, трепещется лёгкими крылышками. К нему прицепился целый рой. Точно пчелы в улье, точно обезьянки-игрунки, в лесах Брамагамы.

Вот поднялись, вспорхнули, полетели высоко, высоко. Улетели гирляндой, венком: играют и тешатся, мерцают звездочками, сияют месяцем, расплываются белым туманом. И носятся, порхают вместе с ними чудные звуки. С теплым ночным ветерком, что несется с пахучего луга, тихо, чуть слышно, налетают

они и плывут-плывут над долиной. Смеются и плачут, хохочут и стонут чудные звуки и торжественно, гордо, поднимаются на горные вершины — туда, где улеглись облака на ночевую и мирно дремлют, сторожа бури и громы.

И вместе с этими звуками порхает Гризли, чудная Гризли!

Головка у неё — вся в черных длинных кудрях, и кудри шалуни постоянно играют и с шумной бурей, и с тихим ночным ветерком музыкантом, что сам умеет играть на эоловой арфе.

А глаза у ней, словно черные звездочки, — ласковые и тихие, точно они думают и не могут надуматься. Но о чем же они думают? О цветах луговых: хорошо ль им живется, под дождем и солнцем, на вольном просторе Божьего мира? Думают о птицах небесных, что собирают Божьи слова, даром упавшие на бесплодную почву, — думают о горе тяжелом, что растет под крестами, на Божьей траурной ниве...

— Гризли! Гризли!.. — и проносятся мимо неё милые шалуны и шалуни, порхают и

резвятся.

Но Гризли — ни привета, ни ответа. Молчит и думает, не улыбнется.

— Неулыба! Неулыба! — дразнят ее. — Улыбнись хоть на меня, — и он вертится перед ней, весь спрятался в опрокинутый колокольчик, — а из этого колокольчика видны только крохотные ножки, что мелькают и семят, точно у бесенка перед заутреней.

— Гризли! Гризли! улыбнись, неулыба! — и он перескочил сквозь три паутинки и весь в паутинках приседает перед ней и смеется.

Гризли! Гризли! улыбнись, неулыба! — и он прикрылся грибом, точно шапкой-китайской, и пляшет перед ней Сарабанду.

— Гризли! Гризли! улыбнись, неулыба! — и он брызжет на нее из махрового розана чистыми слезинками росы небесной.

А сбоку и сверху, и снизу налетают на нее целые хороводы. И под звуки полевых колокольчиков, под песни душистых ландышей и фиалок, под хлопанье полевых хлопущек, влекут Гризли, кружатся, точно птички.

Разлетаются, заплетаются гирляндами, венками, танцуют в звенящих лучах Май-ме-

сяца. И лучи точно струнки, по которым взад и вперед снуют, и прыгают маленькие звёздочки.

А вон летучие мыши.

— Кыш! Кыш! — Моськи курносые, крысьи мордочки.

И мыши пищат и летят, улепетывают.

— Кыш. Кыш! — кошка летит!

А вон сова.

— О! глазастая животи́на!

И они все набросились на сову. — Машет, машет она крыльями, не отмашется, щелкает носом не отщелкается. Совсем одурела — тащить глаза.

— Садись, Гризли! — кричат: — садись, не улыба!

И они сажают Гризли на сову и хохочут — хохочут, несутся.

*Совка! Совка!  
Славная Совка!  
Серая Совка!  
Неси нашу Гризли,  
Неси не ленись...  
Но лесу проедем,  
По лугу прокатим.*

*Месяц нам посветит,  
Ветерок подунет,  
Травка колыхнется,  
Сердце встрепенется...  
И смех, и песни!..*

Вот впереди едет, оседлал улитку, и так и хлещет ее полевой былинкой, а улитка растерялась, ползет ползет глупая, вытаращила рога. То ее кверху поднимет, то ее на землю бросит.

А вот несется на паутинке, точно на ковре самолете — и всем кричит:

— Пади! Задавим!

А вон обседлал жука-рогача и дергает-дергает его за рога. А жук идет иноходью.

А вон уж просто скачет верхом, не знаю на чем, катит и кричит:

— Я раньше всех приеду! Раньше всех!

А бабочки так и вьются около них; думают, что все это цветы пахучие, что духами пахнут.

И все поют, шумят, свистят, хохочут — точно маленькие дети.

А с востока уж тянет утренний ветерок и гонит прочь всю веселую компанию.

— Кыш! Кыш! Ступайте спать, неугомонные! Солнце встает, алая зорька занимается, небо румянится, моется, прибирается, встречать солнце собирается!..

И неугомонные все разлетаются, все по своим местам, — садовые в сад, луговые — в луга, лесные, — по лесу.

— Ай, ай! — кричат. — Тише! тише! Василек придавили. — Но Василек встряхнулся, поправился и прямо юркнул в хлеба, что налились спелым колосом.

— Ну вас! — говорит — все мои манжетки измяли, а прачка их так синила, синила!..

А зорька становится все яснее, румянее, и вслед за ней выплывает солнышко, тоже румяное, красное, да радостное.

— Доброго утра! доброго утра! — говорит оно. И всем улыбается, и все, глядя на него, улыбаются.

А птицы пищат, трещат, так и заливаются; просто совсем обозлились от радости...

## II

Улыбнулось солнышко и Гризли, прямо взглянуло ей в самые глаза.

— Няня! няня! — кричит Гризли. — Опять

солнце!

А няня поднялась еще до солнца и ходит, бродит на цыпочках, слушает: «спит ли моя барышня ненаглядная?»

— Эко надоедное! Экое надоедное— говорит она. — А я-то вчера, со старой памятью, опять забыла оконце занавесить.

И няня, крестясь и зевая, опускает тяжелую штору и портьеры у громадного окна.

— А я, няня, вставать хочу!

И Гризли вскакивает с легкой пухлой перины и раздвигает кисейные кружевные занавески, что наверху держит золотой купидон, сидя под княжеской короной.

— Как вставать! родненькая! Куда этакую рань встанешь? Еще коровушек не доили. Молочка тебе нет... Видишь солнышко только встает.

— И я хочу вставать! Одевай меня! А не хочешь, я сама оденусь. — И Гризли быстро достает чулки с бархатного табурета.

— Постой! постой! своенравница! Ваше княжеское сиятельство! Сейчас одену. Видишь — прихотная какая! Накось! с солнышком встает.

— А зачем же ты это до солнышка встала?

— Я ведь, княженька моя, привыкла. Мое дело привычное. Седьмой десяток до солнца вставала — И няня надела ей чулки.

— Ну, я няня первый десяток после солнца вставала, а теперь, второй десяток хочу вместе с солнышком вставать.

И Гризли надевает белую кружевную блузку. И моется, и купается, так что брызги кругом летят, и мамка от неё сторонится. И с каждым плеском воды свежей и бодрей стает в её головке.

— Няня! окати мне всю голову!..

— Как можно головку окачивать? — протудишься.

Но Гризли нагнула, подставила головку, и няня льет ей на длинные, густые кудри, и кудри, точно черная вода, льются с маленькой головки.

— Ну, вот и отлично! — говорит Гризли, встряхивая волосами. — Теперь я гулять пойду.

— Как! не молившись?

— В саду помолюсь.

— Да дай хоть головку-то вытереть. — И

няня вытерла ей головку.

И она, словно птичка, маленькими ножками идет неслышно по бархатным коврам и узорчатым паркетам, идет сквозь длинный ряд зал. И так уютны и нарядны кажутся ей теперь эти скучные, торжественные залы. А вот и балкон! Громадный балкон отворен настежь и свежее утро встречает ее на балконе.

На широкой каменной эстраде, — уставленной апельсинными и померанцевыми деревьями в высоких зеленых кадках, ласково отдыхают первые улыбающиеся лучи солнца.

А перед этой эстрадой — красота святая! — встают стеной высокие ели и кудрявые столетние липы. Солнышко чутьхватило их теплым красным светом по вершинкам и смеются и нежатся эти старые вершинки, а внизу спит еще синее, холодное утро.

А перед ними полукругом раскинулся цветник, весь в кустах, и все кусты цветут всякими розами, а у их подножия желтеют аурикулы, нелюмбусы, петунии и всякия дивы заморские. И в середине всех этих кустов стоит, белеет, высоко, на мраморном пьеде-

стале, мраморная сирена с рыбьим хвостом, и держит она большую чашу, а из самой середины чаши летит, журчит, кверху брызжет и сверкает на солнце, алмазами и бриллиантами, — высокий фонтан— ворчун, струилка...

И посреди всяких цепляющихся и висящих листьев, висящих гирляндами и букетами, сходит Гризли, идет в широкую аллею, усаженную старыми, седыми елями, и каждая ель шепчет:

— Мирная старость — миру утеха!

Идет Гризли, и хрустит сырой песочек под её ножками, и отпечатываются маленькие следочки с коваными каблучками на красном песочке с золотыми блестками!

Идет Гризли и дышет — не надышится. Точно сам воздух, свежий да ласковый, легкий, пахучий, сам в грудь просится и прямо доходит до сердца. А сверху и с долу, и везде, по куртинкам, свистят, щебечут маленькие птички — и громче, и резче всех выводит однотонную нотку, серая птичка прыгунья — горихвостка вертлявая. Вот она вспорхнула — топорщится, вьется над лужайкой, вон спустилась, вон опять выпорхнула, скачет по ве-

точкам— свистит и летит все выше и выше в частую ель, косматую.

А вот белка проказница. Вертит хвостом, поводит ушками с кисточками.

— Белка! Белка! Рыжка, краснуха хвостатая! а я тебе ничего не принесла; не знала, что ты так рано встаешь...

А белка соскочила с ели и в припрыжку, бегом, махая хвостом, подбежала к Гризли, вскочила на её кружевную блузку, вцепилась-вскарabalкалась и села ей на рукав. Только немного кружево порвала. Ну, да ничего! Зашьет кружевница.

И смотрит-глядит своими черными масляными глазками на выкате и ждет обычной подачи.

Гризли пощекотала у неё головку, и белочка нагнула головку.

«Ты мне орешка дай!» — думает она. — Что ласкать попусту! Орешка или кусочек сахарцу, а то и конфетку хорошо. Только не мармеладинку — мармеладинку я не люблю!

— Ничего нет, бегунчик, бегунчик мой! — и Гризли нагнулась — хотела поцеловать бегунчика, но бегунчик вспрыгнул, вскочил,

слетел кубарем на землю и покатил, покатил колесом — только золотые песчинки засверкали под лапками.

Идет Гризли, идет прямо, и смотрят на нее, по сторонам, улыбаются мраморные нимфы и Венеры, Сатурны и Фауны... Всех, всех она знает, хорошо знает: все её старые знакомые.

Идет она в парк, и стоят недвижимо в парке раскидистые вязы. Один далеко отставил ногу вперед, а сам развалился-разметался во все стороны. Другой подбодрился фертотом, словно бравый солдат. А тот совсем на бок нагнулся до земли, старый старик — точно кланяется Гризли. А вот она, красавица ольха, вся в кудряшках, вся в завитушках, — модница!

А вот стоят сосны, старые сосны, с искривленными сучьями — точно вихрем их все изломало, изогнуло, изкосматило. А за ними тянутся дубы — коренастые, дупластые, и бегут далеко их крепко скрученные корни, и широко расползлись, развесились их раскидистые ветви.

— Мы бережем тебя, Гризли, — говорят они — ты можешь на нас положиться: мы бе-

регли твоих дедов, и бабок, — мы твои старые, семейные стражи и други.

И вдруг что-то зашевелилось, шарахнулось в тени дубов — и прямо на аллею выбегают, прыгают, окружают Гризли серые косули.

Они вытягивают тонкие шеи, протягивают к ней свои мордочки и, широко раздув ноздри, нюхают и фыркают, и смотрят на нее своими большими черными, ласковыми глазами.

— Ничего, ничего я не принесла вам, — говорит Гризли. — Верно и вы встаете до солнышка. — Идет от них прочь Гризли, и с недоумением смотрят друг на друга косули, и глазам не верят. «Как это им ничего не дали»?!

А там, за парком, в частых кустах, под навесом старых дубов, спрятался, приютился большой птичник, приютился за каменной стенкой, и вся стенка заросла ползучими, вьющимися растениями. Там уже издали несутся голоса. Кричат, перекликаются цесарки, пестрые крикуньи, и вторят им куры голландские, куры бентамские, куры бренденбургские, куры монгольские, куры испанские, — утки китайские, и как только Гризли

вошла — прямо — встречают ее, охорашиваются павлины нарядные; все блещет, все горит яхонтами, изумрудами, ярким золотом на солнце сверкают, переливаются.

Шум! крик! Все окружили ее — голосят, кудахчут на все лады, дерутся и вертятся около ног её. А там, сверху, из высоких голубятен, хорошеньких домиков, слетают пестрые, серые, сизые, огонистые турманы, мохноногие гонцы, трубачи трубастые, индийские, египетские дутыши и все гулькают — обступили Гризли, посели ей на руки, на плечи, на голову, а она только ручками отмахивается.

И выходит из домика, спешит, торопится и еле-еле движется бабушка Домна, старая-престарая птичница.

— Ах, матушка! ах, барышня ах, княженька, ясный свет! — бормочет старуха, и не слышать её голоса за криком птиц голосистых.

— Дай мне крупок! — кричит Гризли. — Крупок дай!..

— Чего, матушка? чего, светик радостный?

— Крупок! Глухая! ничего не слышит.

— Творожку, радостная? Для че те творожку?

— Кр-у-п-ок! — кричит Гризли под ухо старухе. — Кр-у-пок, кур кормить.

И Домна обрадовалась, что, наконец, услышала, чего надо «светику радостному».

Спешит, ковыляет, кряхтит и охает, и тащит целую горстку.

— Да ты больше, больше дай, бабушка! Дай я сама возьму! — И она насыпает целый подол; но крупки сыплются сквозь кружева, проваливаются, а куры и цесарки так и клюют, так и клюют их, кудахчат, радуются и только одному дивятся, не надивуются: отчего это Гризли вздумала кормить их крупками? Этого добра и у старой Домны довольно!

Накормивши, натешившись вволюшку, нагулявшись досыта, Гризли позевывает; голова у ней кружится, сердце тоскует, дрема долит ее, — возвращается она восвояси, приходит и, ни слова не говоря, — прямо на постельку. Свалилась, свернулась, задремала и заснула.

Видно рано встала, да много напряла — утомилась.

И спит она, спит вплоть до позднего вечера.

И нянька крестит ее, молитвы причитывает и не может разбудить ее. Не могут разбудить и гувернантка, и старая тетка, что приехала взглянуть на племянницу-внучку— посмотрела, подивилась и не велела будить ее. Ведь, не впервые спать ей по целым дням. Еще прошлым годом, тоже в мае месяце, спала она целых три дня и три ночи без просыпу.



Тихо! тихо!..

Старые тени слетаются в старый, дом. И стоит старый дом словно дремлет — среди сада и парка, под пологом тумана, что подымается над большим прудом, обросшим старыми ветлами.

Старые тени толпятся в больших старых залах.

Выходят портреты из старых золоченных рам— портреты в фижмах, камзолах, париках и робронах; они чинно расходятся и сходятся, — чинно раскланиваются, расхаживают по залам, садятся, открывают серебряные табакерки, стучат длинными палками и говорят друг другу одно и то же, качая седыми головами:

— Прошло наше время! Наше время прошло!

Вон стоит и она — чудная, роскошная, до времени увядшая, — увядшая как цветок, что вырос на бесплодном поле. Это мама Гризли.

— Ты была моей женой! Да, ты была моей женой, и у тебя одного недоставало: твердости характера, — твердости духа! — говорит высокий, сгорбленный, седой старик с черными бровями, с носом крючком, — старик весь в черном, напудренный, застегнутый на все пуговицы длинного камзола, — точно патер. Это отец Гризли.

Тихо! Тихо!

Выходят, клубятся старые тени. Расплываются, исчезают.

— Наше время прошло! Наше время прошло!

— Да, в тебе не было характера, — говорит строгий старик и стучит своей высокой палкой.

— Оставьте ее! — говорит старая, высокая, седая старуха в роброне, бабушка Гризли: — вы и при жизни не мало над ней мудрили. Там счета кончены, — там, пред престолом.

лом Высшей правды.

И она проносится, как дым.

Старый старик идёт в угольную, к своему пузатому бюро, с медными львами и бусами. Там была его берлога. Оттуда он всех казнил своими бумагами, и все дрожали перед строгим стариком. Там и до сих пор стоит его длинный письменный стол, покрытый черной кожей, стол на трех тумбах, со множеством шкафчиков, ящичков, комодиков и секретных канурок. Там стоит и кресло его, высокое кресло с прямой спинкой, также обитое черной кожей с медными гвоздиками. И над самой спинкой висит простой деревянный треугольник с отвесом. А перед креслом лежит черный медведь, и до сих пор на его шкуре видны следы старых туфель старого старика. А со стен смотрят в золотых и черных рамах Яков Бэм, Эразм Роттердамский, Бэкон Веруланский, Дейбниц, Монтестье, Дидро, Вольтер, Д'Аламберт, Руссо и целый ряд людей, когда-то живших, думавших и двигавших вперед человека.

Тени, старые тени клубятся...

— Наше время прошло, наше время про-

шло!

Тихо... тихо...

Подходит старик к бюро, открывает пузатую крышку и скрипят старые петли. Вот она старая бумага— он вынул ее, раскрыл. Он надевает очки и пробегает ее:

«Во имя Отца и сына и св. Духа. Я в полном уме и памяти...»

Клубятся старые тени...

«Все мое наследственное... завещаю моей дочери Гризли...

«И жить ей в старом доме и ничем не стеснять её воли...

«И властна она распоряжаться всем её именем по её воле...

— Да, непременно по её воле!

И с страшной болью в сердце вспоминает он, что уничтожил чужую волю, а вместе с ней и самую жизнь, увядшую как майский цветок.

Вот она — бледная, запуганная, грустная — смотрит на него из-за большой ландкарты, что висит на стене, и укоризненно кивает головой. Он с бешенством вскакивает и стучит по полу своей длинной, тяжелой палкой.

— У тебя не было характера! у тебя не было характера! — кричит он.

Но что-же сделал он с его сильным характером?

Он вспоминает о Гризли, о шестилетнем ребенке, с которым он не расставался день и ночь; вспоминает, как он заставил этого страстно любимого ребенка выучить наизусть свое завещание.

«И властна она распоряжаться всем своим имуществом и собственной судьбою по своей воле. И никто не имеет права нарушать этой воли...»

И он вспоминает, как заставил поклясться старую тетку, свою сестру, поклясться, что последняя его воля будет свято исполнена. Поклясться на том самом большом старинном образе, который теперь висит там в углу и к которому он сам приложился, когда его соборовали...

Тихо... Тихо...

Старые тени клубятся в старом доме. Собираются, расплываются, исчезают... Тихо раздвигаются портьеры. Тихо входит Гризли, — не входит, а плывет, несется, не касаясь пола.

И белеет в сумраке ночи её белая кружевная блузка, белеет в лучах месяца, по которым клубятся, снуют старые тени...

— Я прапрабабка твоя, — шамкает перед Гризли толстая старуха в шитом золотом сарафане, и блестит весь сарафан камнями самоцветными, а на шее дорогое ожерелье, все из крупного жемчуга.

— Я твой прадед, — говорит полный мужчина в Преображенском мундире и в андреевской ленте с большой блестящей звездой на груди и царским портретом на шее.

— Я твоя прабабка, — говорит полная женщина вся в фижмах, с высоким, высоким шлыком-кораблем на голове и вся голова в пудре, и все лицо в мушках.

— Я твой дед, Гризли, — говорит высокий, плотный мужчина, в расшитом золотом бархатном кафтане, и весь кафтан сияет звездами...

И встают одни за другими, и проносятся, клубятся старые тени... Встают ряды поколений... и уходят в бесконечную даль минувшего.

— Наше время прошло! Наше время про-

шло!

И кружится головка Гризли от этой бесконечной вереницы отжившего. Седая вечность глядит на нее, из бездны прошлого, и страшно становится ей на той вершине, где стоит её молодая, только что начинающаяся детская жизнь.

Она со страхом и трепетом заглянула бы в тайники грядущего. Но старые тени молчат, клубятся, мелькают, плывут, расплываются.

— Ты наша выросшая, выхоленная, старая ветка, — говорит седой старик.

— Ты надежда нашего старого рода, — говорит прабабушка.

— Ты все, чем мы жили столько веков, — говорит угрюмый, степенный прапрадед. — Потому что ничего не исчезает из старого, все развивается, все развивается — и новая жизни наплывает на старые обломки.

— Наше время прошло! Наше время прошлой — шепчут старые стены и портреты на старых стенах.

— Наше время прошло! Наше время прошло! — повторяют тени прошлого, грустно качая головами.

Тихо... Тихо... Тихо!..

## IV

— Ах, няня, как я долго спала! Уже день на дворе и солнышко светит!

— Долго, долго, моя радостная! — говорит няня и крестит Гризли, и плачет над ней.

— Что же ты плачешь надо мной?

— Ох светик ты мой радостный! Как же мне не плакат! Шутка сказать: целые сутки спала, родненькая моя! — И няня заливается и целует и ручки, и ножки у Гризли. — Ведь этак, говорят, и мама твоя умерла... Ясный свет княгинюшка... заснула и целую неделю лежала и так отошла к Господу! — И няня плачет и крестится.

А я видела во сне, няня... что-то странное видела я... стариков и старух, и будто все это были мои прабабушки и прадедушки... Потом... потом... Ах, дай мне вспомнить! видела я чудных девушек... мы все летали над водой над нашим прудом... и ах, как хороши были эти девушки!.. И Гризли опустила голову на ручки, и вся погрузилась в созерцание картин, которые разворачивались перед её глазами...

— Только что же мне говорили эти девушки?.. Ах, дай мне вспомнить, не мешай, няня!..

— Полно думать, после вспомнишь, моя ясочка! Я тебе молочка принесла... Посмотри, какое славное молочко!

И Гризли вся вострепелась.

— Давай, давай! Я страшно есть хочу.

И она с жадностью принялась за молоко и за булку, а старая няня глядела, не могла наглядеться на свою ясную звездочку, — и глаза её радостно светились, и вся бы она так бы всю бы себя отдала за свою родимую княженьку.

— Ну, я теперь гулять пойду, няня. — И, громко чмокнув старую няню и на ходу доедая булку, Гризли вспорхнула, как легкая пташка.

Так все свежо и ново казалось ей, — все, что она целый день не видала. Точно после долгой разлуки встречали ее нарядные залы и бронзы, и статуи. С таким удовольствием она входит в большую, парадную залу, в два света, белую, с колоннами, всю убранную лепкой и позолотой. С самого потолка свешиваются три громадные люстры, закутанные ки-

сейными чехлами; но и сквозь эти чехлы сверкают, светятся хрустальные граненые подвески, которыми они все увешаны, а вечером — вспоминает Гризли — ах, как хорошо вечером горят все эти подвески бриллиантовыми огоньками!.. А вон по бокам раззолоченных дверей стоят две женщины с крыльями; они бегут, торопятся и несут в руках огромные бронзовые канделябры: Их строгие, красивые лица смотрят сурово. На головах, с распущенными летящими волосами, сверкают огни, и Гризли кажется, что это действительно светящиеся огни, а не языки из мрамора. И в каждой складке широких одежд этих чудных женщин видна жизнь, движение.

— Это гении света, — думает Гризли, — они вносят свет в эту залу. — И она оглядывается на темные хоры, что чернеют под широкими арками, там, вверху, над колоннами, за золочеными перилами из пузатых балясин.

Она идет дальше, в гостиную, также всю раззолоченную, с белою раззолоченною мебелью, и каждый диван и кресло стоят на львиных ножках, а сверху из ручек смотрят золо-

тые львиные рожи и широко разевают свои позолоченные пасти. Желтый штоф на креслах, с широкими разводами, и желтые штофные портьеры с золотыми шнурами и кистями спускаются чуть не с потолка, а между них, в узких простенках, длинные, длинные составные зеркала, тоже в белых узеньких позолоченных рамах.

А на подзеркальниках, на львиных лапах, стоят фарфоровые, бронзовые часы. Вон стоит пастушка с овечками, а пастушок наигрывает на свирели, и она так довольна, с такой любовью смотрит на своих овечек. Вон бронзовый амур со слезами умоляет сидящую перед ним красивую женщину в классическом пеплуме, но женщина неумолима. Она схватила его за крыло с твердой решимостью обрезать это крыло; и держит раскрытия в руках ножницы. Бедный амур! верно нашалил не в меру!?

А там вон, в углу, около маленького диванчика, приютился другой, мраморный амур, на мраморной колонке. Он так плутовски присел и лукаво улыбается, и подмигивает левым глазом, и приставил правый палец к губам, что даже Гриззли нужно много силы, чтобы не

улыбнуться. Она отвертывается от этого назойливого, шаловливого мальчика и идет к другому, в другой угол, голому ангельчику на коленях. Он молится; он так покорно, с такой любовью сложил на груди свои пухленькие ручки и трепетные крылья за спиной. Он смотрит с такой простотой и невинностью вверх, туда на небо, и, кажется, сверкают слепые белки его глаз и шевелятся уста, произнося горячую молитву.

— Господи! — думает Гризли: — сделай и меня такой же благочестивой, чтобы и я постоянно молилась Тебе, доброму, прекрасному, правдивому! — И она крестится, складывает ручки, и слезки набегают на её большие, большие черные глазки...

Она отвертывается и идет дальше, в другую гостиную, где мебель обита голубым штофом, и где все стены увешаны картинами, — большими и маленькими картинами, в золотых рамах. Она так любит смотреть на эти картины!..

Вот Авраам убивает Исаака, и Исаак покорно согнул свою голову и стоит на коленях на сложенном костре, со связанными руками за

спиной. Но ангел Божий схватил руку покорного Авраама и указывает там, вдали, на потемневшем углу картины, маленького барашка, запутавшегося рогами в кустарнике. Ах, как хорош этот ангел! Как невыразимо красиво его лицо — доброе, бесстрастное! А лицо Авраама, по которому текут слезы, слезы беззаветной веры и смирения!?

А вот Юдифь, отрубаящая голову Олоферну. Он спит, разметался, и как страшно его черное лицо с сверкающими, оскаленными зубами. А она еще не верит в свой подвиг; она оперлась на меч, стоит на коленях и молится, чтобы Бог, правотворящий, укрепил её мстящую, освобождающую руку, направил, поддержал её страшный удар. О, как хорошо лицо её. Все в свету — восторженное, мужественное, обрамленное роскошными темными волосами. О! она поразит, она непременно поразит это чудовище, что спит перед ней, в пьяном забытии. Бог каратель укрепить её руку!

А вот Иродиада в темнице. Она отвернула головку и искоса смотрит на другую голову, что кладут ей на блюдо, которое она держит в руках: на праведную, свежееотрубленную го-

лову, с которой текут ручьи чистой, святой крови — голову, свершившую свое дело и закрепившую его своей честной, мученической кровью... Земное свершилось! Нетленное отлетело.

Вот маленькая картинка — но скрыто в ней много великого. Маленькая пещерка и лежит в ней крохотный Младенец, — лежит на руках улыбающейся Матери. Все в пещере полно светом от этого Младенца; упал этот свет на овечек, лежащих у ног Младенца, и кверху, к небесам, идут эти лучи, — а по лучам сходят целые вереницы ангелов и херувимов... Так радостны их лица, так громко поют они радостную песню всей земли!.. А издали идут светочи мира, ученые мудрецы, поклониться чудному новому свету...

Гризли пропускает целый ряд картин: все они хороши, но все они почернели и нельзя их смотреть долго — они утомляют.

Она идет в третью гостиную. Там по всем углам стоят мраморные статуи — белые на темном фоне малиновых штофных обоев. Из всех этих статуй Гризли любит одну: это хорошенькая девушка — стройная, грациозная,

которая держит в ручках бабочку. Она смотрит на нее так сосредоточенно, как-будто думает: куда улетит эта бабочка, исчезнет ли она в воздухе, вспорхнет ли к небесам, туда, к престолу вечной, неизменной, никогда неувядающей красы!.. Да не все ли человечество думает ту же думу?!

А в другом углу борются два борца, и один уже повалил другого и завернул ему руку за спину и замахнулся другой рукой. — Бедный борец! а он такой хорошенький: но красота и правда не всегда торжествуют... Как страшно натянулись все их мышцы!.. Сила!.. Сила!.. вот что сильнее всего на свете.

Гризли подходит к середине залы, где свет падает прямо из большего окна в потолке, падает на узорчатый пол и на чудную группу двух мальчиков. У одного лицо все сияет восторгом, живое, полное силы и красоты. Он держит факел, гордо подняв его к небу. Другой, угрюмый, склонился к его ногам, нагнул задумчивую сонную голову, и факел его пригнут к земле. Это жизнь и смерть. Это свобода и неволя. Это сон и явь. Это бытие и разрушение. О, как много силы в этих чудных мальчи-

ках! Но что это за сила? — Гриззли не может понять. Она чувствует только, что ее влечет к ним тайна — мировая тайна.

И она оглядывает стены этой комнаты, также увешанные картинами. Вот целый праздник цветов, громадных цветов; их написал тот, кто так сильно любил цветы и краску, и природу великую.

А вот громадная картина всяких плодов. Ах! сколько тут винограду — зеленого, розового, и какие славные, лопнувшие от спелости дыни, и сейчас только разрезанные сочные арбузы, которых семечки так и чернеют, так и блестят, в блестящем розовом мясе. И целая кучка гранат с прозрачными наливными семечками, и шишки ананасов торчат, словно султаны, и яблоки, и груши, и померанцы.

А вон там другая история: там целая группа детей, которые несут виноград, — детей таких же спелых и розовых, сочных, как арбузы, с щечками румяными, как вишня, с личиками, точно наливные яблочки. Они так серьезно несут целую гирлянду винограду и груш, и персиков и так тяжело им нести эти тяжелые плоды, они все так согнулись под

сладкой ношей... Куда они несут?.. На праздник, большой праздник...

## V

Гризли идет в четвертую залу — её любимую залу. В ней все уютно, покойно — ничего не ищешь, не ждешь. Довольство жизнью смотрит из всех углов её. Обита она простенькой, с мелкими мушками, серой материей. И мраморный пол в ней черный с белым, и простенький широкий голландский камин в середине стены, и со всех стен смотрят такие милые, простые картины, в черных, простых рамах.

Вот дама слушает с таким вниманием молодого чтеца с рыжими усиками. Дама в нарядном белом атласном платье. И как все хорошо, натурально в этой простой, натуральной картинке. Как хорошо блестят на солнышке мелкие складки платья, как играет солнышко на полу и вырезывается кружками, как блестят пуговицы на кафтане молодого человека. И блестят также длинные вазочки и бокалы на полочке, — а кошка, серая кошка, сидит, умывается на солнышке и бегают, играют вокруг неё котятки. Уморитель-

ные, милые котятки!

А вот трактирчик, простой деревенский трактирчик, и так весело пируют в нем эти красненькие мужички, так уморительно пляшут они под звуки скрипки, на которой играет толстый музыкант, с бородой, стоя на опрокинутой кадке.

А вот маленькая старушка считает деньги — и состроила такую серьезную мину, а оборки и складки огромного чепца заслоняют её маленькое личико, и все оно само собрано в маленькие складочки.

А вот рынок и толстая, чистенькая, гладко зачесанная барыня торгует большую белую курицу у старенького мужичка; а мужичек обложился репой, морковью и редисками.

А вот ученый химик в его большом, большом кабинете, и как блестят все баночки в этом кабинете — маленькие реторты и большие колбы, медные кастрюли и чашки, — а сам химик, с большой бородой, с очками на носу, в высокой, остроконечной шапке, так серьезно варит какой-то состав и дует на огонь маленькими мехами...

А вот собаки... О, какие уморительные пе-

сики! и как они хозяйничают в несчастной кухне — трудятся над фазанами, теребят уток, грызут и ворчат!..

Но мимо, мимо!.. Не хочется расстаться с этой уютной, любимой комнаткой, — а там, впереди, комната еще более любимая. Вся она уставлена высокими дубовыми шкафами, — и солнце так покойно светит сквозь длинные, узкие, узорчатые окна, сквозь опущенные темные шторы. А в шкафах — целый рай! — Книжки, книжки без конца — в раззолоченных сафьянных переплетах.

Там между шкафами, под балдахинном, в стеклянном шкафчике, сидит слуга-философ, покинувший свою родину, и мирно поселившийся на берегу голубого, красивого швейцарского озера. Он сидит, опустив в глубокой думе свою умную голову, сидит в сером кафтане с большими перламутровыми, светлыми пуговицами и в серых полосатых чулках, но, если отворяют дверцы его стеклянного шкафчика, он тихо поднимается со своего стульчика и кланяется отворившему. Гриззли помнит, как она боялась этой куклы, когда была очень маленькая. О, теперь она не боится её; она

очень любит эту смешную, кланяющуюся куклу: ведь она прочла всего «Эмиля» и многое поняла своим чутким сердцем. Но больше она любит бюст этого философа, большой мраморный бюст, который стоит тут же, на одном из шкафов; она любит смотреть на его доброе, думающее лицо, на его большие суровые губы.

А вот подле него другой бюст, другого философа, который смеялся над всеми и не мог только посмеяться над одним, — над самим собою. О, какое славное, умное лицо! Резкие складки улеглись около его рта. Глубоко ушли под брови его маленькие глазки. Нет только одного в этих глазах: мира, любви, — снисхождения к глупому и бедному человеку.

А за ним тянется целый ряд бюстов: это все они, великие пионеры прошлого века, которые прорубали для нас широкую дорогу в темном лесу бесчеловечья и неволи.

А вот он, милый шкаф. Гризли собрала в него все её любимые книги. И на первом месте: Аббат Ботень и «Paul et Virginie» и «Потерянный рай» Мильтона. Лучше этих книг ничего не нашла Гризли в целом громадном

книгохранилище; потому что в этих книгах она нашла ответ своему собственному сердцу. Над ними она плакала и молилась. Там же были сказки из «Тысячи и одной ночи», — был Ледрю Роллен и смешной портной, написавший такие уморительные комедии, — и скучный Корнель и Расин, и «Le miroir de la Vertu» и «Свадьба Фигаро», и сказки Перро, и сказки-сатиры Свифта, и много, много всяких книг.

Не было только той книги, которую, умирая, оставила ей дорогая мама — настоящей «книги» из всех книг, которые когда-либо были и будут в мире. Это простые сказания простых рыбаков галилейских — сказания о бедном Человеке, в котором все было полно красоты бесконечной и вечной, святой благодати. Гризли держит эту книгу, в кожаном черном переплете, с большим серебряным крестом на корешке, отдельно от других, в своей спальне, и спит вместе с ней.

Но дальше, дальше тянет Гризли туда, в угловую, где много цветов в богатых вазах, а еще больше выглядывает их из зимнего сада, где растут разные дивы заморские, под стек-

лянной крышей.

Там в середине оранжереи громадный мраморный чан, и в нем плавают золотые рыбки, а из самой середины чана высоко кверху бежит тонкая струйка и играет там наверху легким серебряным шариком. Как хорош этот садик, полный роз и гелиотропов, на солнце, которое, точно кошка, постоянно играет с вьющимися цепкими ветками.

Но не он тянет Гризли; он хорош, бесспорно хорош. Но она быстро подбежала, садится к большому, старому роялю, парижской работы Федо — роялю, который не состарился: он так же певуч и мелодичен.

Гризли порылась на полочке в нотах, подумала, что сыграть и то хорошо, и другое хорошо. Перед нею целый ряд сонат скучных, но хороших сонат. Тут стоят и Моцарт, и Клементи, и Бетховен, и Гайдн, и Глюк. И тут же на камине стоят их бюстики. Стоят между множеством маленьких фарфоровых вещиц, милых безделушек — флакончиков, пастушек и китайцев.

Гризли остановилась на Гайдне; она развернула чудную ораторию о смерти Бога-че-

ловека, о мученической смерти на кресте, и запел рояль в тишине солнечного свежего утра, запели хоры ангелов. И весь дом встрепенулся и заслушался чудных звуков. Слушали все философы и картины, все слушали звучные, торжественные гимны. И, наконец, отзвучало и затихло последнее слово...

И Гризли вздохнула, отняла дрожащие ручки и опустила на них головку. Как тихо, торжественно тихо кругом!.. Словно прозвучал последний звук и отлетел в вышину, а здесь осталось только одно — бледное, бесцветное подражание ему...

— Where my dear, where my dear?! — раздается по большим залам... Where my dear?! — слышится в библиотеке... Where my dear! — И на пороге является она — мисс Бат — высокая, красная, вся в желтых локонах, уже поседевших значительно — статная, прямая, в сером поплиновом платье, застегнутом под самое горло, и здесь, на самом горле, огромная брошка блином, с двумя целующимися голубками. Where my dear! — И со слезами на воспаленных маленьких глазках,

со слезою на огромном носу, со слезою на большом отвислом подбородке, перепачканной в пудре, мисс Бат обнимает и целует Гризли, и Гризли целует ее, и слезы текут у обеих... тихие, радостные слезы. И в этих слезах улетают, разрешаются последние остатки разрушенных гимнов и ангельских хоров, последняя тень неземного...

И целый день идут тихие ласковые беседы у мисс Бат и Гризли.

— Мисс, моя милая мисс Бат, — говорит Гризли, — скажи мне: все эти великие люди, которых мыслями наполнены эти книги в шкафах, которых стремлениями воплощены эти картины в наших залах, — ведь это все передовые, высшие люди, это те, которые стоят ближе к Богу?

— Да, да. Oh, yes, my dear? Все это избранные, посланные, вдохновенные, которые сближали небо с землей.

И Гризли кажется, что все эти громадные залы сверху до низу наполняются этими великими, избранными. Они идут от всех наций, идут, гордо подав друг другу руки. Их плащи и мантии развеваются, колышутся пе-

рья на их шляпах; блестят их шитые кафтаны и белые парики. Вот и тот философ между нами, тот философ, что над всеми смеялся... маленький, худенький, он гордо закинул кверху свою курносую мордочку. А вот подле него идет в длинной красной мантии, с лавровым венком на белой шапке, что чепцом покрывает его желтую худую голову с длинным носом, — идет певец загробного мира — певец ада и рая. А вот и он слепой певец того же ада и рая — но как далеки они один от другого!..

Вот идет гордо, надменно повертывая голову, испанский посланник, в высокой шляпе с широкими полями, и колышется с важностью перо на его шляпе: весь он закутан в широкий бархатный плащ... И блестит-гремит на этом плаще золотая цепь Золотого Руна. Но что же он несет под плащом? Ах!.. это простая палитра, та палитра, на которой он нашел никогда не меркнувшие, яркие краски, и в них воплотил он идеал здоровья и грубой телесной красоты.

— Да и я иногда играю в посланника, — говорит он, — я иногда забавляюсь ролью посланника!

А за ним несут на плечах другого художника, его собрата, и Гризли сразу поняла, что это действительно царь художников, этот чудный юноша с такими красивыми женственными чертами. Он весь окружен блестящей атмосферой, и вся эта атмосфера, уходящая в небо, наполнена чудными, святыми образами Мадонн и Ангелов.

— O! Sancto Sanzio, Raphaelo divino! — кричит толпа и с восторгом протягивает к нему руки, к своему бессмертному художнику. И все нации сливаются в этом апофеозе человечества... в этом всемирном, всенародном празднике великого духа. Струны звенят, могучие струны!

Глухо где-то, в тайниках земли, гудят звуки и вдруг выходят на свет, на простор вольного воздуха, освежаются, становятся чище, светлее, явственнее; они растут, разливаются в жалобах сердца, дрожат любовью, стонут горем людским и вдруг сливаются все в общий гимн, и улетают в высь — звучат обещанием счастья, свободы, блаженства, любви бесконечной!..

Над старым домом царят жар и духота. Не колыхнет воздух. Удушливой, чадной мглой затянуло все над землею, и солнце, точно раскаленное, смотрит огненным пятном сквозь этот сизый туман.

Повисли листья на деревьях и ветки их опустились к земле, точно молят, жаждут хоть одну каплю влаги небесной!.. Но небо не слышит их за сизым туманом.

Порой там, где-то вдали, на горизонте, вздымаются кудрявые мгlistые облака... как будто обещают грозу, — темнеют и плывут выше. Вот-вот грянет гром благодатный, и легче станет в воздухе, и снова жизнь оживёт, заиграет, освежится.

Но тучи так же разносятся, и снова жар, снова духота, еще пуще прежней, и сизый дым, и красное солнце.

А в старом доме плач и горе.

Спит Гризли, спит уже шестой день, и не отходит от неё нянька. Не спит, не ест и плачет, бедная, — не может разбудить своей ясной звездочки.

Сидит в горе перед её постелью и мисс Бат, и старая тетка, и старый доктор. Думают-ду-

мают, не могут надумать, что сделать; чем разбудить их Гризли. И стоят посредине комнаты большие чаны и вазы, полные льду. И царит в комнате мраке непроглядный. Опущены все шторы и портьеры. И, все-таки, душно в комнате.

И среди этой духоты и темноты спит Гризли, словно заколдованная... спит полумертвым сном, ни дыхания, ни движения, и сам доктор, старый доктор, не знает, жива она или нет, и где теперь душа её, на земле или в том высшем мире, где нет ни забот, ни страданий...

Жар, духота на земле. Жар, духота в небе.

Словно раскаленное небо опрокинулось на раскаленную землю.

Но по этой земле, идут пешеходы, убогие страннички, идут-плетутся, еле передвигают усталые ноги по сыпучему, раскаленному песку. И широкой белой скатертью, на далёкие версты, вдоль широкой реки, раскинулся белый раскаленный песок.

Куда ни взглянут страннички — все бело, все блестит и сверкает, блестит сонная река, блестит песок сыпучий, блестит сизое, мгли-

стое небо, и только солнце смотрит с него раскаленным красным пятном.

Там, в стороне, тянутся грядки тальников, и повяли их белые, запыленные листья, а за ними видится роща, уют прохладный, и туда идут-тянутся бедные страннички.

— Ох, матушки мои, смерть моя!.. — стонет одна старушка — древняя и седая, и валится на песок.

— Э! что, бабушка... али умаялась? — говорить красный седой старик и останавливается.

— И впрямь умаялась, — говорят страннички. — Гляди-ка, древняя какая. Господи!.. Бабушка старая!

И все страннички остановились, точно обрадовались случаю. Обтирают пот рукавами, смотрят на красное солнце, на белый песок, на сизую даль...

— Никак гроза будет, вишь как синеют кудрецы-то.

— Страсть!

— Бабушка, пойдем! заморишься ты здесь совсем, солнце спечет тебя... — говорит седой старик. — Обопрись об меня, пойдем!.. Посо-

би-ко поднять ее, кум Михей!

И кум Михей — высокий, большелобый, лысый, с длинной белой бородой — нагибается вместе с дедушкой, и поднимает старушку, и трогаются в путь, ведут ее под руки, и все страннички бредут за ними, покорно опустив головы.

И вот встрепенулись страннички, дошли до леска.

Крестятся, молят-славят Господа... Посели, полегли, пьют из туезков, из бутылочек.

А сзади леска тянется рожь колосистая и бойко управляют в этой ржи страдные работницы, но не в моготу управляться им. Взмокли на них длинные рубахи; раскраснелись, растрепались головы. Ломит у них спинушку, отнялись рученьки.

— Матушка! родимая! дай попить, Христа ради! — подходит к одной из них странница убогая...

— Вот там! родная! — говорить жница, утирая пот концами платка. — Вот под лесинкой возьми, тряпичкой заткнуто...

И баба идет под леснику. Там лежат, спят два спеленатых ребеночка. У одного рожок во

рту. Подле них деревянный жбанчик, тряпичной заткнут. Баба оттыкает тряпицу, широко крестится и жадно глотает кислый квас. Напилась, поставила, глядит на крошечек, что спят рядышком на земле, смахнула овода, что впился одному в щечку...

— Двойняшки, что-ль? — спрашивает, вздыхая.

— Двойняшки, родимая, — говорит жница, и снова нагибается, и снова пошел гулять острый, кривой серп в жесткой, костлявой руке, с побурелой кожей.

— В пустынь идете?

— В пустынь, к празднику Христову. — И она перекрестилась.

А там, под маленьким кустистым дубком, приютилась бабеночка — хвора, немощная; лежит и охает, вся укутана тряпочками и лоскутиками. А подле неё сидит не шелохнется паренек — лет тринадцати, с таким славным, открытым, задумчивым личиком. А подле него девчоночка, поменьше его — точно Гризли. Такое же личико умное и ласковое. Такие же длинные кудри, что вьются из-под белого платочка. Такие же маленькие, смугленькия

ручки, а ножки босые, и сарафанчик на ней дырявый, в заплатках.

— Завтра мы с мамонькой, чай, в пустынь придем, — предполагает мальчик.

— Наверно дойдем, — говорит девочка, перевязывая травинкой печечек полевых цветочков.

И странно, чудно сливаются в её головке сон и явь. И кажется ей, что она была там, там, в старом зале, в котором собирались старые тени и говорили с ней картины, и пели ангельские хоры, и мисс Бат... Но все это смутно ей кажется, как в далеком, в далеком сне. Но что же с ней теперь? чем теперь она стала?

И снова ей кажется, что это так и должно быть: что теперь она не спит, что она крестьянская девочка, и перед ней лежит её хворающая мама. О, как ей жаль эту больную, слабую маму!

— А что, Гриша, — спрашивает она, с испугом смотря на его лицо, — что если мама умрет?!

Гриша с ужасом оглядывается на маму. Он перестал отряхивать пыль с своих грязных ног.

— Нет, — говорит он. — Зачем ей помирать? Господь милостив...

И поднялись, наконец, страннички снова в путь. Поднялась и хворая мама. Гриша и Гризли поддерживают ее, ведут, и тяжело переступает она, опираясь на длинную, сучковатую палку, — стонет и молится.

Опять вышли страннички на берег реки, и опять тянется белый, сыпучий песок и вязнут усталые ноги в этом песке... и точно длинная змея ползет по утопанной тропинке — идут, идут богомольцы. Идут с верой великой, что горы с места сдвигает, идут с теплым упованием, что двигает мировые океаны и волны народные.

Оглянулся лысый Михей... Снял шапку, перекрестился.

— Бог милости дает! — говорит.

И все за ним тоже сняли шапки и перекрестились.

Засинели тучки, напоззли на небо. Шире, темнее расходятся по небу. И ветерок, словно шальной, сорвется с них, взбороздит реку, поднимет пыль и песок и снова уляжется. И снова знойная тишь, и духота, а тучки плы-

вут, плывут, наплывают, словно свинцовые, тяжело и грозно.

— До дождичка бы добраться нам, — говорят страннички, — к вечеру, чай, придем к перевозу.

— Да, не ближе как к вечеру!

## VII

Стоят на перевозе, на устье реки, большие домины двухэтажные, — все заведения для проезжих гостей — с галдареями и балконами, и шумит и гудит народ вокруг них. Место бойкое, проезжее.

— Вишь Бог дождя дает. — говорит купчина, глядя на небо.

— Давно бы надот. Сушь какая! — говорит другой купчина, и пьют они, распивают чай на балконе.

— К праздничку едете, на ярмарку?

— К празднику, — говорит купчина.

А тучки ползут, накрывают небо, и холодком потянуло. Побелела дал. Пылью заволокло все. Наверху на галдарейке оконце хлопнуло.

— Эй! Селифан! — кричат. — Беги, скричи ребятам, чтоб оконце захлопнули! — Вишь

гроза идет.

А туча обняла полнеба и запрыгала молния по серому полотну. Что-то гудит и рокошет вдали.

— Град никак будет, — говорит приказчик, — вишь тучи седые... да хлопьями разметались.

— И то град, — говорит купчина: — виш, виш полосы какие!

А молнии так и хлещут. И вдруг прорезала, расчеркнулась яркая полоса — и вслед за ней щелкнуло где-то в вышине и затрещало словно пальба ружейная, загудело словно под землей, гулко и грохотно и раскатилось, улеглось в вышине небесной. Капли дождя, словно сплески воды, то там, то здесь грузно шлепнулись на землю, и всю пыль вскружило, понесло.

Завизжали мальчишки и понеслись, — понеслись, словно ветром их покатило, а впереди их теленок боком, боком, козлом, задрав хвост кверху.

Еще резче, еще ярче расчеркнулась молния, точно над самой доминой упало, грохнуло, затрещало, раскатилось и унеслось.

Задробил, засеменял дождь крупнее, чаще, и вместе с его шумом смешался резкий, шуршащий шум и треск, и град полетел, запрыгал по дороге, по крышам, по доскам, по бревнам, чаще и крупнее, и громче.

— Эге-ге-ге! какой, гляди! — закричал купчина.

— В орех! пра, в орех!

— В какой орех — в яйцо голубино! — И приказчик бойко соскочил с крылечка, закрываясь рукой, подхватил градину и взбежал опять, держа ее на ладони.

— Гляди-ка какой!.. Накось... — И все глядят-дивуются на градину, что срослась тройным сrostком.

А град шумит, гудит, щелкает, барабанит. Потемнело небо. Хоть глаз выколи.

Гул, шум, грохот, только молнии сверкают и ветер рвет и мечет, и град, и дождь без конца.

— Эй! эй! Степан! — кричит кто-то сверху. — Назарову-то избушку всю, как есть, разнесло.

— Эка буря! Господи!

И час, и два бушует буря, метет дождем,

хлещет молнией...

Наконец, нашумела, нагремела, пронеслась.

По набережной бежит, гудит целый поток, несет дрова, щепы и камни. И мелкий дождичек перепадает.

А по долам везде лежит град, — точно снег выпал.

— Вот так буря была! — говорит купчина, вылезая из горницы.

— У Дерькунова, что лесу поломало! Страсть!

— На мельнице, слышь, человека убило.

В воздухе холодеет. Небо заволкло тучками, и они несутся хлопками, точно догоняют друг друга.

А солнце садится в тучку, вещает назавтра ненастье.

Вечереет. Показались звездочки.

Наезжают купцы, наезжают господа. Снуют, шлепают по грязи. Шум, гам, что твоя буря. Колокольчики бренчат. Лошади фыркают. Кибитка за кибиткой подъезжают к заведению.

— Хозяин, пусти переночевать...

Смолкает говор, смолкает шум. Свежая, холодная ночь покрывает небо.

И вот вдали показались страннички, богомольцы, прохожие. Идут, ковыляют, шлепают по грязи и тянутся длинной вереницей, а кум Михей и дядя Степан впереди вожаками...

— Матушка-хозяюшка, пусти переночевать! На дворе то мокро, да сиверко. Завтра на зоре пойдем к празднику.

— Некуда, некуда, родимые... проходите, Господь с вами! — И идут страннички, путешествуют.

— Хозяин, а хозяин... пусти переночевать!.. Смерть устали, да и буря измаяла.

— Некуда, некуда, проходите дальше!

Страннички постояли, погуторили, пошли дальше.

— Матушка-хозяюшка!.. пусти, Христа ради! обсушиться! успокоиться. Смерть устали... Христа ради!

— Некуда, родименькие!.. Разве на чердак? Идите нешто на чердак. Только горницу-то вы всю изгадите, — ворчит хозяйка.

— Спасибо, родная, спасибо, матушка. Награди тебя Царица Небесная!

— Да вы лапти-то скиньте, разуйтесь здесь. О, несуразные!..

И страннички скидают лапти, разуваются, посели на крылечко, на балясины, на бревна.

— Ну, ступайте!.. Анютка, покажи им чердак, куда идти. Ступайте! Господь с вами! Эко навалило!

И страннички ползут, лезут на чердак — и трещит под ними лесенка.

— Хозяйка! хозяйка! Что у тебя за шум?

— Ничего! Страннички пришли... на чердак лезут.

И взлезли на чердак, набились, как сельди в бочонке, и хворую тетушку ввели или, вернее, внесли, и отвели ей уголок за печной трубой. Повалилась тетушка на сырую землю — лежит, стонет и охает, и подле посели и Гриша, и Гризли.

Там, направо, в уголке, возятся кум Михей с дядей Степаном. Достал кум Михей восковую свечечку, засветил ее.

— А вы пожару не наделайте, — говорит толстая старушка. Хозяйка, чай, тоже не любит с огнем-то.

— Нет... мы с Господом, — говорит Михей,

перекрестясь... мы опасливы.

И достает он большие очки, надевает на нос, и достает маленький требничек в кожаном переплете.

— Во имя Отца и Сына и Св. Духа! — говорит он, положив большой крест. — Господи помилуй, Господи помилуй! — И вслед за ним крестится и молится дядя Степан, а за ним и все страннички, которые еще не спят сном праведным.

Вдруг из-под полу в дверцу, лезет еще народ.

— Куда тут! — говорят.

— Что прете по головам-то! — Вишь нет места!

— Нас хозяйка пустила. Мы добрый человек, тоже устали, с пристани пришли — суда сплавляли!..

— Садись вот, царя, за печной трубой-то, вон в уголку-то!

— Там тетку не раздави! тетка, хворающая с ребятенками.

— Э! — брат, фатера важная!.. Что тетка, аль нутро подвело?

— Не трожь ее! Вишь нездорова...

А Гризли все слушает, на все глядит, широко раскрыла глаза, и вот, вот жалобный стон хочет у неё вырваться из груди.

Устали, горят, распухли её ножки, растрескались губы. Внутри все горит. Ко вся эта боль ничто перед тем, что совершается перед ней и о чем так плачет, скорбит её сердце... Нет, это не те образы — чудные, блестящие, что толпились перед ней там, в блестящих залах.

Тут жизнь только-что начинается, только-что выпустила из земли свой первый грязный росток... и темные образы, как черви, ползут в потьмах, без света Божьего. Только там, в уголке, светит маленькая свечечка, и широкия длинные тени ходят под навесом крыши, по балкам и перекладинам...

Вонь, духота — разуваяются работнички. От соседей Гризли так сильно пахнет и водкой, и луком, и дегтем, и овчиной, и как раз подле неё улегся толстый парень и прикрылся новеньким нагольным тулупом, храпит во всю ивановскую.

«Бежать бы отсюда вон! вон! Но куда же убежишь? Разве можно убежать от собственного сердца? Ведь оно тянет туда, куда бы и

не хотела!

«Мама, хворая мама! И этот Гриша, такой добрый и ласковый. Да и весь этот народ — простой и добрый, ведь прикипело к нему сердце, не оторвешь!

А Гриша положил головку к ней на колени, свернулся клубочком, лежит, дремлет...

И тяжело дышет, страшно дышет, хрипит, бедная мама!

— Камо прииду и возопию Господи! — читает мерно и кротко дядя Михей. — Ты мое прибежище, кого убоюсь. Ты моя сила, и враги ада не одолеют мя.

И кажется из глубины сердца идет его безжащий голос.

Слушает, слушает Гризли. И легче становится её собственному сердцу. И слезы наплывают, застилают глаза, катятся по смуглым, загорелым щекам.

— Господи! Праведен еси, и верна тебе тварь твоя, — читает Михей... — Милосерд еси, и милостью сердца преклоняемся к Тебе: Отче силы, Спаси и помилуй ны! В грехах рождены есьмы, — очисти ны! Горем спелены ны есьмы — укрепи ны! нуждою повиты есь-

мы — огради нас.

И кажется Гризли, что кто-то другой сидит, наклонясь к её лицу, и слушает святые слова покорной молитвы.

Она обертывается; но нет никого в темноте темного угла. Храпит парень, что подле лежит; храпят страннички. И только среди спящих и дремлющих мирно и сердечно раздаётся голос Михея:

— Кровью греха братоубийства заражены есьмы — очисти нас! Взгляни милостью, Богатый милостью! Призри на сокрушение сердца, на печаль души моя! Взалкала душа, возжаждала света Господа моего!

И опять кажется Гризли, что кто-то сидит подле неё и слушает. Она оглядывается на лежащую маму. Храпенье прекратилось.

«Уснула!» — думает Гризли и ощупывает ее руками. — О, как холодны старческие, окостенелые руки мамы!

— Оставь, оставь! — говорит чей-то голос Гризли. — Оставь мертвым хоронить мертвых!

Гризли оглядывается. Перед ней стоит мама. Но не эта мама, лежащая тут, убогая ста-

рушка, а другая мама — чудная, молодая, блестящая мама.

— Оставь мертвых хоронить мертвых и — говорит она, — и делай дело живое, великое дело — возрождения, развития, просветления. На твоих коленях лежит чистая душа, невинный агнец, и да будет он братом твоим. Выведи его из тьмы простой, первобытной жизни в высшие, светлые сферы мысли и чувства.

Исчезла мама. Осталась одна Гризли. Одна, среди спящего народа.

Погасла свеча дяди Михея. Замолкло чтение; только храпят странички и бормочут во сне.

Страшно и холодно Гризли. Подле неё лежит холодный мертвец. Улетела отстрадавшая душа.

— Гриша! — говорит Гризли, поднимая его головку с колен.

— Гриша! пойдем, милый!

— Куда? — говорит Гриша спросонья. — Я спать хочу.

— Пойдем, милый, пойдем, брат мой, — и она целует его липнувшие от сна глазки. —

Пойдем на свет, на чистый воздух. Здесь душно, темно...

Поднялся Гриша. Встали, идут.

Спотыкается сонный Гриша.

— Сюда! сюда! — говорит Гризли, — осторожно обходя спящих и доводя его до выхода. — Постой, я вперед пойду. Обопрись об меня!.. — И они сходят. Идут через горницы без шума и отворяют перед ними двери невидимые руки.

Прояснило. Яркие звездочки мерцают. Дремлет ясная зорька.

— Куда-же мы пойдём? — спрашивает отрезвленный Гриша, протирая глаза. — А мама?

И Гризли обняла его.

— Её нет, Гриша. Она отлетела, — шепчет она.

Совсем встрепенулся Гриша.

— Как отлетела?..

Гризли складывает его ручку, складывает вместе три пальчика и крестит его большим крестом.

— Приими и упокой, Господи, — говорит она, — новопреставленную рабу Анну!

Гриша посмотрел на нее своими ясными, голубыми глазами, задрожал, затрясся и зарыдал.

— Мамонька моя!.. Родимая!

Гризли обняла его, прижала к груди.

— Гриша!.. Я твоя мама. — Я твоя сестра, я не покину тебя.

— Пусти, пусти меня к ней! Я проститься хочу.

— Не ходи, Гриша, — говорит Гризли, не пуская его, — не ходи, милый, родимый мой! — Оставь мертвым хоронить мертвых. Тебя схватят, сиротинку.

Гризли увлекла его. Упираясь и плача, припав к плечу её, шел он по мокрому песку, по грязным лужам.

И шли они долго, шли мимо спящих заведений, мимо осокорей дупластых.

Насторожив уши, смотрели на них собаки, а в вышине небесной мерцали звездочки. Шли они дальше, дальше, в поле пустынное, и пропали вдали.

А страннички мирно храпели, усталые от далекой путины. Стала заниматься утренняя зорька, и проснулись они, потянулись, стали

вставать и креститься, стали толкать, будить маму Гризли... И не добудились. Поднялась суматоха.

— Вишь нехристи оголтелые! — кричала оторопелая хозяйка, чуть не плача, грозно поднимаясь, спеша по лесенке, — какую беду наделали! Мертвое тело навязали! Господи, не попусти!

«Мертвое тело! мертвое тело!» — гудит в ушах у странничков, угрюмо обступивших холодный труп и молча кидавших медные копейки на бедное рубище усопшей.

## VIII

Осиротел старый дом. Угрюмо стоит он, погруженный в глубокое горе.

В его парадной зале, в середине её, на черном бархатном катафалке, с серебряными княжескими гербами, стоит серебряный глазетовый гробик, и лежит в этом гробике Гризли, в белом кисейном платье, вся усыпанная цветами, — лежит хозяйка старого дома и спит сном тяжелым. Не могли разбудить её ни няня родимая, ни милая мисс Бат, ни тетка старуха, ни старый доктор.

Завешены зеркала и картины, опущены

портьеры и шторы. Мрак и тишина царят в старом доме. Только в парадной зале раздаётся мерное чтение над гробом усопшей. Да тихо голосить, плачет-заливается старая няня, упав на ступени бархатного катафалка.

В сером тумане стоит, не шелохнется, и сад, и парк— точно грустная дума томит их, и мелкий дождь, угрюмо каплет.

И точно плачут высокие ели и липы, старые вязы и дубы-хранители.

— Все меняется! все меняется!.. — шепчут они: — временная жизнь — мгновение; вечная жизнь — бесконечность.

Полегли, молчат резвые косули. Примолкли куры и сизые гульки, — словно чувствуют горе старого дома.

Со стоном подымается няня, всходит на ступеньки катафалка и с рыданием падает на гробик.

— Уснула звездочка моя ненаглядная! — плачет она — Уснула, моя радостная, оставила меня сиротинкой на старости лет!.. Господи! сокрушилось сердце мое... — И плачет она разливается.

И тихо идут часы за часами. Выше и выше

поднимается солнышко.

Перестал дождь, оседает серый туман; встрепенулись веселые птички; вскочили резвые косули; закричали заахали голосистые куры.

И прорезало солнышко густой туман своим ясным лучом, радостным... И все улыбнулось. Засияли цветы. Громче засвистели птички, заблестели кусты и деревья; все засияли слезинками, точно маленький ребенок, что улыбнулся сквозь слезы.

Упали солнечные лучи в парадную залу, ворвались в окна, — и вся засияла парадная зала; упали они на гробик Гризли, — и весь заблестел глазетовый, гробик... Упали они на Гризли, — и жизнь теплым лучом пробежала по мертвому личику. Тяжело вздохнула Гризли, вздохнула и повернулась.

А нянька замерла, остолбенела; и верит, и не верит она глазам старым, и дрожит, и трясется, и крестится. Повернулась Гризли, подняла ручки, ухватилась за края гробика, и все цветы посыпались с неё.

— Няня! — говорит Гризли. — Он здесь... Идем скорей!

— Кто, матушка? кто, родненькая?

— Он! брат мой! Он там ждет на балконе, он плачет.

И старая няня хочет вынуть ее из гробика и не может; а Гризли сама встала, оперлась на её плечи, спустилась, сошла со ступеней и пошла, шатаясь, по зале.

— Матушка родненькая! — лепечет няня и, сама шатаясь, плетется за Гризли. — Куда ты, ангел мой? дай насмотреться на тебя! — А старые глаза от слез совсем не смотрят!

Ведет Гризли старуху няню на балкон. Там, на широких каменных ступеньках сидит Гриша и тихо плачет.

— Гриша, Гриша! — говорит Гризли, бросаясь к нему.

Гриша вскочил, остолбенел.

Перед ним Гризли, но не та Гризли, что привела его в старый дом, привела издалека. Та Гризли была в худеньком сарафанчике, бо-соножка. А эта барышня в кружевном платье, в цветах.

— Гриша! что ж ты не узнал меня? — Гриша! — И она обняла его крепко. — Ведь это я, сестра твоя... Пойдем, пойдем ко мне! — И она

ведет его мокрого, босоногого.

— Матушка! — шепчет няня. — Родная моя, что это, ясочка моя? — и крестится, и не может надивиться.

А Гризли привела своего брата прямо в свою спальню, сажает его, мокрого, грязного, на бархатный табурет; и Гриша совсем одурел, широко раскрыл рот и руку в него сунул, и не может надивиться на все, что перед его глазами совершается, точно в сказке волшебной.

— Родная ты моя, радостная, княжна моя ненаглядная! — Да откуда этот мальчишка взялся, простой деревенский мальчишка? Чудо Господне! — Да не бес ли это, матушка?.. Да не обнимай ты его! Смотри, он всю тебя перепачкал.

— Ничего, няня, все это снаружи; только внутри было бы чисто.

— Да откуда-же это? — Кто это? Звездочка моя!

— Брат мой, няня, брат мой от Бога! Няня, люби его, целуй его!

— Куда его целовать, — его сперва вымыть надо... Что расселся перед барышней? — Ведь

это княжна, дурень, — понимаешь ли ты?

— Ничего, няня, он не понимает. — Не тронь его. — Он младенец невинный, добрый мой, — и Гризли гладит, его, расправляет волосы, что копной торчат на головке Гриши.

— Господи! Господи! Да ты сама-то сядь! Ведь еле движешься, дрожишь вся. Сядь, родненькая! — И няня усаживает Гризли на кроватку. — Господи! не верится все мне: из мертвых восстала!

А Гриша на все смотрит, дивуется — на резной потолок, на бархатные ковры, на золоченые обои.

— Гриша, милый мой, — говорит Гризли. — Садись здесь, садись возле меня.

— Куда его — ужасается няня. — Куда, поганый, на княжескую постельку!.. Матушка родная, ведь его прежде всего вымыть надо. Так-таки просто в корыто да мочалкой, да щелоком; ведь он ровно свинья: весь в грязи!

— Нет, нет, няня; его прежде накормить надо: ведь он целые сутки ничего не ел. Давай нам есть скорее!

— Куда сутки! — ворчит няня. — Целых шесть суток сама не ела, не пила. Ох, Господи!

И идет няня, кричит сенных девушек, лакеев, буфетчиков.

А Гризли смотрит на Гришу и не может на-смотреться. Встают в её памяти, выходят одна за другой сцены из их странствования.

Тихое, холодное утро. Солнышко только-что показалось. Идут они мимо длинной деревни. Подходят под каждое окошечко.

— Батюшки, матушки! Царствия Небесного радетели, сотворите милостыньку Христа-ради!

Но молчат окошечки, упорно закрытые, не открываются; не подается милостыня Христа-ради.

— Давая петь! — говорит Гриша. — Мамонька покойная меня научила.

И встают они под окошечко и жалобно раз-даются в утреннем воздухе их детские голоса:

*Христе Сыне Божия Христе  
Милосердый,  
Сотвори благое,  
Сотвори нам милость!  
Праведные Пречистые,  
Преблагия, Пресветлый,  
Избави от горя,*

## *От нужды великой!*

И раскрылось окошечко, вывалилась краюшка. Жадно подхватил ее Гриша.

Перекрестились, пошли.

— На, кушай! — говорить Гриша, отламывая половину краюшки.

И идут, идут птицы Божьи. Идут и день, и два, идут куда? — сами не знают. Но только они верят, крепко верят, что они придут к старому дому, о котором Гризли рассказывает такие чудные сказки.

На третьи сутки обессилела Гризли; устали ноженьки, непривычные к лаптям деревенским, непривычные к ходьбе многодневной.

Сели они около лесочка, подле овражка, места глухого. Вдруг из овражка лезет, щетинится страшная морда. Глаза блестят, рот зубастый раскрыт.

— Это волк, — шепчет Гризли в ужасе.

— Ничего, — говорит Гриша: — ты только перекрестись, он ничего не сделает небоженькам.

И небоженьки перекрестились. Волк порычал, порычал, защелкал зубами, прижал уши

и вдруг быстро повернул назад и в три прыжка исчез в овражке.

— Гриша, — говорит Гризли: — это твоя мама нас спасает. Она не дает нас никому в обиду.

— Может быть, мама, — говорит Гриша: — а может быть волк просто испугался, подумал, что его застрелят.

Посидели, отдохнули небоженьки и пошли. И целых пят суток они шли так, побираясь Христа-ради; день идут, а ночь ночуют в поле или в гуменниках, а иногда и в избе, коли пустят переночевать.

— Как же это вы одни идете, сиротливые? — спрашивает какая-нибудь сердобольная бабенка.

— Идем, тётенька, — говорит Гризли — с Господом!

— Куда-ж, мол, вы идете?

— В Архистратигино.

— Это в княжое имение?

— Да!

— Эко чудо! Одни, сиротиночки!

Через две недели показалось Архистратигино. Гризли оживилась; каждое деревцо,

каждый кустик теперь ей знакомы.

— Вон видишь, Гриша, — говорит она, вся раскрасневшись: — вон, вон блестит церковь, а вон и парк, а за ним — за ним будет старый наш дом.

И Гриша дивуется, широко раскрыв глаза. Его сердчишко усиленно бьется.

Дружно, бойко идут они. Куда усталость девалась.

Серая мгла стелется кругом них; серые брызги дождя обдают холодом. Ничего не замечают они. Бойко идут, шлепают ноженками по грязи, по лужам и ближе, ближе подвигается; идет навстречу к ним, с открытыми объятиями, край обетованный.

А колокол заунывно, медленно, удар за ударом, перезванивает, точно по покойнике...

## IX

Собрался ареопаг в голубую гостиную. Все, что имело голос в семейном совете, все засело.

Седые, дряхлые, в старых токах и фраках, с светлыми пуговицами, в жабо и брыжах, а князь Иван Александрович приехал даже в парике с косой. Впрочем, не сам он приехал, а

привезли его, и как засел он в длинное кресло, обложившись подушками, так тотчас и погрузился в сон праведный. И никто не будил его. Все знали, что он проспит себе все сощещание и снова отвезут его домой, как дорогую куклу.

Все сидят тихо, говорят вполголоса, точно в старом доме был тяжкий больной. Но не больной, а здоровый стоит за дверьми залы, ожидая решения ареопага. Стоит Гризли и крепко держит за руку своего названного брата, умытого, расчесанного, разодетого в красную шелковую рубашку и черные плисовые шаровары. И таким красавцем смотрит Гриша в этом нарядном костюме, в этой роскошной пародии на простой наряд деревенского парня, что невольно хочется на него любоваться.

А Гризли перед ним такая худенькая, изжелта-бледная; только чудные, черные кудри красят её миловидное личико, на котором теперь упрямство, решимость и сила горят в черных больших глазах.

Тихо шушукает, шумит, гуторит ареопаг, шепчет, переговаривает.

Все ждут старую тетку. Без неё никто ничего решить не может. И княгиня Ненила Дмитриевна, и княжна Мэри, и граф Вадим, и графиня Д'Ивличь, и князь Петр Петрович, и генеральша Друсса-Любавская — все ждут старую тетку.

— Чу! — говорят, кажется, подъехала.

И, действительно, подъехала, в громадной карете, четверней, с фореитором, двумя лакеями и тремя компаньонками. Другого экипажа никогда не знала «старая тетка». И никто не представлял и не мог представить ее иначе, как едущую в старой карете с фореиторами и двумя лакеями на запятках. В ней она ездила в церковь и во дворец. И входила в него во всякое время прямо, без доклада.

Никто не знал, сколько ей было лет и всякий, кто знал ее лет 20–30, жил, старелся и умирал, оставляя ее такою же. «Старая тетка» не старелась. Вставала она в пять часов, ложилась в одиннадцать; целый день деньской на ногах, творит суд и расправу, шлет приказы и распоряжения во все свои ближние и дальние земли. А земель этих было не мало, — в одной Перми великой, на Сибирской

стороне, не одна сотня тысяч десятин и не один завод плавил и ковал в её казну медь, свинец и железо.

Говорят, сами Государь покойный не раз бывал у старой тетки и называл ее «делец-баба».

Встал, поднялся ареопаг со своих мест. Все встали для встречи старой тетки. Одного только князя Ивана Александровича не могли добудиться в его перинном кресле. Вошла старая тетка, громко стуча своей палкой и на всех смотря строго и гордо из-под своих черных, как сибирский соболь, бровей. Тёмно-серые глаза её бегали и светились острым, холодным блеском. Громадные седые букли обкладывали всю голову, и только на самой макушке поднимался высокий шиньон, из желтых брюссельских кружев, что наплела еще в прошлом столетии известная кружевница Фанни Фан-Верг.

Все поклонились низко старой тетке. Всем она кивнула милостиво головой. Князю Петру Петровичу дала поцеловать свою старую, выхоленную разными парижскими косметиками руку, в черной ажурной митэнке. При

этом промолвила:

— Не бегай за бабами, — старый кобель — и погрозила пальцем. — Слышу твои шашни — вся Москва говорит о них. — А на князя Илью Сергеича застучала палкой.

— Ты что это, старый греховодник, — закричала она: — на старости лет пустился в кляузы, да ябеды, крючком крапивным сделался. Брось! брось! брось, сударь! Не княжеское это дело, — отбивать хлеб-соль у сирот. Чтобы завтра же дело было покончено. Завтра же, завтра же!

И желтый, лысый князь еще больше пожелтел он этих слов и молча низко поклонился. При чем длинное лицо его еще сильнее вытянулось.

Уселись все около маленького круглого стола, за который села сама старая тетка, — села в то самое старое маленькое кресло покойного князя, на котором он работал. И кто бы теперь взглянул на нее, сидящую на кресле покойного, на её большой нос, на её оттопыренную нижнюю губу — не сказал бы, что это сестра старого князя.

Княжна Анна Тимофеевна, которой было

вверено специально воспитание Гризли, встала, подошла к столику, за которым сидела старая тетка, и обстоятельно доложила обо всей истории.

— Не знаю, как быть — добавила она. — Явился неведомо откуда, словно бес, прости Господи, просто деревенский мальчишка — и ухватилась за него, и знать ничего не хочет.

Но старая тетка прервала ее.

— Приведете их сюда! — приказала она.

И Гризли с Гришей вошли, держась за руки. Гризли вела, гордо подняв голову, своего названного брата. Она чувствовала и знала очень хорошо, что никакие силы не могут отнять от неё её Гриши.

Подошли к старой тетке. Милостиво дала она поцеловать им свою руку. Потом взяла Гришу и поставила его прямо против себя. Она долго, прямо, улыбаясь все больше и больше, смотрела на его умное, открытое личико, в его ясные, большие глаза.

А Гриша думал, соображал в это время. Думал: что за кудри большие, ровно кудель, наверхены у старой тетки на голове и ровно полотенце кружевное собрано у неё на макуш-

ке; а руки... но не знал Гриша, даже как придумать название тому, что было надето на руках старой тетки. Нравилась ему большая золотая цепь, что висела у неё на шее, и невольно посмотрел он на золотую пуговку его красной рубахи.

— У меня така же запонка-то, — сказал он, слегка дотрагиваясь до золотой цепи.

Многие из ареопага всплеснули руками и покачали головой; многие улыбнулись при этой ребячьей выходке маленького дикаря.

Старая тетка также улыбнулась и потрепала по щеке Гришу.

Потом тихонько указательным пальцем, на котором были надеты дорогие перстни, супиры и сувениры, — поманила к себе Гризли.

— Он люб тебе? — спросила она ее почти шепотом.

— Он брат мой, тетя, — сказала прямо и гордо Гризли.

— Ты хочешь, чтобы он жил здесь — в доме князя Ивана Аполлоновича?

— Хочу, — сказала Гризли, также гордо и непреклонно.

И старая тетка быстрым движением руки

поставила ее в середину круга.

— Читай завещание князя Ивана Аполлоновича, — приказала она, — громко читай завещание — повторила она.

— «Во имя Отца и Сына и Св. Духа», — начала Гризли громко и отчетливо...

— Пропусти начало — поправила тетка. — Читай дальше.

— «Завещаю я мою вотчину, княжего рода, в род мой...»

— Пропусти, — опять прервала старая тетка. — Читай с этих пор: «и да будет её воля нерушима».

Гризли быстро подхватила:

— «И да будет воля её нерушима, и все, что она пожелает да будет исполнено по её желанию — и никто вопреки оногo, ее ни к чему приневолить не может».

— Остановись! — прервала старая тетка. — Хочешь ли ты, княжна Гризельда Аполлоновна, — начала она громко и торжественно, — чтобы твой приемыш и названный брат, Григорий Бестяглый, жил здесь, в твоём родовом доме, вместе с тобою?

— Хочу! — сказала Гризли, также гордо и

непреклонно, как прежде.

— «И все, что ты пожелаешь, — прибавила старая тетка, — да будет исполнено по твоему желанию, и никто вопреки оно́го ни к чему тебя приневолить не может».

— Слышали вы? — обратилась она ко всему ареопагу. Все молчали.

— Слышали вы, — повторила она вопрос, — последнюю волю брата моего, князя Иоанна Аполлоновича?

— Слышали, матушка княгиня, — сказал старый князь Лев Спиридонович и, встав с своего бархатного кресла, поклонился старой тетке. А за ним и все встали и поклонились ей, кто просто кивком головы, как бы в подтверждение правды её слов, а кто, отвесив низкий поклон, чуть не до земли в пояс. И все подумали при этом: как же нам прежде это в голову не пришло? а все это напутала княжна Анна Тимофеевна. И что тут в самом деле важного такого, что девочка хочет взять к себе приемыша холопа? Что же тут особенного? и зачем надо было нас всех собирать? беспокоит!

И все они, при этом забыли свое прежнее

распоряжение: «ни под каким видом не пускать Гришу в барские покои».

У всех точно гора с плеч свалилась. Все начали рассуждать, говорить, о чем в голову пришло и о чем не успели наговориться у себя, в своих хоромах и княжеских палатах.

А Гризли, довольная, сияющая с пылающими щеками, с сверкающими глазами, увлекла Гришу в дальний угол комнаты, туда, где на пьедестале из ляпис-лазури стояла раззолоченная ваза, которой знатоки и цены не находили.

— Гриша! — говорит она полушепотом, крепко сжимая руку названного брата. — Гриша! теперь мы с тобою не расстанемся. Тебя не прогонят от меня. Ты рад?!

Гриша посмотрел на нее рассеянно и ничего не ответил. Его занимали все эти бары — в париках и манжетах, — занимали звезды, которые сияли на груди князя Петра Алексеевича, занимала старая моська княжны Мавры Степановны, и, в особенности, её арапка. Он с изумлением и страхом смотрел на её черное лоснящееся лицо, толстые губы, на сверкавшие ослепительной белизной белки

черных, блестящих глаз и на её вышитое золотом красное платье...

## Х

Раннее утро. Радостное солнце играет в старом доме. Оно играет, на золоте и мраморе, на хрустале и фарфоре. Оно сверкает радужными огнями в гранях стеклянных подвесок, стелется мягким блеском на штофных обоях. Косой луч его упал в голубую гостиную, и расцвела и заиграла вся голубая гостиная. Поползли теплые отсветы по голубому штофу и светлые блики засверкали на золоченой мебели, на раззолоченных вазах.

Радостный луч сверкает и в сердце Гризли. Все трепещет внутри её и каждый нерв её дрожит и поет радостную песню.

И вся она сияет, как нарядная лютня, и не замечает, как сильно натянуты все её струны, и чутко отзывается в ней каждый луч радостно сверкающего солнца. Она знакомит маленького дикаря со старым домом. Она все показывает и обо всем рассказывает Грише. И так полно, переполнено её сердце, — так много ей надо передать, с самого начала, другому ответному сердцу, — что нет у неё слов. Да и

что значат слова, когда само сердце просится говорить и слиться с другим, — милым, родным сердцем?!

— Вот это наша зала, — показывает она Грише.

— Эка большуща, ровно церковь, — замечает Гриша. — А нешто меряно — сколько в ней саженов? — И он меряет глазами, и на его детские глаза зала кажется неизмеримой. — А это что? — спрашивает он, указывая на статуи света, несущие канделябры, — это ангелы?

— Нет, это гении света — объясняет Гризли. — Они всюду вносят жизнь и свет, всюду!

И не может понять Гриша, как неподвижный статуи могут вносить свет. Он подходит к ним и проводит ручкой по ножке статуи.

— Ишь — пылища-то, — говорит он, показывая запачканную руку. — Из лебастру, чай, сделаны?

— Нет, Гриша. Из мрамора. Есть такой камень как известка, только твердый такой, знаешь слегка прозрачный...

— А там это больши раззолочены палати? — спрашивает Гриша, показывая на хоры.

А Гризли смеется и объясняет ему, что там, на этих палатах, играют музыканты, когда внизу, в зале, танцуют. Идут дальше, в желтую гостиную.

Гризли подводит его к молящемуся мальчику.

— Посмотри-ка, Гриша, — говорит Гризли: — он молится. Посмотри, какое у него доброе, прекрасное лицо.

— А зачем-же он голый? — недоумевает Гриша. — Ровно из бани!..

— Это ангельчик!.. Гриша!

— Ангельчик!.. а зачем-же вон в том углу смеется? Это тоже ангельчик? — спрашивает Гриша, указывая на амура.

— Нет, это амур.

— Ну, а если вон этот не будет молиться и засмеется, так он тоже будет амуром? — спрашивает он.

И Гризли вдруг поражает это сходство: «да почему же, — думает она, — я называла одного ангельчиком, а другого амуром?»

— Видишь-ли, Гриша, — говорит она, — амур — это бог любви, маленький такой божок, которому поклонялись древние римля-

не, а ангельчик — это служитель Бога.

— Да чем-же они разнятся? — снова недоумеваает Гриша. — Ведь энтот и вон тот все равно мальчики, оба голенькие и с крылышками. Разве ангельчик не может смеяться?

— Может, да не так, не таким смехом: ведь ты посмотри, Гриша, — и она схватывает его за руку и подводит к статуе, — ты посмотри, милый, разве может так смеяться ангельчик? Ведь это плут-мальчишка. У него смех и грех на уме. Он смотрит как бы созорничать. Разве же это ангельчик?!

Но Гриша не убеждается этой разницей.

— Нет, — говорит он, — я чай, тот мальчик может тоже смеяться.

Но Гризли не слушает его и увлекает дальше, увлекает в голубую гостиную, со стен которой смотрят большие потемневшие, старинные картины. Она показывает ему «Жертвоприношение Исаака». Из почернелого фона картины как-то странно, клочками, выдаются: часть тела Исаака, рука Авраама и половина лица ангела. Гриша ничего не понимает в этой картине, как ни толкует ему Гризли.

— Да зачем же Он велел резать, — спра-

шивает он, — ему сына?

— Затем, чтобы узнать, послушает он Его или нет!

— Да ведь Бог все знает! — Как же Он не знал, послушает-ли Авраам Его или нет?

— Ах, Гриша! Бог дает нам свободу делать так, как мы хотим. Как же Он мог знать: послушает Его Авраам или нет? Он хотел испытать, любит ли он Его больше, чем своего сына?

Гриша ничего не ответил. Он только отвернулся от картины и подумал: «как же Бог не знал, любит Авраам Его или нет?.. Ведь Он все знает!»

Гризли подвела его к Юдифи, и глаза её заблестели.

— Смотри, Гриша, смотри, какое чудесное лицо у этой женщины! Знаешь-ли? Она пришла в лагерь, в стан неприятеля. И полководец Олоферн пригласил ее отужинать с ним; она согласилась, а когда, после ужина, он заснул, то она взяла его меч и отрубила у него голову. Потом отнесла эту голову в лагерь, к своим иудеям. Когда противники увидели эту голову, то на них такой страх напал, что они

сняли лагерь и убежали.

Гриша молча долго смотрел на вдохновенное лицо Юдифи, на темное лицо спящего Олоферна с оскаленными белыми зубами.

— Как же, — удивился он, — приближенные-то полководца не остановили ее? Значит, они были глупые или изменщики.

— Гриша, да кто же знал это? Она пришла такая красивая, молодая... Кто же мог подумать, что она решится на такой поступок!

— Да как же он не закричал! — удивился Гриша. — Ведь ему, чай, больно стало, как она начала голову-то рубить?!.. Нет!.. Это просто так... все враки одни!..

И он отвернулся от картины, заложил руки за спину и бойко двинулся дальше. Гризли подвела его к «Усекновению главы».

— Вот, вот, Гриша, посмотри сюда. Видишь эту святую голову. Ее отрубили, потому что женщина — вот эта — Иродиада — попросила, чтобы ее отрубили. Видишь: палач кладет эту голову ей на блюдо. Он — св. Иоанн — был праведный, любил правду, а мать этой женщины была злая, лживая; он обличал ее, бранил, и когда дочь её угодила царю своей пляс-

кой, и царь сказал: «проси, чего хочешь у меня, я все исполню», то она выпросила у него голову Иоанна Крестителя.

Гриша ничего не отвечал. Он только спросил:

— А это все иудеи были?

— Да, иудеи!

— Этакое чудо, — подумал он: — там женщина отрубила голову, а здесь для женщины отрубили голову.

— Они верно злые были? — сказал он, отвертываясь от картины.

— Кто?

— Да иудеи?

— Нет, они были великие. Это был великий Божий народ. Гриша, а злой был их царь Ирод и злая женщина Иродиада.

Гриша ничего не ответил, а молча прошел в другую залу, с темно-малиновыми обоями, в залу с большим окном в потолке, и это окно, прежде всего его удивило.

— Ишь ты, — проговорил он вслух, — окно-то в потолке! Это зачем же так?

— А так лучше, Гриша, когда свет сверху падает, а не с боков светит... Посмотри, какая

прелестная группа этих юношей! — И она подвела его к гениям смерти и жизни. — Посмотри на этого, что сидит. Видишь, какой он грустный, печальный и опустил свой факел к земле. Это смерть; а другой — это жизнь; видишь, как бодро и гордо он поднял горящий факел к небу! Как он радостен!

— А что это такое хакел? — любопытствует Гриша.

— Факел, — поправляет Гризли, — это прежде в древние времена, у греков и римлян были этакие светильники, которыми все освещали.

— А как же вон у нас в церкви на стене написана смерть, что к монаху пришла, так там шкилет и с косою?.. А здесь вон вьюноша? Это, стало быть другая смерть?

— Другая, Гриша, другая! — говорить восторженно Гризли. — В ней нет ничего уродливого, пугающего, отталкивающего. Не правда ли, она не страшна? В ней много грусти, печали. Но она не страшна. Не так ли, Гриша? Ведь прежде лучше представляли смерть, чем теперь, не правда ли?

Но этот вопрос не укладывается в голове

Гриши.

«Смерть — все равно смерть... — думает он. Вон мамка умерла, а какая смерть ее взяла: смерть ли с косой или этот вьюноша с хакелом, — не все ли равно! Умерла — и нет ее».

Но Гризли увлекает, уводит его в угол, к статуе Психеи.

— А за смертью вот что идет, Гриша, — вот смотри: другая, светлая жизнь! Вот эта милая девушка, что держит бабочку на руке... это душа человека. Она, как бабочка из куколки, выйдет из тела человека и упорхнет в небеса.

Но здесь представления Гриши окончательно запутываются.

— И у мамки такая же душа? — спрашивает он, указав на Психею.

— Н-нет, Гриша! Это душа всех вообще людей. Мы только воображаем, думаем, что душа человека должна быть такой же красивой, такой же легкой, как эта прекрасная девушка с легкой бабочкой.

— А платье на ней како?

— Это платье носили древние греки. Не правда ли, это красивое платье?

— Зачем же девушку в платье одели, а

мужчин вон — все голых сделали? У греков разве мужчины не носили ни платья, ни рубахи?

— Нет, носили, но не всегда. Там тепло, в Греции, Гриша.

— И зимой тепло?

— Да, и зимой тепло!

— И не стыдно им без рубах ходить? — дивится Гриша.

Но Гризли увлекает его дальше.

«Как же мне это прежде не приходило в голову? — думает она. — Смотрела, любовалась на весь этот классический мир и видела в нем только одну красоту, мысль, правду и ничего больше. Нет, это просто — маленький, грязный дикарь, который не может еще видеть внутренней, духовной красоты».

— Гриша, — говорит она, когда они вошли в скромную, голландскую залу. — Гриша, люби красоту, как любили ее древние греки. Они не думали, в рубашке или без рубашки ходит человек, а думали о том, красив он или нет? У них во всем были строй и красота. И что может быть лучше красоты, Гриша? Это лучшее, что дал нам Бог Милосердый!

Но Гриша ничего этого не понял. Он осматривал штучный, мраморный пол и скромное убранство серенькой голландской залы, и небольшие картинки в черных рамках. Утреннее солнце ярко светило сквозь опущенные шторы, и вся зала смотрела приятно и покойно.

— А здесь нет статуй-то, — заметил он.

— Да! Но здесь есть чудные картинки. — И она подвела его к кабачку, перед которым пиروвали и плясали веселые мужички и женщины. — Посмотри, как им весело, как все они довольны! — сказала Гризли. — И на всех здесь картинках ты увидишь довольство, радость, покой...

— А красоты нет здесь? — спросил резко Гриша. — И рамы здесь все, значит, простые, черные, а там, значить, все красота и золото? — и он кивнул головой на другие залы.

Гризли посмотрела на него удивленными глазами.

— Да, красоты здесь нет! — согласилась она задумчиво... — Но не там красота где золото, Гриша!

И в первый раз в жизни ей стало грустно в

этой уютной веселой зале. Она вдруг почувствовала, сознала ту пропасть, которая разделяет взгляд её и её названного брата. И ей стало тяжело, что она не может много объяснить ему, что у них даже самый язык разный. Машинально она подводила его к картинам, машинально толковала ему, а сама думала:

«Что же такое красота и что такое эта некрасивая, но довольная, уютная жизнь? Ниже или выше она красоты? Нет! — решила она: — красота — это выше жизни, это то, что является сверху, с вышины небесной, и приходит к нам случайно, обрывками. Но отчего же не было красоты в этих простых, грубых, великих, святых пастырях? Отчего?»

И она задумчиво, машинально взяв Гришу за руку, через небольшую галерею вошла с ним в библиотечную залу. Здесь царствовал полумрак. Темные шторы были опущены, но сквозь открытые окна чувствовались жизнь и тепло летнего, солнечного утра. Тихо, таинственно тянулись ряды книг в дубовых шкафах. Таинственно смотрели бюсты с их вышины. Тихо, неслышно, по мягкому ковру вошли

Гризли и Гриша — и остановились.

— Это что ж тако? — шепотом спросил Гриша. — Книги?.. Ровно аптека.

Гризли молча кивнула головой.

— Книги. Лучшие друзья человека... Они будут твоими друзьями, Гриша. Ты будешь читать, много читать.

— А это что же стоит на шкафах? — спросил Гриша, указывая на бюсты. — Тоже красота?

— Это красота ума, Гриша. Это высшая красота. Это те люди, которые много знали, а еще больше думали. Это те вдохновенные, которые указывали другим, как и куда идти?

«Да! — подумала она. — Есть две красоты: красота тела и красота ума. Нет, есть три красоты: есть красота сердца. И вот ее-то имели все они — эти простые великие, святые пастыри. О, она неизмеримо выше всего, что есть на земле!»

— А это что ж тако? — спросил Гриша, робко подходя к шкафчику, в котором сидела кукла-статуя женевского философа.

— Это память о том, в котором были в одно время красота ума и красота сердца, — сказа-

ла Гризли и растворила двери шкафчика.

Философ встал. Гриша испуганно смотрел на его неподвижное, лакированное лицо, на его безжизненные стеклянные глаза. И в самом движении этого мертвого подражания живому человеку чувствовалось что-то пугающее и уродливое.

— Закрой! — вскричал Гриша, покраснев. — Я не хочу смотреть на него.

Но когда Гризли послушно закрыла дверцы шкафа, и статуя, тихо поскрипывая, снова опустилась и села на стул, — Гриша взял руку Гризли и тихо прошептал:

— А ну-ка, открой еще!

Гризли снова открыла — и снова приподнялся философ.

— Как же это так сделано? — спросил Гриша, всматриваясь в куклу, с трепещущим сердцем и подходя сбоку к шкафчику.

— Там, Гриша, пружина — внутри. Когда дверцы отворят, то пружина эта поднимается и поднимает всю куклу.

Но Гриша не поверил. «Как же — подумал он, — когда дверцы отворяют, то пружина должна опускаться, а она поднимается?»

Гризли снова тихо закрыла шкафчик. Гриша усердно, пристально вглядывался и ничего не мог понять.

— Пойдем, Гриша, дальше, — сказала Гризли.

— Да ты мне растолкуй, как она так сделана? Дверцы растворяются — а он опускается?

— Не знаю, Гриша. Будешь читать книги и узнаешь, как это устроено.

«Отчего-же — подумала она — это до сих пор меня не интересовало? Или оттого, что меня занимала одна красота, а это просто — механика?»

— Но, дальше, дальше, пойдем, Гриша!

И крепко ухватив ручку Гриши, она повела его в угловую. Ей хотелось туда, где были жизнь и свет, — хотелось вон из этого полумрака. Там музыка. О! она непременно подействует на него; для него все станет ясно, и он поймет сердцем то, что не может понять умом.

Но до музыки еще долго не пришлось добраться. Гришу заняли и невиданные растения, и золотые рыбки, и в особенности фонтан, игравший серебряным шариком. Он ди-

вовался и расспрашивал, откуда взялась вода и отчего золотые рыбки не водятся в наших прудах, и отчего большие цветы не могут цвести в наших лесах. И на все эти вопросы Гризли принуждена была отвечать одним досадным: «не знаю!»

Но вот она, наконец, за роялем. Она усадила Гришу подле себя, на мягком табурете. Она выбрала, казалось ей, самую легкую, для детского понимания, пьесу.

— Слушай, Гриша, — говорит она: — представь себе ночь, лес... Ведь бывал ночью в лесу?

— Один не бывал, — говорит Гриша, — а с мамонькой ходил. Раз мы заплутались.

— Ну, хорошо, слушай! Представь себе: по лесу едет ездок и на руках везет мальчика-сына.

И она начала быстрые, мрачные, мерно стучащие аккорды.

— Отец прижал мальчика к груди.

«Обняв его, держит и греет старик»...

Толковала Гризли, стараясь, чтобы в нежных переливах, перебивающих мерно-стучащий лошадиный топот, Гриша услышал лю-

бовную заботу отца об его малютке.

«Что сын мой так робко ко мне ты прильнул?» — спрашивает отец, а сын, слушай, отвечает ему:

*«Родимый! лесной царь в глаза мне сверкнул?»*

— Видишь, он испугался. Слышишь, какой испуг в его словах? Слушай, слушай, Гриша, — теперь отец отвечает ему:

*«О, нет! все спокойно в ночной тишине,  
«То ветлы седые стоят в стороне».*

— А что такое лесной царь? Это кто такой? — спрашивает Гриша. — Это леший, что ли?

— Ах, нет, Гриша! — и она перестала играть и закрыла лицо руками! — Видишь, у нас это леший, а там в Германии, это лесной царь. У нас это безобразный, мохнатый лесной человек, а там — красивый старик, весь в белом, с большой седой бородой и в светлой короне. Это чудный царь лесов... Но слушай, слушай дальше!

— А что значит: красивый старик?..

— Слушай, слушай!.. — говорит Гризли, прислушиваясь сама к чудному говору лесного царя. — Слышишь, как ласково говорит он с мальчиком:

*«Дитя! оглянися! младенец, ко мне!  
Веселого много в моей стороне.  
Цветы бирюзовы, жемчужны струи  
Из золота слиты чертоги мои».*

А вот видишь, видишь, — заговорил опять сын. — Слышишь, как испуганно он говорит отцу:

*«Родимый! Лесной царь к себе нас манит.  
Он золото, радость и перлы сулит!»*

А вот-вот опять спокойно, тихо отвечает отец:

*«О, нет, мой младенец, ослышался ты!»*

Но Гриша не слушает — ни что говорит сын и лесной царь, ни то, что отвечает отец.

Давно уже, с первых аккордов, он был поглощен одним вопросом: что и как играет в этом громадном, кривом ящике на трех пузатых ногах? — Он тихо приподнялся, встал на колени и заглянул под крышку рояля.

В это время мальчик отчаянно всхлипывал. Звучали тонкие, жалостные, дискантовые нотки, — и вдруг, Гриша увидел, что под крышкой рояля прыгают какие-то куколки, с маленькими серыми головками.

— Гризли, Гризли! — заговорил он торопливым шопотом: — смотри, смотри туда! Это что тако прыгает там? Какие-то куколки. Ма-а-ахонькия!

Гризли сняла руки с рояли. Вся поэзия улетела; все радостное, восторженное, так высоко поднятое чувство довольства, наслаждения превратилось в озлобление: грусть тоску, разочарование. Она закрыла лицо руками, опустила голову на рояль и отчаянно зарыдала.

Гриша соскочил со стула. Он несколько мгновений растерянно стоял перед названной сестрой. Потом робко начал теревить ее за рукав платья.

— Гризли! Гризли! — допрашивал он. — О чем ты, Гризли? Тебе чего, скажи мне, роденькая моя, о чем?

И углы его носа начали подпрыгивать; рот искривился; он быстро, часто замигал и громко заплакал, утирая кулаком слезы.

Гризли откинула, подняла голову, схватила обеими руками руки Гриши и притянула его к себе.

— Не плачь, глупый, не плачь! Это так, пройдет. Видишь, я не плачу, все пройдет.

И она крепко поцеловала его.

— Пойдем, бежим скорее. Пойдем в сад, в парк. Туда, дальше от красоты.

И они побежали в сад, в парк. Солнечное утро, душное, жаркое стояло над вековыми дубами. Песок накалился. Косули спали в тени, и только птичник шумел и голосил нестерпимо...

Так голосит какой-нибудь кузнечик в сухой траве и, среди жаркого дня и общей томительной тишины, выводит свои бесконечные трескучие трели...

## XI

Тучи плывут, тучи несутся на черных кры-

льях жаркой июльской ночи. Плывут они с севера, плывут с полудня, плывут, наплывают со всех четырех сторон света.

Страшно, тяжело в душном воздухе. Грозная тишина притаилась, молчит. Что-то зреет в её таинственной мгле?

Только порой порыв ветра проснется, побежит, взмоет целое облако пыли и снова уляжется.

Только порой какой-то зловещий, подземный гул и глухой рокот, где-то тихо, урюмо прокатится и заглохнет.

Темная, черная ночь в старом доме.

Все мертво, застыло среди гробовой тишины.

Страшно, пустынно в большой зале, все молчит среди страшной, черной ночи.

Неслышно, из дальних комнат, из мышинных норок собрались, как маленькие тени, по углам огромной залы, старые мыши и крысы. Собрались, столпились и молча, чутко ждут, приложив уши: что будет, что свершится в таинственной ночной тишине, среди зловещего страшного мрака!

А в этом мраке, над самым паркетом, плыв-

вут, клубятся темные тени. Какие-то неуловимые образы тихо носятся, поднимаются, как облака тонкого дыма, встают— уродливые, безобразные, — выше и выше, растут и расплываются, как тонкий серый туман, как неопределенное стремление человека.

Из гостиной, так же как тень, является Гризли. Легким облачком пара, тихо плывет она, белеет среди мрака, и относятся от неё, уплывают, как от дуновения летучего ветерка, мрачные, безобразные тени.

Они протягивают к ней длинные, когтистые руки, но эти руки бессильно клонятся долу, закругляются и разносятся как хлопья тумана.

— «Слушай, слушай и умей понимать!» — тихо шепчут мрачные, высокие стены.

— «Слушай, слушай и умей понимать!» — чуть слышно шепчут мрачные призраки!

— «Слушай, слушай, слушай и умей понимать!» — не глазами, но всем своим чудным движением, говорят прекрасные ангелы света.

И тихо загораются огни над их головами, загораются огни светочей, которые несут они.

И Гризли кажется, что едва заметный свет разливается от этих огней.

И чем дальше смотрит она, тем сильнее и сильнее становится этот свет. Вся зала проникается им. Он идет оттуда, сверху, с потолка. Но этого потолка уже нет. Он весь покрыт ровным, блестящим светом, а внизу еще чернее сумрак, и в этом сумраке борются темные тени.

Они силятся подняться к свету, но их когтистые руки бессильно тают, расплываются в этом свете. Он спускается каким-то светлым облаком, и в этом облаке Гризли ясно видит другие светлые образы.

Бот является целый сонм чудных дев, в длинных пеплумах. Их прекрасные, блестящие лица дышат одушевлением; их одежды светятся, сияют. Они идут в толпе чудных юношей с пальмовыми ветвями; и в середине их сияющий Феб, окруженный музами, спускается в лучезарной колеснице. О, какая красота! Непостижимая и неподражаемая красота.

Но еще блестящее нисходят сверху другие образы. Они прозрачны, совершенно прозрач-

ны, как блестящий, сияющий воздух. В их лицах любовь и безмятежность соединились в чудной гармонии. Они светятся нестерпимым, но удивительно-приятным, нежным, ласкающим светом, и меркнут перед этим светом, погружаются в безобразную тьму, все красивые девы и юноши. О, это другая красота, высшая красота!

А там, выше, нисходит еще более светлое, блестящее облако, нисходит что-то неведомое, но желанное, влекущее.

И вдруг среди темной тьмы, внизу, слабо засиял какой-то тусклый, красноватый свет.

Гризли смотрит и не верит глазам. Нестерпимый ужас охватил её сердце. Там внизу, среди безобразных темных чудищ, стоит её названный брат — её Гриша. Он держит в правой руке чудовищный пылающий факел, и от этого факела быстро разлетаются, как летучие мыши, темные образы. Он высоко поднял факел; свет его коснулся чудных дев и красивых юношей. И задрожали, и побледнели прекрасные образы. Они слились в одну густой, серый, тусклый туман. Еще выше поднял факел Гриша, и все расплылось, исчезло.

Исчез целый мир красоты, исчез вместе с блестящим, сияющим Фебом.

У Гризли замерло сердце.

— Пусть исчезнет — прошептала она, — эта красота тела, красота земная! — И жадно следила она за факелом. Еще выше поднял страшный факел Гриша и потряс им в воздухе. Свет его коснулся тех дивных образов, которые стояли там, вверху, казалось, в недостижимой вышине.

Образы поднялись еще выше и засияли нестерпимым блеском.

— Все должно очиститься в огне обновления, — проговорил глухо Гриша, и звук его голоса сухо отдался, как деревянный, во всех углах громадной залы.

Он еще раз потряс страшным факелом.

— «Умри мертвое! воскресни живое!» — произнес он громко и бросил факел.

С страшным громом упал он вниз; пламя его разлетелось с оглушительным взрывом, разбросалось на тысячу огненных языков, и все запылало.

Запылали стены, гений света, запылали темные образы и чудные девы.

Крик, гам пошел по всему старому дому. Огонь работал везде.

Черные облака удушливого дыма заволакивали, душили темные призраки. Все валилось, падало. Стены, мебель, колонны, трупы, статуи. — Это был хаос смерти и разрушения.

Гризли хотела двинуться, вскрикнуть и не могла, не могла пошевелить ни одним суставом.

Дым рассеивался; исчезало все, что было разрушено, убито. Исчезли темные образы, исчезли светлые девы и юноши, и только везде, всюду разливался царящими волнами полновластный, непобедимый, торжествующий свет.

Она подняла глаза кверху. Там среди ослепительного света, что-то спускалось торжественное, страшное его чистотой и святостью...

Сердце её остановилось. В ужасе она вскрикнула и... проснулась!..

Она проснулась в своей комнате. Окна были завешаны большими зелеными шторами; подле неё сидела тетка; сидели доктора и нянька; у её постели тихо всхлипывал Гриша.

— Очнулась! Ожила! — прошептала старая няня и начала креститься.

Все подошли. Доктора начали ощупывать ее и выслушивать.

Она ничего не замечала, не чувствовала. Она вся была полна одним страстным желанием. Она порывалась несколько раз схватить Гришу за руку, притянуть его к себе, и, наконец, это ей удалось.

Они обнялись и оба зарыдали.

Он плакал, припав к её плечу, а она обнимала его голову... Она отводила его волосы, падавшие ему на глаза... Она целовала эти глаза.

— Гриша! Гриша! — шептала она... — Милый!.. Чего не может присниться в диком, нелепом сне?! Гриша!.. Да и что вся наша жизнь, как не сон, и все пройдет как сон, и все кончится ярким, ослепительным светом.

## Часть вторая

### I

**В** полном разгаре весенний пир. Радуетса небо, радуется воздух, радуются кусты и деревья, чуть-чуть прикрытые молодыми, лакомыми листочками.

Все благоухает — все полно восторгом, и птицы свистят, поют без умолка.

Все ветлы покрылись зеленоватыми пушистыми цветами, все акации расцвели желтыми цветочками, и пчелы, шмели суетятся, снуют вокруг них, гудят радостным гулом.

Все полно трепетом жизни, везде из всех пор она брызжет светлым радостным родником. Шумят воды, шумят ручьи, бегут и пенятся, шумной радостью, быстрые реки.

Не радуется один старый дом. Он постарел, на целый десяток лет. Угрюмо смотрит он на праздник жизни и хмурится.

Немного окон открыто в нем — остальные стоят закупоренные, закрытия, точно глаза слепого.

Старческие трещины пошли по старому дому: —обвалилась штукатурка, обнажились

кирпичи и выглядывают то там, то здесь, словно кости худого дряхлого старика.

Расселась большая каменная терраса. Посохли на ней все вьющиеся растения. Посохли померанцевые и лимонные деревья. Растаскали их и распродали больше половины.

Куда делся роскошный цветник; куда исчезли розы? Замолк фонтан — и только старые ели, по-старому, качают седыми головами и тихо шепчут:

«Бренное проходит — вечное остается!»

Зарос, запустел старый сад. Аллея, по которой ходила Гризли к косулям и на птичник, заросла травой. Статуи стоят почернелые, с отбитыми руками и носами. Птичник заглох. Перевелись куры и голуби. Перевелись и косули.

Мерзость запустения царит в старом саду и доме.

Тиной зарос, позеленел светлый пруд. Старые осокори попадали в его заглохшие воды.

Умерла птичница, умер старый садовник, умерли старая няня и старая тетка.

И новая жизнь играет и тешится на обломках старой, шумно пирует на празднике вес-

НЫ.

Раскрылись двери старого балкона, вышла на них Гризли. Стройная, статная, вышла на весенний пир, остановилась. Смотрит в тень старых деревьев, на яркие луговины, по которым пестреют весенние цветы.

Но весна не живет ее. Грустно её лицо; строгие античные черты его проникнуты легкой нежащей, задумчивой грацией. Это — головка Беатриче Ченчи, обрамленная целым каскадом длинных, черных кудрей. Угрюмо смотрит она на старые ели, смотрит на разросшиеся кусты брионий, которые, как космы зеленых волос, опутали эти старые, старые ели. Тяжело, мрачно в её сердце. Тяготит на ней печаль старого дома!..

— Господи! — думает она. — Разве не Твоей великой волей двигаются волны жизни!.. Разве не законна была эта красота, которая проникла и вела эту жизнь вперед, как светлое, святое знамя — к человечности и к свету истины?..

Но отчего-же при этом вопросе тоска и смущение нападают на её сердце?!

Она посмотрела опять на разрушенный,

заглохший цветник, на замолкший фонтан, с которого сняли треснувшую, развалившуюся чашу. Она с невыносимо тяжелым чувством подумала о пышных розах, которые цвели здесь перед балконом в дни её милого детства, её светлой юности...

«Бренное исчезает; вечное остается!» — шепчут старые ели, угрюмо качая вершинами.

— Что же это вечное!? — допытывается Гризли... и куда же идет этот темный мир, в его слепом детском, животном стремлении?..

Она посмотрела вопросительно кругом — на веселый праздник весны...

Все суетилось, пело, летало — двигалось... В каждом золотистом молодом листке, в каждой свежей зеленой травинке чувствовалось движение, стремление жить, расти — волноваться.

Все было деятельно... Одна Гризли ни к чему не стремилась... Для неё была чужая эта ликующая жизнь природы.

Отлетело, увяло все, что красило эту жизнь, что волновало надеждами... В её сердце была осень, скучная осень угрюмого, ста-

рого дома.

## II

Она вздохнула и вошла в его парадные залы.

Мраком, пылью, душным, тяжелым воздухом пахнуло на нее. Где же то, что живило, что наполняло эту жизнь старого дома?.. Отчего так радостно, с таким упованием когда-то трепетало её сердце?..

Неприятно, темно было в парадной зале, точно в саркофаге древней гробницы.

Никто уже, давным-давно, несколько лет не обтирал пыли с её стен и эти стены смотрели — черные закоптелые, точно покрытые седым мохом. Паутины застилали все углы, свешивались с потолка длинными черными нитями.

Вся лепная работа с него давно уже свалилась, отвалилась местами и штукатурка и темные, грязные пятна — расплылись, желтели то там, то здесь. Позолота потемнела. Чехлы на люстрах окутались пылью. Не сверкали уже сквозь них бриллиантами хрустальные подвески и чем-то страшным казались они в темноте высокого потолка, точно висельники

старого, умершего времени.

Паркет потрескался. Он скрипел и трещал даже пол легкой походкой Гризли. Штучные узоры на нем как будто протестовали против каждого её шага; как будто говорили: «не тронь кости мертвых, не ходи по нас!»...

Она шла дальше... Шла к тем картинам, которые, наполняли когда-то её восторгом и трепетом — молодую, восторженную душу.

Но теперь эти картины потрескались и почти вовсе почернели. Только кое-где выступали на них бледными, грязными пятнами освещенные места.

Она остановилась перед Юдифью. Она силилась отыскать те черты её лица, которые когда-то ей так нравились и вливали в сердце энтузиазм и восторг. Где же эти черты? Их нет — а в сердце черство и сухо.

— Ты прав был: прав с твоим грубым суждением дикаря — шепчет она.

И в её мозгу стоит его сентенция, его приговор над этой картиной, и как будто слышится его голос — сильный и звонкий.

Это все сочинено и придумано. Разве могла молиться женщина, перед тем как отру-

бить голову. Тут нападет страх или злоба, а не молитва. Гораздо уж вернее картина Гораса Верне. Там действительно видишь озлобленную жидовскую фурию... и разнежившегося развратного ассурского сатрапа... а здесь... в чем она одета — что за театральная балахон?! Да и сама она точно вышла на сцену в Comedie Francaise и произносит тираду из Корнеля или Расина... — Исторический художник должен быть строг более, чем всякий другой. От него все века прошлого требуют исторической правды... а это... это просто героиня с подмостков, с фероньеркой на лбу... Все условно, придумано и все наврано... без стыда и совести. Все ложь, а в лжи нет красоты, она в правде.

И после этого приговора картина опротивела для Гризли. В ней остались только одни воспоминания привязанности к прошлому, к глупому, но дорогому, к безобразному, но милостивому.

Она боялась смотреть и на другие картины. Ведь и над ними тяготело его осуждение. Ей страшно было подойти к жертвоприношению Авраама — до того был тонок и едок при-

говор над ней... да притом она так почернела, что ничего нельзя было уже разобрать на сплошном темном полотне.

Она прошла со вздохом и мимо Соломеи.

— Отчего же Будде не отрубили голову — вспомнилось ей — и Христу не отрубили... а Иоанну отсекали?.. Отрубили и восхищаются, и умиляются... Да отчего же нужна эта кровь!? Отчего!..

Но вопрос остался без ответа.

Гризли порывисто подходит к маленькой картинке, к сияющей картинке, в которой, в темных яслях, лежит Он и светит, и блесит, и сияет... Она смотрит как много света разлито во всей этой картинке.

— «Да все это условно... вспоминается ей... Она сияла... в свое время... а теперь потемнела... И если ее поставить перед новыми эффектами света... то она покажется просто черным пятном... А где же здесь магии?... (допрашивал он). Небесная мудрость поклоняется, а земная отсутствует... В этой картине мысль хороша. (Да! Он похвалил ее и этим гордилась и дорожила Гризли)... Здесь «человечность» возведена в Божество, окружена све-

том и этот свет идет из нее и все освещает... Да выше этого света нет ничего в целом свете и все пред ним должно преклониться...»

И она — утешенная этим отзывом — вошла в следующую залу... Там он похвалил цветы, плоды... Но как он посмеялся, как жестоко посмеялся над всеми статуями.

— «Чепуха! — сказал он, остановившись пред Психеей... Чепуха!.. как и всякий идеал... Кто и когда видел душу человека?! Какая она такая? Увидали что бабочка выходит из куколки и обрадовались символу... И этим восхищались и до сих пор восхищаются...

— А это другая чепуха — идеалистика... — сказал он, останавливаясь перед гениями жизни и смерти... По мне уж лучше «родосский гений» Гумбольдта... Там все-таки ближе к истине... а это вздутый мыльный пузырь, который будет висеть в воздухе... пока не лопнет...

— Тебе вот что нравится. — сказала Гризли подводя его к борцам.

— Ничуть не нравится!.. — Я, скорее помирюсь с Лаоконом... Там для анатома и антрополога больше материала... а здесь...

— Но ты смотри с точки красоты, изящного... волнообразных, и красивых линий...

— А что такое красота?... — спросил он резко.

— То, что нам нравится...

— Ну это так широко... Что все сюда провалится...

— Так определи же ты: что такое красота?...

— То, что меняется с веками, нациями, развитием человечества и чего мы еще далеко не знаем.... В настоящее, бедное время, «красота» все то, что дает нам полную жизнь, довольство ей... Наконец именно то, что дает ровное, постоянное наслаждение этой «жизнью»... А здесь! И он широким взмахом руки окинул всю залу... здесь все ложь... все придумано, выдуманно... Что нам нравится?!.. Китаец так же может находить красивым его картины и украшения... Но разве для нас — это красота!!..

И она, опустив голову, входит в библиотеку...

— Господи!.. Как все старо и мертво здесь!.. Словно мертвецы глядят мраморные бюсты

с шкафов. Словно погребальные урны стоят длинными рядами, книги — книги потемневшие, пожелтевшие, покрытые пылью. Никто не оботрет, не стряхнет эту пыль. А там, в северном углу, они покрылись темными, зелеными пятнами, обросли плесенью... И какой-то тяжелый затхлый запах истлевшего мертвеца!.. И мертвая кукла великого философа сидит неподвижно... Теперь Гризли знает, как и почему она поднималась; он, — её Гриша, — добрался до механизма, показал и объяснил ей, как и почему. Только при этом пружину сломал и с тех пор кукла сидит неподвижно.

Гризли идет дальше от этих мертвецов, которые хранят живые, вечно юные мысли и чувства... идет к её роялю... на который время уже наложило свою тяжелую, недумующую руку. В последние десять лет он уже стал не тот. — Его нотки начали издавать дребезжащие, точно стонущие звуки... И вся его музыка словно дрожащий голос, уже постаревшей певицы — который звучит воспоминанием, отголоском когда-то свежей, давно минувшей, иного обещавшей весны...

Она вынула старую пожелтелую ораторию об вечном слове распятого Бога-Слова... И рожаль запел грустным надтреснутым тоном. Было что-то невыразимо тяжелое в его хлябающих звуках. Было больше чем страдание; была могильная, все схоронившая безнадежность... Каждый старый звук повторял одно и то же, как старые ели.

«Бренное проходит, вечное остаётся!»

Она взяла фальшивый аккорд, вздрогнула и вдруг остановилась. Этот аккорд напомнил ей другой из Лесного царя. Напомнил ей сцену детства... когда она плакала над этой рожалью, разочарованная непониманием «его» — «его» — дикаря-ребенка...

Теперь другое горе, другое разочарованье, иная тоска... Тяжелым грузом налегла она на сердце и опустила его в могилу забвенья... Все, все в этом зале, в этом старом доме объято страшным сном смерти. Все глохнет, разрушается тихо... незаметно и неотразимо. Старые мысли, старые чувства гибнут. И это яркое, весеннее солнце светит безучастно на все. Оно одно неизменно. Оно светит на всю эту древнюю пыль: на растрескавшиеся по-

толки, полинялые обои, потемневшую позолоту и бронзу...

Страшна, страшна эта смерть старого дома!

И одна она — Гризли живет среди его разрушающихся стен — словно немой сторож времени. И нет в сердце силы выйти на встречу новой жизни. На новые стремления, на новую дорогу.....

### III

Тихий лунный свет робко крадется по лесам и полям, по рощам и лугам. Кротко светит полная, ясная луна, в глубокой небесной чаше.

Затих весенний пир... Заснула природа, и только ночной хищник беззвучно крадется в ночной темноте.

Луна светит на старый дом и под этим светом белеет он, словно покрытый белым саваном смерти.

Свет её дробится и искрится на окнах старого дома, на высоких окнах балкона и тихо беззвучно открывается средняя дверь. Гризли показалась на балконе-террасе.

Лунный свет обхватил её белое длинное

платье и в нем она белеет, точно привидение, среди сумрака ночи.

Лицо её спокойно, глаза закрыты. Она тихо идет, шатаясь и колеблясь, как тростинка от дуновения ветра.

Она вышла на террасу. Она спустилась с её широких растрескавшихся ступеней. Заколесилась, остановилась.

Но какая-то неудержимая, неодолимая сила повелительно зовет и влечет ее вперед. Она вытягивает, простирает руки к маленькой роце, что стоит сбоку старого дома. Там живет он... Тот, кому с детства она отдала и свое сердце, и свою душу — её Гриша.

А он стоит уже на небольшом каменном крылечке маленького домика. Он так же протягивает к ней руки и точно какая-то невидимая сила выходит из этих рук и влечет неудержимо Гризли, тянет ее к себе.

Его голова гордо закинута назад — красивая голова с немного грубыми чертами чисто русского склада. На лбу — высоком, нависшем над глазами — время, труды и горе, вырезали глубокие борозды. Длинные светло-русые волосы его точно вихрем разметались во все

стороны. Глубокие серо-голубые глаза, как два огня повелительно, непреклонно смотрят в даль — полные могучей, несокрушимой воли.

Гризли вступила в рожицу. Она подходит к домику. Она вся дрожит и трепещет. Она колеблется, шатается, чуть не падает, но neodолжимая сила влечет ее к тому, кто стоит на крыльце маленького домика и повелевает всеми силами её души.

Она вступила на первую ступеньку крыльечка, Он отступил к дверям и скрылся за темной занавесью, которая отделяла его от рожи и сада.

Медленно поднялась она по немногим ступеням.

Она вошла в небольшую, совершенно темную переднюю, вошла в большую, также темную залу, в которой все было разбросано в каком-то хаотическом беспорядке. Приборы, инструменты, книги валялись на полу, в углах комнаты. Громадный стол, перед большим венецианским окном, весь был завален всякими мелочами. Лунный свет играл и искрился на целом строе каких-то стеклянных трубо-

чек, на длинных высоких подставках, прямо торчащих кверху. Луч света упал на полотенце, брошенное на мягкое кресло и среди таинственного мрака, проникнутого слабым, фосфорическим лунным светом, это полотенце белело, словно привидение. Оно как будто расплывалось и двигалось, каким-то прозрачным туманом.

Он повелительно указал ей на это кресло, и она покорно опустилась в него и глубоко вздохнула. Голова её свесилась и поникла.

Он встал перед ней и, устремив свои руки, направил все пальцы их прямо на её темя.

— Можешь ли ты видеть теперь? — спросил он вполголоса — но твердо, повелительно.

— Могу... — тихо проговорила она.

— Можешь-ли видеть то, что я желаю?...

Она молчала. Он еще сильнее, еще повелительнее устремил свою волю на все существо её.

— Нет!.. Нет! Не могу!.. — И она откинула голову на спинку кресла.

Он несколько мгновений держал руки все в том же утомительном напряжении. На вы-

соком лбу его выступил холодный пот.

Она лежала и казалось спала покойно.

— Я вижу... — тихо проговорила она.

Он весь обратился в слух.

— Я вижу... гору... высокую гору... а над ней тёмносинее, южное... ясное небо...

— Мне не нужно твоей горы и этого ясного неба, — вскричал он раздраженно. — Мне не этого нужно... Смотри!

И он снова устремил остаток всей энергии, последние свои силы на её волю... Но сил этих было уже не много. Руки его дрожали. Воля утомилась...

А она лежала неподвижно и казалось спала глубоким, мирным сном.

— Я вижу, — тихо, чуть слышно проговорила она... И снова, точно от электрического удара, явились в нем и внимание, и силы.

— Я вижу, — говорила она, и чем далее говорила, тем тверже и громче становилась её отрывочная речь: я вижу вершину высокой горы... Она вся покрыта камнями... Голая вершина... Нет! На ней кусты, кое-где кусты, с сучьями, с искривленными сучьями... Они покрыты иглами... Кое-где травка... пожелте-

лая... Она посохла... Крутом камни... Большие камни!

Она остановилась, приподняла голову и усиленно вглядывалась плотно зажмуренными глазами...

— Ах!.. Идут!.. Два человека идут сюда... На вершину горы... Впереди идет старик... С длинной седой бородой, в большом тюрбане, в белой абу... с широкими темными полосами... Ему жарко!.. Он несет жаровню... Она полна углей... горячих углей... а дым от неё, — густой дым, — так и стелется по земле... За стариком идет красивый мальчик... юноша... с таким ясным лицом... Он почти голый. Он несет на спине вязанку дров и хворосту.

Несколько секунд прошло в молчании, среди которого раздавался бой часов в соседней комнате, да мерно тикал какой-то аппарат, стоявший на столе.

«Опять она галлюцинирует... — думал Гриша. — Опять я не могу сладить с её представлениями... Она видит какую-то картину собственного изобретения!..»

Вдруг она сказала так явственно и громко. Они взошли на гору!.. Старик что-то гово-

рит юноше (и она, раскрыв рот, начала прислушиваться). Нет! Ничего не слышно (и она откинулась на спинку кресла и тихо заговорила): вот юноша сбросил вязанку... Вместе с стариком они начали таскать тяжелые камни. Они складывают из этих камней низенький, но широкий четырёхугольный столб... Ах! это жертвенник... Старик кладет дрова и хворост на этот жертвенник... Юноша что-то говорит, чего-то словно ищет, об чем-то спрашивает старика — и тот отвечает ему. Ах!.. Опять ничего не слышно!.. Старик указывает ему на небо... И юноша смотрит туда... в самую глубь неба... смотрит восторженным взглядом. Он складывает руки на груди, а старик поднимает веревку, которой были связаны дрова и начинает связывать ею руки юноши. Он связывает тщательно, заботливо... Затем связывает ему и ноги. Он крепко обнимает, целует его и вдруг схватывает его сильными руками, поднимает и кладет на дрова и хворост. Юноша побледнел, но глаза его горят и прямо смотрят в глубину блестящего неба. Ах! Старик торопливо вынимает из-за пояса широкий, блестящий нож, жертвенный

нож... Вот он схватывает левой рукой юношу за волосы... гнет его голову назад...

Она замолкла, и вся дрожала... Затем глубоко вздохнула и снова тихо начала:

— Старик смотрит на небо, смотрит любящим и верующим взглядом... Какое-то облако наплывает на небо... Какой-то смутный шум летит из облака... Старик вдруг резко оборачивается назад... Ах! Там в кусте терновника запутался рогами громадный белый баран и рвется, не выдерется... Старик дрожит. Из глаз его льются слезы. (И она тихо начала всхлипывать). Он торопливо развязывает юношу. Что-то говорит, нежно целует его и оба опускаются на колени, оба плачут, поднимают дрожащие руки к жаркому, блестящему небу...

Она замолчала.

Прошло несколько мгновений... Она застыла, вытянулась... И каким-то глухим, грудным голосом, вовсе не похожим на её голос, тихо, внятно проговорила:

— Любовь победила любовь! Любовь к небу победила любовь к единственному сыну. Великий прообраз великого Отца, не по-

жалевшего, для спасения людей, его единственного, единокровного Сына.

И с этими словами она дико, громко вскрикнула и быстро скатилась с кресла на пол. Голова её тяжело стукнулась о плиты каменного пола.

Гриша нагнулся над ней и начал обмахивать ее руками и энергично дуть ей в глаза, в лицо.

Она тяжело вздохнула и открыла глаза...

#### IV

Широкое, необозримое, мрачное поле, перерезанное оврагами, тонет в ночном сумраке.

Гризли летит над ним, легкой прозрачной тенью.

Она летит, и вся душа её трепещет и содрогается.

Все поле залито кровью... усеяно убитыми и ранеными.

Злой ветер несется над полем и твердит постоянно одно и то же:

«Десять тысяч! Десять тысяч!.. Десять тысяч твоих родных, единокровных братьев лежат здесь — лежат убитые, или изуродован-

ные, умирающие...»

И видит Гризли как лёгкие тени носятся над убитыми. Они поднимают руки к небу. Хотят взлететь, подняться выше и не могут.

Их руки опускаются, их головы падают бес- сильно на грудь; на их одеждах тяжелые брызги братской крови...

И Гризли слышит, как раздаются жалоб- ные, надрывающие душу стоны раненых, но она ничем не может помочь им. Страшная мука видеть страдания брата, не зная, чем по- мочь ему!

На громадном поле и в глубоких оврагах мелькают огоньки. К одному из них подлета- ет Гризли. Она думает, что это спасительные огоньки санитаров, что люди помогут их страждущему брату, который страдает от их- же братоубийственной руки.

Три человека наклонились над раненым. Он стонет так жалобно — и кажется сердце из камня тронется его стонами. Люди наклони- лись над ним. Маленький фонарик на поясе одного усатого человека прямо светит в лицо раненому — в молодое, бледное лицо, полное страдания.

Люди торопятся. Они с быстротою молнии стаскивают с раненого дорогой гусарский мундир, вытаскивают из карманов кошелек, бумажник, часы.

Раненый открывает глаза.

— Лиза! Это ты? — тихо спрашивает он, вглядываясь в безобразное лицо.

Но только что успел он выговорить эти слова, как длинный и острый кинжал по самую рукоятку погрузился в его сердце. Он дико вскрикнул и как бы подпрыгнул. Теплая кровь брызнула на убийцу, на Гризли. И она с ужасом отлетает прочь. Она несется дальше, дальше от страшной картины — а ветер постоянно гудит, и в её ушах раздаётся раздирающий душу крик в её глаза смотрят добрые, любящие глаза убитого!

Не помня себя, она летит дальше. Запах крови уже не преследует ее. Воздух становится тише, свежее, чище.

Где-то в стороне лает собака. Пахнуло дымком.

Вот опять огоньки, много огоньков. Гризли вздрагивает, всем своим прозрачным, воздушным, телом. Но эти огоньки светят так ти-

хо и мирно.

Гризли вглядывается. Они светятся в окнах избышек— больших двухэтажных и крохотных, покачнувшихся. Дым несется из всех труб. Отрывочный людской говор слышится на улицах.

Вот у одной избы столпилась кучка людей. Они проходят на двор, входят в избу. Гризли невидимкой идет за ними.

— Бабушка Лукерья, Матрена! — кричат люди... — чай, не спите... Эстафета приехала. Письмо привезли.

И вся кучка людей входит в избу, тускло освещенную лучиной.

И все крестятся, молятся на передний угол, уставленный образами. Посреди избы стоит вдова, солдатка Матрена, хозяйка избы. С полатей слезает сын Митя, 20-летний малый, с добрым румяным лицом, с ясными голубыми глазами. С печи лезет бабушка Лукерья, старая на старая, нос крючком, спина дугой, седые космы торчат из-под высоко повязанного платка, черные блестящие глаза глядят — из-под седых бровей. Слезла, спустилась, стучит посошком, ковыляет — идет — и все пе-

ред ней расступаются, и все ей кланяются. Все, в целой деревне в целом околотке знают и слушают бабушку Лукерью.

Перекрестились, помолились. Нарочный подал эстафету, письмо...

— От Микиты! — вскрикнула Матрена. — Сердце чует от него! — и слезы в два ручья побежали из её глаз.

Распечатали письмо, выступил вперед Васька, паренек грамотный по двенадцатому годку и стал читать.

«Матушке любезной, нижайше кланяюсь и слезно прошу родительского благословения. Пишу из гошпиталя под Епаторией. Сила на нас поднялась великая. Хранцуз и турок, и англичанин с ими берут силой русскую землю. Погибнет наша земля, в полон возьмут ее бусурманы и нехристи. Матушка, родимая посылай на мое место Митьку; ему делать около тебя нечего, а я совсем не гожусь; извели меня нехристи; обе ноги отрезали, руку повредили, искалечили. Завтра, бают, помирать буду за царя, за веру православную, за землю родимую. Прости, моя матушка родимая, не печалуйся благослови!..

Страшный, раздирающий душу крик вырвался из груди матери. Обмерла она, опрокинулась; подхватили ее, положили на лавку.

Перекрестившись бабушка Лукерья; головой затрясла, выступила вперед.

— Митя! — позвала она твердым, мужским голосом.

Выступил к ней бледный Митя.

— Слышал, что-ль?

— Слышал-ста! — прошептал Митя.

— За Русь, за землю родимую, за веру православную хочешь ли умереть?

Краска медленно разлилась по лицу Мити, глаза загорелись и засверкали.

— Хочу! — вскричал он и ударил себя в грудь кулаком.

— Благословляй, бабушка Лукерья, завтра иду... за веру, за Русь, родимую!

— Подайте образ! — властно, повелительно сказала бабушка.

И тотчас несколько рук бросаются и берут образ Стратилата-воина и подают бабушке Лукерье.

Бабушка Лукерья медленно, истово крестит, благословляет своего внука и благосло-

вив целует его троекратно, и слезы сами собой катятся, бегут из глаз бабушки и внука.

И чувствует Гризли, что у ней самой катятся слезы и не может она донять чего ей больше жаль: бедной крестьянской семьи или той земли, той родной земли, на которой она сейчас видела столько крови раненых и трупов.

И чудится ей, что все это во сне, что вот, вот она сейчас проснется. Уже видит она кисейный полог, под которым она спит в её спальне. — Но прямо в окно светит полный месяц и по его лучам она поднимется летит, летит по залам старого дома и прямо останавливается перед большой потемнелой картиной Юдифи. Месяц прямо светит на картину, и она вся блестит и сияет под его лучами.

И сквозь дымку этого фосфорического света раздвигаются шире и шире рамки картины. Перед Гризли опять серое, ночное поле. Много народу на этом поле перед городскими стенами. Целые толпы снуют, шушукают, чего-то ждут. Все смотрят на городские ворота и вот показалась из них процессия. Впереди всех она — молодая, вдохновенная, гордая, красивая, одетая в лучшие блестящие свои

одежды. За ней горничная с шкатулкой, а подле идет седой жрец верховный, главный жрец храма Бога Израиля.

За городскими воротами они останавливаются. — И говорить ей жрец.

— Иди, дочь моя! Иди на подвиг Божий! Иди спасти народ твой. Из любви к нему, не страшись жертвы, ибо жертва приятна Богу.

— Я не боюсь! И сердце, и душу мою полагаю за народ. Пусть принята будет Господом любовь моя.

И она склоняется, и жрец благословляет ее, и все, весь народ тихо, молча склоняются перед этим благословением.

Но тускнеет, расплывается картина — и сквозь серый туман выплывает перед Гризли другая картина, выясняются царские чертоги гордого сатрапа Олоферна и идет широкий пир, и сидят на царском месте Олоферн и Юдифь. И много гостей поют и пируют, смеются и ликуют за царским столом.

И чувствует Гризли как дрожит и бьется чуткое сердце в груди Юдифи. — «Достойна ли!? Совершится ли её грешными руками то, что она задумала?.. Будет ли она вторым Да-

видом, избавляющим от Голиафа своих единокровных братьев?!.. Кругом её враги! Много сильных врагов».

Встает Олоферн, шатаясь, и ведет его Юдифь в опочивальню, и смолкает пир, и расходятся гости...

Туман заволакивает глаза и голову Гризли, но и сквозь этот туман она чувствует, ту любовь, которая горит и бьется в сердце Юдифи — любовь к её земле, к её единоплеменным братьям...

Туман расседается, она в потьмах — кругом её мрак и тусклый свет лампы. На ковре под ногами кровь, лужа крови. На широкой постели лежит что-то безобразное, кровавое, обезглавленное. О! каким ужасом томится её сердце... Скорее, скорее! Прочь из этой комнаты на простор воздуха, на свободу чистого, громадного поля.

И она несется, несется по этому полю. Впереди её бойко, торопливо бредут две фигурки, а впереди их у городских стен толпы народа. И вдруг все эти толпы, разом, как бы из одной могучей, широкой груди издают крик торжества и победы.

Любовь победила! Братья, земля родная спасена! Слезы радости бегут из глаз Юдифи. Она шатается, но ее поддерживают тысячи братьев. Для них она святая, они целуют края её одежды. Они с торжеством несут окровавленный мешок, в котором лежит голова их общего, сильного врага.

## V

Раннее, весеннее утро заглядывает в окна богатой спальни старого дома. Весеннее, нарядное, красное солнце будит Гризли так же, как оно будило ее в детстве.

Она открывает глаза. Она думает, что к её постели тихо, неслышно, подходит её старая добрая, любимая и любящая няня. Но нет, давно нет ее няни.

На место её смотрит из стены пуговка электрического звонка. Стоит подавить ее, и тотчас вбежит резвая, хорошенькая субретка Анни. И подаст своей милой барышне умыться и оденет ее.

Но не протягивается её рука к пуговке электрического звонка. Страшна ей эта пуговка, как страшна вся новая жизнь, насильно врывающаяся и опрокидывающая ста-

рую. Она до сих пор не привыкла еще к её постели, на мягком пружинном тюфяке, обтянутом замшей — к железной кровати, отделанной вычурно и фигурно.

Но он хочет этой жизни. Он — её приемный брат, друг её детства. Она смотрит на все его глазами и при этом чувствует невольное, что это не её глаза.

Она хочет жить его чувствами и не может. Она понимает и сознает, что это не её чувства.

Она хочет проникнуться его мыслями, его сознанием и не может. Она чувствует, что его мысль идет другими, неведомыми ей путями.

И между тем, всю ее невольно и бессознательно тянет к нему. Об нем её мечты, в нем её желания... Каждый день и целый день она ждет, когда, наконец, отворится сердце его для неё и не может дождаться этой великой, блаженной минуты.

«Что лучше, желаннее, — думает она, — жить вдвойне полной жизнью? Я в нем, и он во мне?.. Но этой жизни он не допускает...»

Постоянно суровый, почти мрачный, он живет затворником в его домике. — В этом

домике стоят его препараты, приборы, машины. Там его книги, много книг... В них он весь, а ей — только скудные минуты!..

Каждый вечер на нее нападает глубокий сон, и она чувствует, что этот сон — его могучая боля. Она засыпает и не знает, что творится в эти часы... но она чувствует, что именно в эти часы она всей своей душой принадлежит ему.

— Гриша, — говорит один раз она ему в душный июльский вечер. — Я чувствую, что со мной что-то совершается почти каждый вечер... Я засыпаю не по своей воле...

— В лунатизме, — прерывает он ее. — Ты женщина лунатик...

— Неужели ничем, ничем нельзя помочь мне... Ты знающий так много... Неужели твоих знаний, силы и воли недостаточно, чтобы уничтожить во мне эту болезнь...

— Не к чему!.. — говорит он сурово. — Это не болезнь, я особенное патологическое состояние твоей психики.

— И ей становится страшно, невыносимо страшно этого таинственного, непонятого раздвоения всего существа её... Она точно в

плену, точно в темнице, а он — её тюремщик!..

Сколько раз в душный, июльский вечер, она готова была отдаться ему, обнять его жарко, прижать к своему любящему, горячему сердцу... Но довольно было одного его взгляда — холодного, сурового, повелительного и вся горячка страсти, и весь пыл сердца падал, исчезал... Холод, туман спускался на душу. И ум, и сердце покорно засыпали...

Наконец, смутно она начала догадываться, ЧТО ему не нужна её страсть, её сердце, её чувства. Ему нужна была её чистая, непорочная воля... Её душа, которой он распоряжался по его усмотрению.

А дни тянулись как сон, и на пороге уже стояла и стучалась в ум и в сердце холодная, костлявая старость...

Куда же ушла вся жизнь её?..

Страшна она — эта разбитая, стареющая жизнь среди стен старого, разрушающегося дома!..

## VI

Тихая, южная, ночь спит так торжествен-

но. Таинственно, необъятно — глубокое тёмно-фиолетовое небо... Тайна в воздухе, тайна на небе, тайна на земле...

Тусклый красноватый месяц стоит низко над пологой равниной и едва освещает ее. Черная ночь властно царит над всем... И спят глубоким сном города и села, люди и звери, птицы и рыбы — спят в глубоких, быстро текущих, речках, в широких озерах, в пенящем море.

Везде спящая, дремлющая жизнь... И везде люди, города и сёла. Уже два часа летит Грizzle, и все перед ней одно и то же... Все тот же нескончаемый муравейник, полный людской, копотливой жизни.

Всюду картонные карточные домики, построенные точно из кулис или из ширм; убранные безвкусно и пестро, обклеенные, вместо обоев, почтовыми марками — вычурно и фигурно. Всяду вывески длинные, развешенные, точно полотенца, вывески с громадными хитрыми иероглифами... Высокие фарфоровые башни, с концами крыш, загнутыми кверху мирно спят в ночном воздухе — и этот воздух тихо, робко шелестит одно и то же.

— Тихое, сонное царство!

И чуть слышно звенят в этом воздухе серебряные колокольчики на крышах высоких башен и пагод. Всюду маленькие садики, разубранные как детские игрушки. Всюду кусты чайного дерева.

Спят люди божьи непробудным сном. И тесно им, жутко среди этой многолюдной жизни, и только немногие, более даровитые и более деятельные выползают и переселяются в другие, чуждые страны.

Летит Гризли, и поражает ее эта страшная «тягота жизни» и не может она понять к чему эти люди живут в их пестрых, картонных домиках. «Не для того ли, — думает она, — чтобы растить кусты и деревца, собирать с них листья, гноить, сушить их и рассылать по всему миру— чтобы эти листья поддерживали, горячим отваром, деятельную жизнь умного, образованного человека?!..»

Летит Гризли и думает: «нет полновластнее деспота— как жизнь. Она принуждает жить...»

И как бы в подтверждение её мысли из ночного мрака, среди многолюдного города —

выплывает перед ней что-то безобразное, страшное, мертвенное в его бесчеловечии.

За глухими стенами, в узком грязном пространстве, скучено десятка два человек. Они лежат, как свиньи, в липкой грязи, на гнойной соломе. Страшный, невыносимый запах стоит над ними. Убийственный, тяжелый, зараженный воздух — кругом них. Он пропитывает их одежды. Среди живых валяется гниющий труп...

Вот один прислонился к грязной, сырой стене. Его бритая голова покрыта кровью и струпьями. Гризли ясно видит; при слабом свете, который издает её собственное тело, видит, как сочится кровь и материя из этих струпьев, и как ползают по всей грязной его одежде отвратительные паразиты.

Несчастный человек стонет и хрипит... Болят его кости, ноют руки и ноги, забитые в колодки. Все сердце Гризли перевертывается от жалости... Но чем же она может помочь ему?.. И слезы, и рыдания вырываются из груди её.

Она говорит несчастному:

— Надейся и верь! Ты спишь и скоро проснешься к иной жизни!

Но он не слышит, не может слышать её слов, — он не может верить...

Тихо, словно нежным ветерком, относить Гризли и выплывает она из душной тюрьмы — выплывает в маленький закоулочек, между двух высоких стен. Там, в темном углу, свалена какая-то безобразная масса, куча человеческих членов.

Вчера это был человек.

Палач изрезал его на три тысячи кусков — изрезал множеством ножей и ножичков, что висят у его пояса в одном общем кожаном футляре. На каждом ножичке стоит надпись, иероглиф: «первый сустав мизинца», «большой палец левой ноги», «кисть правой руки», «левый глаз», «правое бедро».

Палач вынимает один за другим ножи и ножички, вынимает на удачу, на судьбу... Может быть рука вынет нож, которым он должен отрезать сразу голову или вырезать сердце... Но нет! Это ножи большие... а надо начинать с маленьких.

И льется кровь и раздаются стоны несчастного... режут ножи... режут час, два часа режут... один сустав за другим... отрезают нос и

уши... вырезают глаза...

Невыразимый ужас нападает на душу Гризли. Она вся дрожит и страдает мучительной болью... Голова её кружится... Сознание покидает ее.

Страшные казни и муки, придуманные бесчеловечным человеком!

Она силится улететь прочь от этих безумных, страшных сцен, но чувствует, что это выше сил её.

И она летит все там же, над этим людским муравейником, над этими бесчеловечными людьми. И жалобно звенят, серебряным звуком, под крышами высоких башен маленькие колокольчики... и близится рассвет. Уже заалел восток... Холоднее становится утренний ветерок.

И встает солнце и встает утро.

Как сквозь тяжелый сон видит Гризли этот свет...

Она видит большой город все в той же земле... Она видит дворцы... По улицам города проходит процессия, проезжает повелитель всей земли, сын неба. И все в ужасе падают ниц. Все на пути его припадают к земле, боясь

взглянуть на великого владыку.

И идут вокруг богатых раззолоченных носилок важные и жирные мандарины — с красными, синими, зелеными шариками на шляпах.

И еще страшнее становится Гризли... И не может она понять: что это за жизнь перед ней? Полная бесчеловечия и глупости... Жизнь мертвая, неподвижная, во всем её зверином безобразии... а между тем люди живут и дорожат ею, повинуюсь слепому животному инстинкту.

— Господи! — думает она, — когда же ты разбудишь их.

И одного только не знает она; не знает, что они давно, очень давно уже не спят... а творят великое тайное дело мировой судьбы...

## VII

Душно, тяжело в ночном воздухе. Удушливый жар давит, жмет душу... Едва движется Гризли... Ветер жжет, а не освежает ее... и страшно давит этот воздух и мозг, и сердце.

Куда летит она?... Что-то страшное ждет ее впереди!.. Вся душа её как бы сжата в тяжелых железных тисках... Громадная туча или

облако перед ней впереди! Нет, это дым... и мечутся в нем молнии. Страшный гул гудит, несется издали... Гул, точно от громадного пожара...

Быстрее несется она, слышнее гул... Она подлетает к высокой горе, и вся дрожит и колеблется гора от сильного, страшного грома... и прямо перед ней столб клокочущего пламени...

На миг остановилась, задержалась она, и ужасная и величественная картина развернулась перед ней...

Громадная котловина, полная растопленной огненной лавы. Всюду дым и удушливый серный смрад. И сквозь этот дым светят, горят огни... и льются, бегут, струятся огненные ручья и реки. Повсюду прыгают, мечутся синие огоньки.

И чудится Гризли в этом шуме и громе, в этих оглушительных выстрелах, какой-то грубый, громкий голос поет одно и то же, одно и то же... Точно громадный дикий оркестр играет нескончаемую фугу, поет адскую песню...

«Грубое горит! Огонь работает!.. Грубые силы творят... Работает земля. Работает небо!

И думает Гризли:

«Это громадная печь, кузница земли... Наверху, в далеком небе тихо работает светлое горячее солнце... а здесь... работают они, грубые силы земли.

И не чувствует Гризли, как она подлетает к ужасному жерлу, из которого с страшной, чудовищной силой, — с силой, с которой не могут сравняться никакие человеческие силы. — вылетают огонь, дым, громадные, раскаленные камни, горячий пепел... и целыми потоками течет, льется, клокочет огненная жидкая лава... А кругом, с оглушительным громом, бьют и сверкают ослепительные молнии...

И чувствует Гризли, что она спускается вниз по клокочущему пламени, в самое жерло вулкана, в страшный, огненные залы, в самые недра земли.

И кажется её, что все залы наполнены чудовищными образами. Они вырастают из клубов дыма... и горят, и смердят в огненных, клокочущих озерах...

И кто-то темный и мрачный спускается вместе с Гризли... спускается по невидимой,

огненной лестнице и глухо говорит ей — громовым голосом, и жжет этот голос сердце Гризли.

— Все грубое сгорает в огне страстей... Все грубое сгорает, — говорит этот страшный голос, — в огне злобы и ненависти, в страшном, смрадном огне бессердечия и бесчеловечия. В тех безднах, где плач и стон, и скрежет зубовой... Ты сошла в преисподнюю земли...

И тихий унылый ветер, от которого замирает вся душа и леденится сердце, гудит печально.

«Идут годы, грядут века!.. Идут годы, грядут века! Работает вечный огонь!.. Очищает, воздвигает...»

И стон, и плач, и адский вопль окружили Гризли. Они сильнее всякого грома разорвали всю душу... Она дико, неистово вскрикивает и... просыпается...

Каждая жилка дрожит в ней, все недра души её содрогаются... Она чувствует всю свою слабость, — слабость человеческой природы и не может сладить со своими жалкими бренными чувствами...

— Господи! — говорит она: — Господи!.. Ты

единая надежда и единое упование, помоги мне!..

## VIII

А в двери стучатся, ломаются...

— Кто там?

— Это я, я, барышня.

Гризли медленно, сонная, отпирает.

— Ведь, уже второй час... Вы стонете... кричите, и мы не можем разбудить вас...

Входит, вся перепуганная, Анни. А за ней, в отдалении, стоит он.

Портьера тихо приподнимается и выставляется голова его, Гриши.

— Можно войти? — спрашивает он.

И все сердце Гризли переполнилось радостью.

Он подходит к постели и берет ее за руку. Он смотрит её пульс...

— Гриша! — говорит она. — Я видела какой-то страшный сон... Я видела много огня... Постой, дай мне вспомнить, что я видела...

Но ничего не может она припомнить. А он смотрит на нее выжидающим, нетерпеливым взглядом...

О! Если-бы этот взгляд изменился на любя-

ций, если бы в нем промелькнула хотя одна, слабая искра чувства!

— Гриша, — говорит она, — ты говорил, что все мы живем чувством. Оно ведет и руководит нас...

Он молча кивнул головой.

— А ты Гриша?! Ты живешь одной головой... В тебе нет никакой привязанности и ни к кому...

И в голосе её задрожали слезы. Он нахмурился.

— Ты ошибаешься. Во мне сильна привязанность к знанию, к истине и этой привязанностью я живу и каждый человек, живущий умом, а не влечением сердца и плоти должен идти этой дорогой. И если б люди все шли этой дорогой, то они давно бы уже пришли к иной, разумной жизни, в которой все страсти были бы подчинены рассудку.

— Гриша!.. — говорит она с дрожью в сердце: — странна, непонятна мне эта жизнь!..

— Живи, думай и ты поймешь ее... — говорит он и останавливает свой пристальный взгляд на её глазах, и она чувствует на себе силу его ужасных глаз... Туман закрывает её

голову и сердце. На миг, на мгновение все смешивается в каком-то хаосе в её голове... И когда она очнулась, то его уже не было в её спальне... Перед ней стояла Анни.

Молча умывается и одевается Гризли, и идет в сад. Яркий, солнечный день горит над ней. Все живет жизнью плоти. «Почему же человек должен жить не этой жизнью, а его умом, связанным и подверженным всяким заблуждениям и ошибкам?!. Неужели не в глубине сердца скрыт тот руководитель, который неодолимо влечет нас к тому или другому делу, к свету и к небу?!»

И теперь ее ведет этот руководитель. Она быстро проходит тенистый запущенный сад, проходит мимо прудов позеленелых, заросших осокой и камышом. И жизнь играет в их водах и над ними. Тысячи стрелок, коромысел летают, гоняются друг за другом, летают парами... Гусеницы всех пород ползают в водах их, гусеницы в трубочках из обгрызков водяных трав, из песка, из маленьких улиток.

Идет Гризли к дальней, маленькой калитке. Спит около неё сторож в старой караулке. Сторож древний, который помнит Гризли

еще маленькою и помнит деда, старого князя.

Гризли вышла на чистую, яркую луговину. Она идет по сжатым прошлым летом полям. Простор и свобода идут подле неё и обхватывают ее со всех сторон...

«Отчего же, — думает она, — здесь, в этих полях и лугах та же природа выглядит иначе?!. Отчего здесь чувствуешь её простор и силу!.. А там в большом тенистом саду видишь и слышишь, что все это искусственно... Здесь нет красоты, но нет и безобразия, как в этом заброшенном саду... Отчего?..

И думает Гризли спросить об этом её умного и знающего Гришу... Только не знает она, что Гриша только думает, что он это знает...

Идет Гризли, несет помощь бедной старухе, которая отказалась от её богадельни, сколько ни уговаривала ее Гризли.

Несет ей Гризли помощь и мерещится ей страшный сон, который она видела на днях. Она силится припомнить этот сон... и не может. Она чувствует, что вся душа её замирает от этого сна... Она видела... да, она ясно видела «неволю жизни»... Жизнь ради жизни...

Она видела жизнь в страданиях, в грязи,

среди кровавых мучений, жизнь под страшным гнетом, и люди все-таки живут и рады этой жизни — только одной жизни... Отчего же не рада ей эта старуха бабушка Минодора, к которой она идет теперь, с её посильной помощью... Отчего же бабушка усиленно отказывается от этой, да и от всякой помощи?

Она вошла в деревню...

Деревня спит — точно вымерла.

Сонные овцы мирно дремлют на солнце — в тени изб. — Грязные свиньи спят в луже посреди улицы и грязь блестит на солнце, на их щетинах.

Опустела деревня. Все уехали на весеннюю работу. Только в одной, дальней избе жалобно голосит покинутый, детский голосок...

Идет Гризли, к маленькой покачнувшейся избушке, что стоит на краю села. — Одинокая избушка, без двора, грустно наклонилась к земле.

Входит она в крохотные сенцы, входит в избу.

«Не умерла ли? — думает она. — Не поздно ли пришла моя помощь?»

Но нет — жива бабушка Минодора, жива

еще в её девяносто два года. Она помнит еще прошлый блестящий век, где все было разнуздано. Она сама была есаулша в одной далекой оренбургской деревне. Господская воля перевела ее в Архистратигино и здесь спускалась она все ниже и ниже и дошла до одинокой жизни, в гнилой, курной избушке.

Но не поддается и не падает в битве жизни бабушка Минодора. Она вся протест, не смотря на её девяносто два года...

Лежит она на её жесткой постели... Немошная и больная... Но строго и ярко горят глаза её из-под широких, совершенно черных бровей. — Седые космы выбились из-под головного платка. — И всякия, кто взглянет на эти глаза, на твердо торчащие, заострившиеся нос, на плотно сжатые губы, подумает, — с какой страшной силой воли должен быть характер у этой старухи?!

— Бабушка! — говорит Гризли, — я принесла тебе лекарство, о котором говорила тебе вчера...

— Спасибо! — говорит нехотя бабушка... — Свою господскую душеньку потешила...

— Не об неё я думала и думаю, бабушка, а о

твоей несчастной и неладной душе.

— А что об неё думать?.. Есть хорошо... а нет и то ладно.

— Страшно бабушка, что в твоей душе нет мира и кротости.

— А на кой ляд она потребна... твоя мир и кротость?.. Вот ты живешь в мире и кротости, а спокойно ли жить-то тебе?

— Страшно бабушка, — твердит упорно Гризли, — что нет в тебе жизнерадости...

— Какой радости?.. Когда была молода, была и радостна... А теперь, куда я пойду?.. Кто мне рад и кому я радостна?.. Земля есть и в землю пойду...

— Бабушка, к Господу ты пойдешь, к Господу милостивому, на суд Его страшный.

Бабушка ничего не ответила, только махнула дрожащей рукой, старческой и костлявой.

— Бабушка! Страшна жизнь без любви, без веры...

Бабушка вдруг приподнялась на постели и пристально посмотрела на Гризли...

— А твоя жизнь разве не страшна?!. Живешь ты с любовью и с верой... Жалостная, да

болезная... Чем бы детко не тешилось — все ладно... Жила, и я так-то... как ты живешь... Уйду, бывало, в боры дремучие... В нашей заволжской стороне есть страшенные боры... Уйду к медведям лютым... Съедят мол, так съедят... Уйду молиться Господу... Верила я, что если помолиться Ему, Отцу нашему милостивому, так все беды и напасти прочь... А было мне тогда годков 12, не боле... Был у нас тогда мор... Батюшка помер... Матушка разнемоглась этой черной немочью... Думала я: как мол не сжалится Отец небесный и не оставить в живых мать мне... Ведь сирота я буду... Ни дядей, ни теток... Никого!..

Бабушка замолкла, вся сморщилась, стиснула зубы... и начала корчиться, но ни один стон не вырвался из груди её.

— Пить! Попить дай. — проговорила она с трудом.

И Гризли зачерпнула воды в ковшичек и дала ей пить.

— Вот этак-то без тебя... — начала бабушка ослабевшим голосом... — Лежу, лежу... Загорит сердце... Душно... а встать-то не могу, не осию. — Напоить то и некому...

— Бабушка! Ведь я уговаривала тебя лечь в больницу.

Но бабушка опять махнула рукой.

— Не надоедай ты мне, — проговорила она — с больницей твоей, — и замолкла.

— Бабушка! — заговорила Гризли несколько минут спустя. — Что же ты не досказала... Как ты Богу в лесу молилась?..

— Ну! так и молилась... Душеньку свою всю выплакала... Пришла в деревню... а мать-то уже лежит мертвая... — (Бабушка помолчала опять). — Думаю: чай обрядить ее надо... А чем обрядишь?.. Ничего в избе нет... Стянула это я ее с постели на пол... Обмыла... Одеда опять в то же... Обрядила... На другое утро пришли... взяли... увезли ее... И осталась я сиротой... в чужих людях мыкаться... Так и росла... Где пинок, где толчок... У людей семья... достаток, у меня ничего нет... Одни лохмотья грязные... И сколько я ни жила... все меня моим сиротским делом попрекают... Точно я согрешила, что осталась сиротой горькой... Спала я чуть не в свином хлеву... Дядя Карп был злющий — да пьяный... Колотил меня, чуть не каждый день... А росла я девка красивая...

Брови соболиные... Румянец во всю щеку... С чего бы думала я?.. И полюбил меня что ни на есть лучший парень в селе... Тихий, красивый да ласковый — сын старосты... Митрием звали... Давно это было...

И бабушка на мгновение замолкла. Точно какой-то теплый свет заглянул в её озлобленную душу...

Ну! слюбилась я с ним... И устроил он все так, что повенчались мы увозом... Не в нашем селе, а в дальнем, Овсянкове... Попы — то знаешь, в вражде были... Ну! Отец-то Яков и рад был отбить свадьбу от отца Андрея... Повенчались мы на голытьбу... Хоть волком вой... Свекор-то шибко осерчал... Ничего нам не дал и со двора протурил... Не сын мой ты, говорит... Ну! что же? Кому жалиться, где суд искать?.. Не горюй, говорю, Митя... Сила у нас есть... выберемся... А надо сказать, что была я первая работница на селе... Куды за мной другим девкам... Люта была в работе-то... Отошла я от сродников... Наплевала... Всюду меня зовут... везде дорожат... Ну, да с тяжестью-то под сердцем немного наработаешь... А тут еще горе накрыло... Митю в солдаты взяли...

Не ему был черед, да так подвели анафемы, змеи ехидные, что ему лоб забрили... Сам отец, хлопотал... Все злобу на нем вымешал — что женился не по его указу... Как раз к его уходу я дочку родила... Таку же ладную, как он сам... Хорошеньку дочку...

Бабушка опять помолчала...

— Прожила она пять годков... Сколько я с ней маяты и тяготы приняла... И не рассказать... Но осилила... А Митю в тот же год... В первую войну убили... Остались мы теперь две сироты: я, да дочка... И была она мне радостью... На Митю походила личиком... хорошая моя...

Бабушка опять замолкла и тяжело дышала...

— Бабушка! — вскричала Гризли, — ты не говори теперь... — Тяжело тебе...

— Для че не говорить?.. Нет, ты разбери твоим княжеским умом... Разбери: ладно ли я думаю?.. Слушай: захворала моя Нютка... в успеньев пост... И пошла я опять в лес молиться... Дура была... Молюсь слезно... Об землю колочусь... Не отнимай, мол. Ты Господи, от меня мое сокровище!.. Одно у меня, Нютку

мою... Вернулась в избу-то... а она посреди избу, на полу... Мертвенькая лежит... Бабушка!.. — вскричала Гризли... — Не сокрушай ты себя... Не ропщи на Господа!.. Ведь народ говорит — на Бога уповай, а сам не плошай... Ты бы к доктору ее свезла... Чем Господь виноват!.. Вспомни Иова многострадального, который остался верен Господу...

Бабушка приподнялась и снова опустилась на постель... Лицо её горело, глаза сверкали... Слова с каким-то глухим клокотаньем, с трудом вылетали из горла.

— Все вздор!.. Доктора твои — вздор... и Иов — вздор!.. Все ложь... Живем... маемся, померем... успокоимся... А ты слушай!.. Я ведь еще не все досказала... Привязался тогда ко мне управляющий твоего деда... Поставил он нам управляющего... Фарапонта Андреича... Из отставных... Такой сахар, что страсть!.. Увидал он раз меня. Кто это? — пытается... Что это раньше я не заметил... Солдатка, мол говорят, Минодора Лаврентьевна... Приходит ко мне вечером сотский... «Ступай мол, тебя к себе управляющий требует»... «На что это?..» «Не могу знать...» — «Не пойду я... говорю

ему... «Не пойдешь, говорит, так велел завтра отодрать тебя...» — «Как так!.. говорю... И вскипело сердце мое... Меня!? За что, про что? И так вся я распалилась... Как мол, говорю, он смеет». — Сейчас накинула шубенку... бегу прямо к нему... Не помолилась, не поклонилась так-таки прямо и говорю ему... «Ты зачем, мол, меня честную вдову тревожишь?.. Чего тебе, мол, псу поганому, от меня надоти?.. Мало ты у нас девок перепортил... Тебя князь править нами поставил, а ты безобразничаешь... Усатая морда...» — так ему прямо и отхлеснула. Ну и он осерчал... Затопал, зарорал... «Ах ты, говорит, бунтовщица!! Розог!!!»... — Ну и стегал он меня тут всласть... насытил свою душеньку... Не помню я как меня и снесли в избенку... И лежала я больная почитай с месяц... Чуть не померла... А сердце мое, так и кипит, так и кипит... Нет, думаю, не помру!.. Уж я его доеду!.. Я ему, усатому псу... отсыплю... И только-что я опомнилась, как пришла радостная весточка. Идет, бают, к нам заправдашный царь... волю несет... Одни бают, что он невзаправдашный, другие, что заправдашный, да мне наплевать... Сейчас

накинула шубенку, побежала в соседнее село, Хоботище... Там, мол, сила вся... Прибежала ночью... И всю-то ночь... напролет пропировала... Самого царя видела... И сделал он меня есаулшей своей... Ну! тут я свет засветила... Собрала молодцев и нагрянула... Накрыли мы управляющего... «Пожалуй, мол, друг сердечный, на расправу!..», и натешила я над ним свою душеньку... Он орет, стонет... а молодцы село жгут... Ни кола, ни двора не оставили... Лихой...

Гризли в ужасе всплеснула руками, а бабушка опять приподнялась с постели — и дико, хрипло захохотала...

— До сих пор! — проговорила она — до сих пор сердце радуется вспоминаячи эту радостную ноченьку!..

И она снова опрокинулась на постель — и лицо её быстро изменилось: кровь отхлынула от него... хриплый смех её перешел в хриплое дыхание... глаза остолбенели...

— Бабушка! бабушка Минодора! — вскричала Гризли, — перекрестись!.. помолись Богу!

Но бабушка ничего уже не слышит. Она

умирает.

Вся, дрожа от страха — Гризли выбежала вон из избушки...

## IX

Весенняя холодная ночь спустилась на землю, — тихая ночь, как тихий покойник. Все цветы в страхе поникли к земле... Ветерок замолк и заснул. Все птицы в ужасе завернули головки под крылышки. Вся природа чувствует, что спустилась необъятная великая сила Великого... и трепет объял ее.

Тихо летит Гризли... летит против её воли. Вся, душа её ноет, трепещет от ужаса... С нею летят громадные тени... Великие творческие силы... Уныние и ужас царят в ночном воздухе.

Выше и выше поднимаются они в пустынном, мертвом воздухе... Летят они над громадной степной равниной, и конца нет этой равнине.

Угрюмые камни, обожженные солнцем, рассыпаны повсюду и торчат разбитые и брошенные великими силами природы.

Летят они на север, в ледяные, полярные страны... Необозримое холодное, мерзлое,

мертвое море. Громадные ледяные горы, как прозрачные чудовища, носятся по нем.

Летят они час, два и конца нет этим мертвым ледяным равнинам — этому бесконечно-му ледяному морю.

Ужас давит, Гризли. Хочет она спросить своих страшных спутников: — для чего летят они? — и не может, ужас сковал её язык и сердце...

Страшные сполохи — огненные столбы играют в темном небе... То разбегутся лучами во все стороны, то свернутся веером, то опустятся на землю ярким сияющим венцом.

Страшна полуночная ночь, освещенная таинственным светом.

И кажется Гризли, что и воздух, и льды, и волны морские — шепчут одно и то же. Прислушивается она к их таинственномуговору и слышит — твердят они:

— Мертвое спит сном смерти, вечным, тяжелым сном! Пробудись дух жизни! Обнови твои силы!

— И хочется Гризли, чтобы скорее, скорее проснулся этот дух жизни. И желание её превращается в страстное, непреодолимое томле-

ние. С мольбой и с теплой верой обращается она к Господу: Помоги им!.. Вседержитель! Воскреси мертвое! Разбуди дремлющее...

И видит Гризли, что начинается сила другого света... Занимается заря. Встает греющее солнце... И все стремится к нему. Только зачем же оно греет так сильно, грубо!..

И заговорили, зашептались льдины...

— Созидая, разрушает!.. — шепчут они в ужасе — И тают, текут, плачут они горькими слезами... Выше, выше поднимается Гризли и видит... меньше и меньше становится точка, которая казалось ей неизмеримой полнотной пустыней... А кругом неё уже играет жизнь... И вдруг, на эту жизнь двинулись страшные северные воды, — все слезы ледяных гор... Все небо закрылось тучами, в три четыре ряда... И разверзлось оно страшными потоками. Над всем живым разверзлись хляби небесные... Льются, заливают равнины и долины, заливают бугры и холмы, заливают высокие горы...

В ужасе люди, как муравьи, бегут, карабкаются на крутые скользкие утесы. В ужасе Гризли хочет помочь им... И не может.

Вот дряхлый старик лезет, цепляется старческими, бескровными руками за острые выступы скал... Скользит и падает на острые камни... Голова его стучается, кровь и мозг текут по ним...

В ужасе отвертывается Гризли и летит дальше от берегов, от этих скал, на которых люди бьются за каждый клочок земли и сталкиваются, и давят, и губят друг друга.

Внизу, под ней, широкий, океан и плывет в его волнах красивая молодая женщина... Она протягивает к небу руки и держит в этих руках маленького ребёночка... Может быть, это единственный, горячо любимый сын?!

Она не помнит о себе и думает только об одном: как бы спасти жизнь ему, её дорогому мальчику...

«Боже! Неужели Ты не сжалишься над ней, и бедный, безгрешный, ни в чём неповинный младенец должен погибнуть?!»

А волны бегут, захлестывают несчастную мать... и глухо бормочут:

«У нас нет сердца! Мы не знаем жалости!..»

А тяжелые, низко плывущие тучи сеют, льют дождем и этот дождь шумит постоянно

одно и то же:

«Земное погибает!.. Небесное остается!..  
Бренна плоть... Вечен дух Божий!..»

И Гризли точно невидимой силой относит на большую равнину... На ней нет воды, нет братоубийственной борьбы... Но страшна, отвратительна эта равнина... Это мертвая равнина смерти...

Тысячи трупов зверей и людей, трупов изуродованных, окровавленных, лежат в страшном хаосе и медленно гниют. Вот лежит громадный слон, а на нем лежат застывшие, изуродованные трупы маленьких людей... Вот камелеопард, — а его шею крепко ухватил ручонками ребенок и так и замерь на ней... Вот красивая антилопа лежит рядом, обнявшись с огромным массивным тигром... И все это гниет, разлагается... Нестерпимо душливый воздух висит над равниной.

Гризли хочет отлететь и не может. Унылый заразительный ветер гудит в её ушах и твердит одно и то же:

«Бренное исчезает Вечное остается!»

— О где-же — думает она, — этот вечный дух Божий! Или нет в нем милости и жало-

сти!?

## Х

Тихое раннее утро. Солнце чуть-чуть выглянуло из-за земли, а двор старого дома полон уже наехавшими с пришедшими с разных сторон людьми.

Тихо гуторит на широком княжем дворе бедный люд. Сюда пришли немощные и нуждающиеся. Сюда собрались горе-горькие скитальцы по земле русской. Все они ждут пробуждения их благодетельницы, доброй барышни, княжны Гризельды Иоанновны, что живет одним-одна в старом заброшенном имении.

Пришли сюда немощные и печальные. Пришли дряхлые старики, принесли старухи своих внуков. Сегодня велик день, сегодня день рождения Гризли — и каждый год собирается в этот день народ со всего околотка, собирается с твердой надеждой, что добрая княжна не оставит их своей помощью.

Проходят часы, солнце тихо всплывает на светлое небо. Яркий весенний день играет в воздухе... А барышня-благодетельница спит крепко, тяжелым нехорошим сном.

Давно уже шепчется старый, седой, дряхлый камердинер Лукич, с молоденькой свеженькой Анни. Давно уже коровница принесла парного молока. Давно старая пекарка Акулина принесла горячего печенья... Несколько раз Анни входила в спальню к княжне и принималась будить ее, но спит милая княжна или лежит недвижимо... как мертвая.

Приготовила Анни вместе с старой прачкой белое кружевное платье — любимое платье Гризли. Давно они стараются разбудить ее и не могут...

Наконец идет Лукич к барину, нареченному брату княжны, и со страхом стучит в закрытые двери, нарушает его властный приказ: не мешать ему ни под каким видом!..

Угрюмый, рассерженный выглядывает барин.

— Что надо?..

— Не можем добудиться... барышни княжны... Гринезильды... Иоанновны... А сегодня рожденный день их...

И, наскоро одевшись, идет барин в старый дом прямо в спальню Гризли, а спальня полна народу. Плач и стон в ней. Лежит Гризли

словно мертвая...

— Подите все вон! — топает барин. — Вон!.. — И все плачущие в ужасе разбегаются... Гриша запирает за ними двери. Он прямо подходит к спящей и устремляет на нее пристальный, повелительный взгляд, с твердым желанием пробудить ее.

Но не движется ни один мускул бескровного лица, не дрогнут красивые, черные, приподнятые кверху брови. Спящая спит сном непробудным.

Гриша приподымает руки и устремляет их на Гризли. Он делает ими плавные движения. Он старается снять с неё тяжелый сон. Все мускулы его напрягаются, как в статуе Лаокона. Холодный пот выступил на его высоком лбу.

Но лежит и не движется его названная сестра, лежит точно прекрасная мраморная статуя.

— Проснись! — приказывает он. — Проснись! — И все волосы на голове его поднимаются дыбом. Его глаза мечут целые потоки таинственной силы.

Ко ничего не могут сделать эти потоки. Неподвижна его спящая названная сестра.

Бессильна вся его сила разбудить ее.

С ужасом, весь дрожа, опускает он руки. Медленно поворачивается, выходит из спальни, запирает дрожащими руками двери и приказывает строго-настрого: не будить ее до вечера!..

И идет он, опустив голову, и думает тяжелую думу.

Вот уже в четвертый раз она упорно противится его воле. В четвертый раз он не может вернуть к ней животворящего духа жизни... И страшно, и досадно его самолюбию.

И ужасная мысль, как грозное привидение, заходить в его душу.

— «А что, если этот дух жизни никогда уже не вернется к ней!..»

И замирает его сердце в нестерпимом ужасе.

Но одно не может решить он; что сильнее в этом сердце: страх ли потерять в ней существо, которое его так крепко, сильно, беззаветно любит... которому он так много обязан, или страх потерять в ней дорогой субъект для его опытов... для его открытий...

Давно уже, еще в те годы, когда молодая

жизнь берет полновластно дань со всех, в которых кипит и бьет она молодым горячим ключом, он встал на перекор ей, на перекор природе. В уединенной тихой жизни он избежал приманок плоти, раздражений крови и нервов и сказал себе твердо:

— Все это вздор и суета!.. Есть глубокое и важное... Есть истина и её мощный голос не должен быть заглушен суетными приманками плотской жизни.

В 18, 20 лет он был уже аскетом и стоиком.

И этого мало. Он вырвал из когтей суетной жизни и свою названную сестру, богатства которой служили и служат ему для его научных опытов и работ.

С жаждой знаний, с глубокой верой в то, что это знание единственное благо жизни, он странствовал в чужих краях. И всюду сопровождала его неизменная, верная Гризли.

Он изучил философию и медицину, историю и математику. Он прослушал курсы всех европейских знаменитостей и пришёл к одному страшному выводу...

— Вздор и ничтожество все человеческие науки!.. Есть одна наука — великая, глубо-

кая — таинственная. Люди нанесли в нее всякого вздора и грязи собственных личных мнений и тщеславия. Надо очистить ее и глубже, глубже проникнут в её тайники. Эта наука великая, наука всею. Наука механизма природы, наука тайников человеческой души, познания чего-то, что, говорят, не постижимо для человека и висит в воздухе вечной, недосягаемой тайной...

И он проникнет в эту тайну. Он чувствует в себе достаточно силы, гордости его ума, чтобы снизойти с высоты его в глубокие тайники этой науки...

Он видел явления этой природной силы в его Гризли. Эти явления в первый раз открыли ему таинственный мир, и он с тех пор стремится в него всей душой и отдает ему все свои силы.

Он чувствует, что такого существа, как его Гризли, он не найдет вторично. Он бережет ее, как святыню. Он дорожит её жизнью больше собственной жизни. Он удаляет от неё все, что может влиять на чистоту и полное спокойствие, безмятежие её души. И все это делается не ради любви к ней, не из глубокого

братского чувства, а только как потребность его гордого, независимого ума.

Он дорожит ею, как дорожат научным инструментом, как доктор дорожит интересным больным, над которым он может производить свои исследования. И он не скрывает от неё этих отношений... А она... она — любит его так глубоко и беззаветно.

Порой в редкие минуты душевного просветления она спрашивает себя:

— Да что же она любит в нем? Какая неизвестная сила влечет ее к нему?... — И ничего не может объяснить, как ни старается.

Перед ней проходили длинные вереницы блестящих молодых людей и талантов.

Она вспомнила поэтов, ученых, художников, с которыми встречалась в чужих землях... Она увлекалась силой их таланта, поклонялась глубине их мысли, любовалась их произведениями, заслушивалась их вдохновенной музыки... Но достаточно было кому-нибудь из них бросить на нее нескромный взгляд страсти, почувствовать к ней влечение в глубине сердца... и тотчас же неприязненное чувство отвращения являлось в её серд-

це...

Она сравнивала его чуть не с каждым из этих талантливых людей... Но при этом сравнения тотчас же неодолимый страх сжимал её сердце. Ей было тяжело поднимать нож холодного анализа, рассудочного сравнения над тем, к уму которого она относилась с такой беззаветной верой, с таким твердым упованием... Она с ужасом отворачивалась от своей мысли и старалась заглушить ее...

## XI

Проснулась Гризли. Вернулась к тяжелой, земной жизни... и вернул ее не Гриша, а маленький ребенок.

Ушел Гриша, и мало-помалу спальня Гризли опять наполнилась.

Вошли в нее убогие и немощные старики и старухи. Внесли и ввели бабушки своих внуков и внучек. Все они молятся, крестятся.

— Создай, Боже, милость!.. Верни к жизни нашу барышню, княжну благодетельницу!..

Тихий, сдержанный стон и рыдания носят-ся в роскошной княжеской спальне.

Старухи глядят и дивуются невиданной роскоши.

— Господи! Господи! — думают они. — Всюду золотой Бархат и шелк... Всюду кружева, да зеркала!!

Не дивуется одна девочка. Грустно стоит она у самой постели Гризли и неподвижно, с ужасом смотрит на мертвенное лицо доброй барышни. И ей жаль эту барышню, эту княжну, добрую и милую... Она держит в руках богатую и нарядную куклу... Эту куклу подарила ей Гризли. И все сердце её теперь сжато от ужаса... «Спит она, — думает она, — спит милая добрая княжна... И что такое смерть?..»

А бабушка стоит перед ней на коленях и молится, и плачет.

Встала она с колен. Встала, подняла она девочку на руки.

— Поди, Машуточка! — шепчет она сквозь слезы. — Поди простиись с ней... С нашей княженькой благостной...

И подносит она ее к Гризли.

— Поди! — шепчет она, — поцелуй её ручки...

В ужасе замерли все, стоявшие в спальне. Думают: «какая старуха дерзостная!».

А Машутка горько плачет. Вдруг прихлы-

нули к её сердцу эти слезы жалости... И рыдает она, и целует похолоделые руки Гризли. Тянется поцеловать личико доброй, любимей барышни.

С рыданием припадает она к груди Гризли, и под её поцелуями вернулась к ней жизнь.

Вздрогнула Гризли, вздрогнула как от электрического удара и открыла глаза: смотрит, припоминает, что с ней, где она?.. А перед ней маленькая девочка и вся она в слезах радости лепечет, протягивая к ней ручки.

— Княжинька наша!.. Милая!.. Проснулась!

И душевным, светлым, любовным движением обхватила ее Гризли, прижала к груди и поцеловала крепким поцелуем. Слезы брызнули у ней из глаз одним мощным порывом поднялась она с постели и перекрестилась большим крестом.

— Господи! Слава Тебе!

А перед ней на коленях стоят и старцы, и дети, и убогие старушки, и все плачут, и все молятся, крестятся.

— Господи! Слава Тебе!

Сияет жаркий, летний день в ясном голубом небе и ярко трепещет жизнь кругом, в благодатной стране, под жарким солнцем красивого юга.

И Гризли, невидимая, вся одетая этим голубым, ласковым воздухом, летит, несется над голубым, спокойным морем... Она любит чуждой картиной гармонии, которая развернулась перед ней, как радужный спектр, в чудном, согласном сочетании красивых, нежащих глаз красок.

Она любит и не знает, что вся эта картина уже не существует в настоящем, что она вызвана из далекого древнего мира.

Летит Гризли и чудные горы, погруженные в голубой, прозрачный туман, встают перед ней. Они и теперь стоят, неизменные, спустя десять столетий. Темнеют кипарисовые и миртовые рощи, сереют серой зеленью оливковые сады. Всюду сила красоты, и люди дополняют эту красоту своим творчеством. Всюду висят белые, мраморные, многоколонные общественные здания и храмы. Всюду бросается в глаза невиданная красота нагого человеческого тела, в белых мраморных ста-

туях. Гордые пальмы качают свои роскошные, ажурные, страусовые вершины над белыми портиками и храмами, а голубое море, тихо, с ласковым шумом, плещет в красивый берег.

Подлетает Гризли к длинному величественному зданию, перед которым высится большая статуя змея, из черного мрамора; этот змей вполз на дерево, а красивая молодая женщина стоит на коленях и поит этого змея из большой мраморной чаши.

Из этой чаши подается благодатное исцеление всем страждущим немощами и тяжелыми недугами.

Гризли входит в длинное здание, перистиль которого поддерживают красивые, солидные, величавые мраморные колонны. И над самым входом высится бюст старика, с умным, думающим лицом, бюст обвитый также змеями. Гризли знает чей это бюст, и что все здание посвящено излечению больных, что в нем царствует благодетельная врачующая сила.

Она тихо, невидимкой, влетает в высокие просторные залы, потолок которых поддер-

живают красивые колонны. В этих залах не слышно стенаний, не слышно криков больных. Все совершается молча, таинственно. Молча ходят врачи и прислужники. Молча подходят они к больному. Врач простирает над ним руки, из которых выходит врачующая сила, и больной засыпает благодатным целительным сном. Гризли хорошо знаком этот сон. Она и теперь объята им и спит там, далеко в её старом княжеском доме. Она вполне понимает и сознает, что этого сильного и верного лечения недостает теперь людям, что оно давно заброшено, как сумасбродное, заброшено вместе с красивым мраморным античным миром. Люди оставили от этого мира только эту красоту и пренебрегли всем полезным.

Тихо вылетает она из мраморных зал, наполненных больными. Голубой воздух, яркий солнечный свет и темная зелень окружают ее. Как хороши далёкие дали и эти беломраморные домики среди олив, олеандров и лавров. Вся эта страна, как красивая сказка, как музыка моря и неба ласкает человека...

Летит Гризли над дорогой и видит, как це-

лая толпа людей везет прекрасную, колоссальную мраморную статую. Они впряглись вместе с волами, буйволами и ослиами в длинные крепкие дроги на толстых колесах кругах. Все эти люди оборванные, грязные, почти голые нацепили на себя веревки и лямки и тянут громадную тяжесть в несколько сотен пудов, тянут в гору, под жарким южным солнцем, на его немилосердном припеке; а суровые распорядители погоняют их, бьют длинными ремнями из крепкой буйволовогой кожи и громко щелкают бичи по голым, окровавленным, облитым потом спинам. И каждый удар их с болью отзывается в сердце Гризли.

— Не бейте их! — силится она сказать. — Ведь это люди! братья ваши! Зачем же вы их употребляется на непосильную, скотскую работу!

Но не слышат люди этого голоса сердца, и тянется медленно в гору вся эта процессия. Мотают головами волы и буйволы, гремят, звенят тяжелые медные цепи, которыми скреплены дроги.

Кучка людей стоит в стороне от дороги.

— Это везут, — говорит один, — новую ста-

тую Афродиты к патрицию Галикарху... в его новую виллу.

— Вот там, на этой вилле, — говорит молодой курчавый парен, — собраны дива разные... Там статуи и бронза невиданный, и занавеси из пурпура, и везде блестит акалийский, бледно-розовый мрамор, и золото — много золота.

— Да! — говорит старик: — у сатрапа Галикарха много золота и много рабов...

— Мама! — говорит маленький ребенок матери: — зачем же их так бьют?.. Посмотри! У этого кровь течет по спине... Ведь им больно...

— Так надо! — говорит мать. — Если бы хорошо работали, то не били бы их...

И тускнеет перед Гризли вес этот чудный мир красоты и гармонии.

— Там, где сердце бесчеловечно, там нет гармонии! — шепчет она и летит дальше, дальше от этих голубых гор, от этого синего моря, от чудных белых мраморов, роз, олеандров и азалий...

Ей представляются все эти несчастные илоты-рабы, которые устраивают этот див-

ный мир гармонии. — Он куплен их слезами и кровью...

И видит она, как все эти забитые и задавленные молятся Богу-освободителю, молятся, в темных тайниках, в катакомбах, в подземных расщелинах и пещерах... Они молятся всем жаром души, всем пылом сердца...

И, тихий, неведомый голос повелительно и властно шепчет над ухом Гризли, шепчет, твердит одно и то же.

— Тяжелы страданья!.. Сладостно освобождение!.. Не вкусишь горького, не узнаешь сладкого!

И тихо, но повелительно в вышинах надзвездных звучит призывный, любящий голос:

«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы!»...

И незаметно влетает она в другие широты, далёкие от красивого жаркого юга... Везде кишат люди... ползают, копошатся...

Подлетает она к многолюдному городу. Как громадный муравейник разлегся он на многие версты и весь он окутан сизым дымом и черной копотью. Валит дым клубами из высоких труб. Небольшие, но высокие домики

стоят, как кирпичные ящики, и всюду трубы, трубы, мириады труб... Черные закопчённые проволоки тянутся во все стороны, длинные, черные хлопья копоти висят с них. И солнце не светит сквозь облака черного дыма...

«Здесь нет красоты!» — думает Гризли. — «Здесь жизнь упорного труда»... И летит она по главной широкой улице города. — Ярко освещена улица электрическим светом. Ярко горят его лампы в роскошных салонах и магазинах... И блестят в них бриллиантовыми огнями граненый хрусталь, бронза и золото, серебро и алюминий — дорогая, нарядные ткани таких нежных, приятных цветов.

Но отчего же сквозь грохот экипажей звучит какая-то жалобная нота, откуда долетают эти крики страдания?...

Гризли поворачивает в сторону, за несколько домов от этой нарядной роскоши и блеска, и сразу, резко изменяется картина. В высоких домах и грязь, и вонь, и бедная тяжелая жизнь в непосильном труде... И дети. — бедные дети! — худые, оборванные, грязные... обвернутые в лохмотья...

Господи! — думает Гризли: — ведь для них

только начинается жизнь!..

И летит она дальше, прочь от этого грязного золота, от этого фальшивого света большего города... Туда на простор загородной жизни... Но и там, за городом, дымят, коптят длинные трубы и в длинных, длинных многоэтажных зданиях стонут и надрываются дети от непосильного труда... Они выходят из этих зданий: грязные, закопчённые, худые... их выпустили отдохнуть, погулять, поиграть. Но ни отдых, ни игры, не соблазняют душу измученных тяжёлым трудом... Молча стоят они, опустив головы...

Дальше! Прочь от этой тяжелой картины. Дальше летит Гризли, на простор сельской жизни, нетронутой природы... Вот прекрасные коттеджи, красивые загородные дома и дворцы, чудные парки, блестящие экипажи... Но рядом с этими дворцами и парками, убогие, полуразвалившиеся лачуги и в этих лачугах живут всё те же — бедные, убогие, не имеющие ни угла, ни куска хлеба, — над ростом, которого они так трудятся усердно... Стоны раздаются из этих убогих лачуг... И не доходят эти стоны до раззолоченных дворцов, до пре-

красных, красивых коттеджей.....

Дальше, дальше от этой тяжелой, несправедливой жизни летит Гризли... Туда в горы. «На горах свобода!..» сказал он, — великий поэт Германии.

Но и в этих горах, работает человек, стучат кирки, звенят лопаты... Громадная труба поднимается кверху, огромное колесо вертится и опускает бадью глубоко, глубоко в подземную шахту. И вся ладья полна бедными, исхудалыми, бледными детьми...

При взгляде на них, на их осунувшиеся, испытанные лица — на их почти голое тело — худое, как у скелета — все сердце Гризли перевертывается от жалости... и слезы сами собою бегут из её больших, черных глаз.

— Господи! — всплескивает она руками... Для чего же! — Почему Ты, милосердый, осуждаешь на непосильный, грязный труд этих малых, тех, которых Ты так любишь?!!

И невольно, незаметно опускается она вместе с бадьей, спускается в глубь каменной горы, в недра земли, спускается на несколько десятков сажень... Чем ниже спускается бадья, тем душнее становится воздух... Его мало,

его не хватает ни для детей, ни для ламп, которые горят у их поясов.

Спустилась бадья...

И выползают из темных узеньких нор другие, дети, на смену тем, которых спустила бадья. Вылезают они, как длинноногие, исхудалые, черные пауки... Нет в них ни образа, ни подобия человека... Идут, шатаются...

А на место их в темные, грязные, вонючие и сырые норы полезли другие дети... Вот один мальчик совсем худенький, тщедушный, маленький — влез он в подземный душный коридорчик, вполз на четвереньках, обернулся, лег на спинку и принялся колотить свод киркой. Однообразно, монотонно стучит кирка... И кажется Гризли, что говорит она одно и то же... Одно и то же...

*«Трудись, чтобы жить,  
«Живи, чтобы трудиться».*

Что-то тяжелое, страшное, налегает на душу и сердце... Ей кажется, что живой мертвец лежит в гробу и выстукивает ужасную песню:

*«Живи, чтобы трудиться,  
«Трудись, чтобы жить».*

...Воздуху! Свету!.. — вскрикивает она всеми силами души... — И... просыпается.

Просыпается в её роскошной, княжеской спальне... Где повсюду золото и мрамор, шелк и бархат...

Просыпается она вся в слезах и плачет и рыдает и одного не может припомнить: отчего сжималось во сне её сердце такой страшной надрывающей жалостью?!

### XIII

Тихо, уныло спускаются сумерки... И на бедное измученное сердце Гризли ложатся вечерние тени. Розовым светом окрашивается далекий горизонт, поля и леса и тихий воздух шепчет Гризли.

— Земное страдает!.. Небесное вкушает покой и радость!..

Спит она или не спит?! — Она сама не знает. Она видит себя... Вот лежит она, в белом платье, на широком диване... И в то же время она чувствует, что она здесь, высоко над диваном стоит на воздухе... И не знает, как и чем она держится. Она стоит в том же белом платье и также заплаканы её глаза... и так же смутно её сердце... Ей хочется рассмотреть

вторую себя... ту которая, бледная, лежит на диване. Но какой, то повелительный голос, внутри её сердца, говорит ей...

— Иди!..

И она, послушная ему, поднимается выше, летит, летит в мягком вечернем воздухе и видит, как от всей земли поднимается легкий пар... Он тихо стелется над водами, над прудами, озерами и болотами... И видит Гризли, как в этом легком тумане носятся, снуют, маленькие прозрачные существа... Ими пропитан, ими кишит весь воздух и воды, и вся грязь земная... Безобразные злые существа... Что они делают? думает Гризли... И какая масса их!!.

И смутно чувствует Гризли, что эти существа не добрые гении, а разрушители жизни всего земного... И человек борется с ними всеми силами его ума...

И слышит Гризли особенный тяжелый запах, запах земли, сырости, запах болот и всего гниющего... убийственный запах!..

«Это работают они — злые существа», — думает Гризли.

И видит она, как люди гибнут, миллиона-

ми, от этих злых существ, гибнут по всей земле и не могут победить их разрушающую силу... Они трудятся насколько могут и умеют, а все эти крохотные микроскопические существа — эти злые атомы — смеются над их усилиями и поют одно и то же, одно и то же...

*Живи, чтобы трудиться  
Трудись, чтобы жить...*

Тяжелый, заразный воздух окружает Гриззли... Дышать нечем. Везде, куда ни обернешь, невыносимый запах... Это гниют, разлагаются тысячи трупов... разбросанные в мельчайших атомах земли. Смерть всюду борется с жизнью и побеждает ее, несмотря на все её усилия...

Но и самая жизнь, каждая её работа, издаст тяжелый, убийственный запах... Пахнут рыбы, пахнут птицы, пахнут звери... Каждая плоть и каждое дыхание увеличивают смрад тяжелого воздуха земли и болот...

Гриззли летит на простор цветущих лугов, в рощи, полные сладким, чарующим запахом лип... на холмы, покрытые розами... Но во всех этих запахах она чувствует тленное и преходя-

щее... Все эти ароматы усиливаются, принимают острый ароматический запах и переходят в тяжелый смрад разлагающегося трупа...

— Бренное проходит!.. Вечное остается!.. — шепчут все цветы лип и роз.

«Все обман! Обман! думает Гризли. Тяжелый обман?!»

И кажется ей, что все эти запахи превращаются во что-то липкое, тягучее, что пристаёт к ней, обволакивает слизью все её тело... И вся земля в рощах и на лугах, на горах и долинах становится липкой, скользкой трясинной...

Всюду тянется что-то отвратительное, какие-то осклизлые лохмотья.

Господи! Где же спасенье... от земной грязи!..

— Оно внутри тебя! — шепчет ей строгий голос: — оно в детской простоте невинного сердца. В любви к чистому и возвышенному!..

И Гризли чувствует, как радостны эти слова, как твердое и тихое успокоение вливается с ними в душу... С неё спадает тяжесть плоти, грязь, горе. Она стала ребенком, маленькой девочкой... Вот тысячи маленьких головок смотрят из всех цветов... расплетаются венка-

ми, блестят звездочками.

— Выше Гризли! Выше! говорят они; полетим выше от земли в чистые высоты, где нет ничего земного... Ни стремлений, ни запаха земли.

И она летит, поднимается выше и выше... Она чувствует, что тяжесть и грязь земли спадает с неё; она чувствует, как рвутся гнилые нити, привязывавшие ее к этой земле, полной всяких гадостей... Она летит к свету, который всех любящих греет с такой великой неземной силой и любовью... Он блестит над ней, своими ласковыми притягивающими лучами — и в этих лучах исчезают все узы земные, тают все помыслы и стремления плоти...

Она видит, как незаметно спускается, окружает ее красота небесная...

И она понимает, что эта красота полна гармонии, что она часть великого света, блещущего в высотах недостижимых.

Кругом её невиданные, непостижимые цветы и деревья... Это не красота земная. Нет! Это что-то высшее, недостижимое и неопишное... Это сад, в котором все стройно, прекрасно, на что можно вечно смотреть и не налю-

боваться...

И чудный нежащий свет, и чудный нежный ласкающий запах, святое благоухание...

— Господи! Вот дети!.. Много детей. Она слышит их радостный лепет... Их говор, веселые крики и детские песни... Они все взялись за руки, составили громадный круг и запели славу... Славу Ему — славному и сильному, доброму и любящему... Ему — источнику света, любви и всякой красоты, и гармонии!

И в слезах от сильного душевного порыва, Гризли вся приникла долу.

— Иди! Пора! — шепчет ей строгий голос... — Иди назад.

— Куда же идти!?!..

Но она чувствует, как тихо, тихо, незаметно она опускается долу... Закрывается, меркнет красота небесная, меркнет свет нежный и ласковый!.. Сердце снова сжимается земной тоской и страданием...

— Господи! — простирает она руки к небу. — Господи! Отец мой небесный!.. Смилуйся над твоей дочерью... Не дай мне снова погрузиться в тьму земную.

— Иди!.. — твердит ей повелительный го-

Лос...

И чувствует она, что уже окружает ее надземный воздух, тяжелая убийственная атмосфера и опять этот невыносимый, тлетворный запах, запах плоти, пота и крови... земных трудов и страданий. Опять окружает ее грязь земли — жидкая, зловонная... Грязь и пыль... Опять носятся в воздухе те же злые крохотные существа... Много их, целые мириады!

Вот она опять в её спальне и видит, как перед ней на диване лежит опять она... в мертвой неподвижности...

Вся душа её замирает от страха и горя...

— Иди! — твердит могучий, повелительный голос...

И остановилась она над этим страшным мертвым телом.

— «В нем нет духа жизни и оттого оно так безобразно... — думает она. — В нем точно в темной, душной темнице».

И она наклоняется над ним, смотрит... Как страшно глядит этот белый полуоткрытый, закатившийся глаз... И эти космы волос, грубых, точно проволоки... И вся эта мертвая

плоть, покрытая холодным, липким, вонючим потом... При одной мысли, что она должна войти в нее... во все эти кровавые органы и фибры, в эти отвратительные слизистые оболочки и поры... При одной этой мысли у ней сжимается сердце, кружится голова...

— Господи! — шепчет она: — Спаси!.. Избави!..

— Иди!! — твердит могучий, неумолимый голос.

И она сама, не зная, как, с слезами отчаяния, бросается в это мертвое тело и в то же время оно все проникается жизнью...

Забилось сердце, вздохнула грудь, втянула убийственный тяжелый смрадный воздух земли... приподнялась Гризли... очнулась... Только смутные, тоскующие тени проходят в её сознании, и тяжело и больно ей... и слезы сами льются из глаз.

## XIV

Тяжелые дни спустились на старый дом. Дождь и непогода пируют в старом саду, точно поздней осенью. Неслышно пения птичек, присмирели, запрятались, даже, юркие воробьи; попрятались все насекомые.

Тяжело, противно Гризли это скучное — уныние старого сада; но еще противнее ей унылые стены старого дома, — запачканные, осыпающиеся; противна ей запыленная, душная зала и почерневшая позолота рам на картинах и самые картины, потрескавшиеся и выцветшие.

— Все рушится!.. Все тлен!.. наследие червей и могилы, — шепчет она.

Но где же это вечное... недосыгаемое, что наполняло таким сладким трепетом её детские грезы... когда жизнь манила ее в даль неведомого и смутно желанного?!

— Все вздор! Все бабья сказка! — слышится Гризли смущающий голос старых стен, мраморов, бронзы и картин.

И постоянно чудится Гризли тяжелый смрадный запах... точно запах старых, тлеющих костей.

Воздуху нет!.. этого тяжелого, губительно-го, разрушающего воздуха, этого верного помощника времени... крылатого, дряхлого старика с косой...

— Это все дело кислорода и озона — говорит Гриша... — это зуб времени!..

И она закутывается теплой шалью... Ей холодно; лихорадка в её теле, в её костях... Но она должна идти... Там, в её больнице лежат страждущие и немощные... Каждое утро навещает их Гризли... Иногда она проводит даже ночи у постели больной, которая нуждается в утешении...

— Вот! — думает Гризли — здесь нет тяжелых мучительных вопросов, здесь нет красоты... нет неопределенных стремлений к таинственным неизвестным областям... Но отчего же сердце все-таки бьется любовью к этим страждущим и немощным?...

— Что? — спрашивает Гризли, наклоняясь над больной, еще не старой, но страшно исхудавшей женщиной. — Лучше ли тебе, Агафья?

— Матушка наша, — шепчет Агафья: — ангел наш... деточек моих... крохотных не оставь!

И слезы текут из её глаз.

— Не оставлю... милая... не оставлю... будь покойна!..

— Болезная наша, — говорит баба: — сама-то ты наша благодетельница... кака худая, испитая, болезная... лихоманка с тобой?... что

ли?.. дрожишь ты вся.

— Это пройдет! ничего! — говорит Гризли.

И действительно, она чувствует, как по временам это проходит. Лихорадка оставляет ее, и она полна молодых сил и жизни... И ей хотелось бы, страстно хотелось, отдать эти молодые крепкия силы всем этим, хворым, болезненным, умирающим.

— На что они мне?! — думает Гризли — на что они этому брэнному телу, хлипкому, этому праху земному... пускай разрушается!., если нет другой светлой жизни, жизни полной красоты, гармонии, света истины и благодати... Зачем же жить?!

*Живи чтобы, трудиться,  
Трудись, чтобы жить.*

Шепчет несмолкаемый, однообразный дождь и унылый ветер.

— О! я знаю эту лукавую песню!.. Я не верю ей!.. Я верю в то высшее, что над нами, что выше брэнного земного и сияет там... за этими плачущими небесами...

И она смотрит наверх, на серое небо и с этого неба каплют ей на лицо мелкие дожде-

вые капли.

— Это слезинки Господни!.. — думает она. — Это слезы людского горя, земной тяготы и неволи.

И идёт она домой, кутаясь в шаль... Но и сквозь теплую шаль долит ее внутренний холод...

Вот уже несколько дней, почти каждую ночь и каждый день является этот нестерпимый холод, от которого дрожит, душа ее и сердце...

Напрасно её Гриша старается победить её лихорадку и слабость. Его сила оказывается бессильна. Натура Гризли уже не поддается ему, не засыпает, как прежде, от одного его прикосновения, от одного взгляда, от одной мысли...

— Гриша! — говорит Гризли: — мне страшно за тебя, за твое сердце, за твои убеждения и верования.

Он пожимает плечами.

— Верований у меня, нет — говорит он: — мои убеждения все вытекают из неумолимой логики фактов... Я не могу, как ты, ставить выше всего чувство... Не могу отдать себя слу-

жению прихотей глупого сердца.

— Гриша! — сказала она, приподнявшись с постели, и схватила его за руку... — Гриша! Не разрушай этой жизни, которой ты не можешь сочувствовать, не тронь этой веры, которую ты не понимаешь! Скажи мне: неужели же все человечество ошибалось до сих пор...

Он медленно кивнул головой и сказал задумчиво:

— Все развивается. Глупое сменяется умным, одностороннее — многосторонним. Страсти и животные посягания — стремлением к истине. Фанатизм — рассудочностью и человечностью...

— Но ведь человечность, Гриша... это любовь! Любовь к брату моему, к человеку?

— Нет, это рассудок... Я один не могу ничего сделать, но чем больше нас и чем энергичнее мы работаем, тем успешнее и крупнее результаты — плоды нашей работы... Чтобы работать, я должен быть сыт, одет, свободен и доволен жизнью — так же, как и всякий другой работник... Вот в этом и лежит вся человечность. А остальное все извращение, бабьи бредни, прихоть пленного ума, разврат мозга,

который ведет к истерике и к фанатизму...

И с этими словами что-то холодное, тяжелое, словно скользкий холодный гад, наползает на сердце Гризли...

— Гриша! — вскричала она, вся замирая от ужаса. — Страшна!.. Тяжела эта холодная жизнь!.. В истине лежит любовь... Это её душа... Необходимо, чтобы знание было полезно для меньших страждущих братьев наших.

И она вся трепещет. Дрожат её руки и ноги от нестерпимого внутреннего холода. Зубы сталкиваются Язык не слушается...

Она закрывает голову и старается ни о чем не думать, ничего не чувствовать и желает одного — полного всепоглощающего забвения.

Долго сидит Гриша, сидит целый час по временам взглядывая на нее, и наконец тихо, неслышно, встает, уходит и притворяет двери...

## XV

Светает!.. Темные тучи бродят по небу... Холодный ветер гудит в поле.

Очнулась Гризли. Тихо привстала и села на постель. Все ноет внутри неё... и все, что

перед глазами, смотрит как во сне, пустом и тягостном...

И какой-то внутренний ласковый голос твердит Гризли одно и то же.

— Успокойся, беспокойная душа!.. Усни, сострадательное сердце!..

Серый свет крадется в окно. Серые тени волнуются вокруг Гризли. Клубятся, слетаются... сходятся, расходятся и вновь тают, исчезают.

— Ты наша, наша Гризли! — говорят эти тени... — Ты ветка нашего старинного рода...

— Ты наша, наша Гризли! — говорят светлые детские головки... — И сколько их — этих головок!! точно на Сикстинской Мадонне... Весь воздух наполнен этими чудными головками.

— Ты наша, наша Гризли, — шепчут какие-то таинственные голоса... которые там, где-то в недостижимой вышине, звучат окруженные дивным, неприступным сиянием любви...

Дрема и грёзы, сны и мечты долят Гризли... Она точно во сне встает.

Утро или вечер вокруг неё? Какой-то ту-

ман, хаос! А не все ли равно?! Она чувствует и не чувствует свое тело.

И туман в голове, и звон в ушах и, при всяком малейшем движении... вся комната перед ней вертится, вертится и рябит в глазах.

Но собирает она всю крепость, всю мощь её духа... И выходит она из спальни, идет по залам старого дома... По мертвым, пыльным, разрушающимся залам...

О! Теперь она знает: нет в них красоты, нет в них гармонии... Она там... в недостижимой вышине... в светлых порывах человеческого духа... А здесь сусальная подделка её... Мертвые образы, в которых человек думал воспроизвести нетленную красоту неба мрамором, бронзой и кистью.

— Там, красота — шепчет она: — где благо!.. Там... в недостижимых высотах... далеких от всего земного, бранного.

И больно и противно ей смотреть на все, что окружает ее теперь в старом доме... И кажется ей, что все это должно сгореть в огне очищения...

— Не оживет, аще не умрет!.. — шепчут ей и стены, и мрамор, и картины, и все атомы

старого дряхлого дома...

И какие-то звуки дрожат в её душе и сердце. Чудные сладостные звуки, от которых так отрадно замирает сердце... и так легко, свободно во всем существе её...

О! Она чувствует, что эти звуки... призывные звуки... Что она поднимается по их дрожащим, протянутым струнам... Не звуки это, а какие-то токи... течения, таинственные и влекущие...

В сердце светло... покойно. — Звуки поют чудную мелодию... Свет тихий, ласковый, окружает ее... Она плывет, она поднимается... выше, выше... выше...

Все сердце её полно радостью и трепетом.  
— Господи! — думает она, достойна ли я?..

Но кругом её светлые чистые создания и кто-то ведет, несет ее на крыльях могучих...

— Ты делала добро!., говорить его голос, строгий и ласковый. — Ты стремилась к благу. Ты облеклась любовью. Ты просветилась! — Земное исчезло — эфирное одело тебя... Воля Великого исполнилась!!

## XVI

Старый Дормидоныч, истопник старого

княжего дома, проснулся ни свет, ни заря. Голова у него болит и кружится; всего его разломало. Дрожат, трясутся руки и ноги. Туман и мрак в голове, звон в ушах.

Вчера он был пьян; в первый и, может быть, в последний раз в его жизни он напился...

Да и как же было устоять ему, когда тяжелое горе сломило его?

Захворала его княжна. Двадцать пять лет был он истопником старого дома. Двадцать пять лет не видал и не слышал он такой смуты, какая идет теперь в старом княжьем доме.

Заболела княжна, тяжело заболела. Он сам видел ее в спальне: лежит она, бедная, как пласт, и тихо стонет.

Сказал ему старый дворовый, седой Архип, что в вине забвенье. И выпил Дормидоныч. Болит, кружится его голова.

Но по-прежнему несет он тяжелую вязанку дров в княжие покои. И топит старик массивные, нарядные печи и камины. Но не слушаются его старые, пьяные, дрожащие руки. Не слушаются его ни лучины, ни береста. Натолкает он много в печь, а ему кажется все мало,

и подбавляет он еще и еще. Зажжет — и пойдет дым. Идет дым, валит. «Эка беда! — шепчет старик, — забыл, знать, отдушники закрыть и зачем топить!? Среди лета!»...

И смутно припоминает Дормидоныч, говорила ему старая Ненила: «Не забудь закрыть отдушники!»

И лезет, шарит в впотьмах: «Где тут отдушник-то, непутный!.. Прости Господи!..» — А открыл ли он трубы? Этого он и сам не помнит. «Да и зачем их открывать, — думает он, — кажинный день? Только княжия вьюшки ломаешь... Ну, подымит маленько, подымит и перестанет».

И не видит, сквозь дым, старый Дормидоныч, что вывалились горящие щепки и даже целые поленья, на паркет, что горит уже паркет и занимается мебель и портьеры.

— «Ну, их! — думает он. — Вишь, какой злой дым!.. Так и ест глаза!» А глаза у него старческие, больные.

И выходить он вон из зал. «Кажись, все печи затопил, — думает он. — И все печи дымят. Как есть все — надо починить, чай... Ох, голова, голова похмельная!».

И затопил он печи чуть не с полночи, во втором часу ночи. Пошел, шатаясь, и повалился в своей каморке на грязный, замаслянный тюфяк. Еще князь старый сделал ему этот тюфяк. И сладко уснул Дормидоныч. Но не спит злой огонь.

Разгорается он шире и шире; сильнее затрещали, задымились старые обои; трещит и горит старая мебель. С ужасом смотрят старые стены на дело разрушения.

Бесстрастно смотрят старые ели из сада. Угрюмо качают седыми вершинами и тихо бормочут.

«Бренное проходит! Вечное остается!».

Горят, тлеют старые картины. Трескается мрамор, калится бронза. Смрад и дым идут по всему старому дому. Гул и треск катится в старых залах. Работает, гуляет, радуется злой огонь. Вырвался он на свободу разрушения...

Сладко спят все в старом доме.

## XVII

Чуть-чуть брезжит утренний свет. Очнулись, проснулись слуги старого дома. Проснулся и Гриша...

Вопли и крики наполнили старый дом.

Вопли и крики понеслись с полей и весей.

— Княжой дом горит! Старый дом горит!.. — гудит в ночном воздухе.

Бегут, спешат со всех сторон... Едва, кое-как оделся Гриша.

— Где барышня? Кричит он... Не спит ли она?!

И все, вместе с ним, бросаются в спальню княжны.

Но спальня заперта. Стучатся, торкаются в двери... Кричат, зовут...

Гробовое молчание ответ им...

А огонь уже разрушил парадные залы... Горит библиотека, пылают старые книги... Рушатся бюсты... Почернел, задымился старый философ, лопнули стекла его шкафчика... Горит старый рояль.

Дыму и смраду полон весь дом.

«Она задохнется в дыму!» думает Гриша.

— Скорей, — кричит он: — давай топоров, ломов, ломайте двери! И в нетерпении он напирает на двери, напирают вместе с ним и другие. Но крепки старые двери, не поддаются. А дым ест глаза. Клокочет огонь и подбегает к княжой спальне.

— Как бы с другого хода не занялось, — говорит кто-то. — Может быть, другой ход отперт?

Кинулись к другому ходу. Но заперт крепко и другой ход.

Принесли, наконец, топоры и ломы. Застучали они. Вот, вот сейчас подадутся высокие двери... А огонь уже тут. Уже струйки дыма вылезают из-под потолка.

Рухнула, наконец, высокая дубовая дверь. Опрометью вбежал запыхавшийся Гриша.

— Гризли! Где ты?!..

Её нет. Пуста, неизмята постель; пуста спальня.

Гризли исчезла.

# При царе Горохе (Сказка)

## I

Кто не слышал о царе Горохе, только не все знают какой он был славный: толстенький, да жирный, красенький, румяный, седенький, лысенький, с круглым брюшком, пухлыми щечками и маленьким носиком.

Все любили царя Гороха, и он всех любил, потому что в его царстве все любили друг друга, за невозможностью ненавидеть.

В его царстве не было злых, потому что не было добрых, и все были умны или по крайней мере благоразумны, за то не было благонамеренных.

В его царстве не было бедных, потому, что не было богатых и каждый имел сколько чего хотел, потому что всего было в волю.

В его царстве не было цепных собак, потому что не было воров, а не было воров потому что ни у кого не было моего, а у всех было чужое, т. е. наше.

Иногда какие-нибудь лакомки без церемо-

нии забирались к царю в кладовые, — благо они были не заперты, — и наедались там всякого добра. А когда царю Гороху доносили о том, то он только махал рукою и говорил:

— Ничего! Пускай их!

Все было хорошо в царстве доброго, славного царя Гороха и все обстояло благополучно. Не мог он только избавиться от одного: от прихлебателей и наушников и все не почему иному, как просто потому, что был он царь. Как он ни гонял от себя весь этот народ, как ни отмахивался, не мог отогнать. Лезли они к нему, как мухи или как трутни на мед.

— Ах, ваше величество, — говорил ему какой-нибудь прихлебатель, — какой у вас величественный вид, так и видно, что он скрывает величие души.

— Ничего! — говорил царь Горох, — пускай его!

И прихлебатель тотчас же бежал всем объявлять, что царь Горох его лучший друг и что он всегда говорит ему обо всем, что думает. И все тотчас же спрашивали. — А что думает наш славный царь Горох?... Хотя все очень хорошо знали, что царь Горох никогда ни об

чем не думал и не думает.

— Ваше величество! — говорил царю какой-нибудь наушник, — ваш обер-гоф-гартенмейстер говорит: коли-бы на горох не мороз, он-бы через тын перерос. Очевидно он этим посягает на права вашего величества!

— Ничего! — говорил царь Горох, — пускай его!

— Ваше величество, — говорил другой наушник, — ваш гоф-нах шнейдер-обер-мундшенк говорит, что всякая травяная тля лучше горохового киселя. Очевидно он намекал на священную особу вашего величества.

— Ничего! пускай его! — говорил царь Горох...

Было одно средство избавиться от этих надоедлых мух — это обратиться к физикам и химикам. Они от всего могли избавить.

Это были очень странные люди. Они знали всякую мелочь и потому творили великие вещи. Собственно говоря, они занимались одним и тем же, но никак не хотели в этом сознаться. У обоих были весы, на которых они все могли взвесить, привести в меру и в известность, и, хотя у тех и других были совер-

шенно одинаковые весы, но физикусы называли свои весы физическими, а химикусы — химическими, и каждый из них строго держался своих весов.

И вот эти господа все мерили и весили. Они весили землю и говорили, что на ней может родиться, весили воду и говорили, сколько, когда и где выпадет дождя и снегу, весили воздух и говорили, какие и откуда будут дуть ветры и бури и указывали, как надо чистить воздух, потому что и он ведь может засориться от долгого употребления. Наконец, они весили всякий огонь, всякий луч, который падает от солнца на землю, и говорили, что и как можно сделать из этого луча.

И вот за все за это народ их терпеть не мог. Они были единственные люди, которых никто не любил в целом царстве царя Гороха. Да и как же было любить их, сами посудите! Иной, например, захочет вдруг завести около города пруды с карасями, а они говорят: «не смей! воздух испортишь!»! Другой засеет поле и рад, что можно теперь лечь сытым желудком кверху и погадать: усну, или не усну!? — как вдруг набат, вставай весь народ: химику-

сы и физикусы всех сзывают машины качать, воды набирать, потому что через три дня наступит засуха на три недели. Ну и идет народ, в затылке чешет, глаза протирает и всех физикусов, с просонков, ко всем чертям посылает.

Правда, бывали минуты, что народ им и спасибо говорил, но ведь спасибо только тогда и дорого, пока еще в кармане лежит, а как выпустил, так и забыл за что отдал; не дорогая, мол, вещь! Притом, что сначала было в диковинку, за то и кланялись, а как попривыкли, да обсмотрелись, так каждый говорил, что все это дрянь и он сам гораздо бы лучше сделал. Ведь известно, что говорить всегда легче, чем делать.

## II

И вот к этим-то физикусам и химикусам, наконец, обратился царь Горох с просьбой: нельзя ли как-нибудь избавить его от всяких наушников и прихлебателей?

— Можно, — сказали физикусы и химикусы, — только трудно. Для этого нужно уничтожить во всем народе самолюбие, чтобы никто не лез вперед или наверх, ближе к вашему ве-

личеству. Если ваше Величество позволите, то мы весь народ приведем в одну меру, обравняем. Теперь в нем нет ни злых, ни добрых, а мы сделаем так, что все будут равны один другому и каждый каждому, во всех простых и кратных отношениях. Все будут идеальны, нравственны, индифферентны и будут блаженствовать с позволения вашего величества.

— Ничего! пускай их! — сказал царь Горох.

И вот не успел процарствовать он и двух тысяч лет с двумя днями, как весь народ в его царстве изменился. Все стали похожи один на другого, как две капли воды, и все стали индифферентны. Кто-нибудь один, который поближе стоит к лесу, скажет:

— Ах, какой прекрасный лес! я пойду в него.

И все тотчас же закричат:

— Ах, какой прекрасный лес, я пойду в него!

И все действительно пойдут в лес, так что в городе никого не останется, кроме царя Гороха, физиков и химиков, что было не совсем удобно.

Таким образом полное согласие везде и во всем царило в народе царя Гороха. Наденет один белый галстук, и все наденут белые галстуки. Наденет один красный колпак, и все наденут красные колпаки, чихнёт один и все за ним чихнут и все скажут: будьте здоровы, а потом опять в один голос проговорят: покорно благодарю и все поклонятся всем и каждому.

И до того дошло это согласие и однообразие, что все перемешалось. Все дона, кушанья, даже кошки и собаки, — все стало одинаково, и никто не мог уж отличить себя от другого. Все стали гороховыми Иванами, старыми да малыми, а все жены и дочери гороховыми Марьями, да Машами. Пробовали было они №№ себе нашивать, но еще больше перепутались.

И вот таким образом жили они, жили и стали совсем, как стадо баранов, и одолела их скука неисходная. Все одно и тоже целый день, и каждый день. Куда ни пойдешь, везде встречаются или за тобой идут Иваны, да Иваны, Марьи, да Марьи. И напала на них зевота. Зевнёт один во весь рот и все за ним

начнут потягиваться и вытягивать одну ноту а-а-а-о-о-у! или, о-о-о-у-у-а-а-а! Не стало ни песен, ни игр, ни плясок. Все ходят сонные, точно очумели, только и слышно, что жуют, или зевают, или храпят.

И начали они умирать со скуки, да так прилежно, что в полгода вымерло их полцарства. Опустели города и села. Царь Горох испугался, да и физикусы с химикусами приздумались. Прежде их было в одной столице 6,666, а теперь всего на все осталось шесть во всем царстве. Когда народ был умен, то каждый, кто особенно умен уродился, сам собой, по своей воле, шел в физикусы и химикусы, а тут, как стал весь народ глупее баранов, то и прекратились физикусы с химикусами в самом их источнике. Видят они, дело плохо.

— Нельзя, — говорят царю Гороху, — жить без самолюбия, пусть каждый стремится к лучшему из любви к себе. Хотя народ вашего величества и достиг апогеи блаженства, но без внутреннего импульса он не может удержаться на этой точке. Однообразие давит его, не дает простора его фантазии. Он идет назад, становится ниже животного и, наконец, уми-

рает от безвыходного положения. Необходимо поднять строй его жизни, расширить рамку идеала, хотя бы недостижимого, и оттенить его отрицательными явлениями, а для этого необходимо разнообразие, а с ним неизбежно явятся самолюбие, зависть, разные мелкие и крупные пороки, а с ними, как неперменное зло — наушники и прихлебатели!

— Ничего!.. Пускай их!.. — сказал царь Горох.

И вот шесть физиков и химиков взяли за дело. Они промеривали, провешивали, вычисляли, рассчитывали и применяли с такой добросовестностью, что не прошло и двухсот лет, как между народом появилось разнообразие. Иваны да Марьи стали разные, и, хотя хуже прежних, но именно самые дурные больше всех нравились всем, потому собственно, что были они всем в диковинку. Ожил народ, повеселел. Один выстроил дом в три этажа, другой — в десять, третий построил его в виде сахарной головы.

Всего скорее ожили барыни, потому что их-то более всего и давило однообразие. Посу-

дите сами, ну как же возможно носить каждый день одно и то же платье, одного фасона! Тут поневоле умрешь с тоски. А как пошло разнообразие, то и появились сперва разные бантики, ленточки все шире и длиннее. А как стало самолюбие подгонять, и фантазия разыгрываться, то пошли такие фижмы, шлейфы, каблуки, шиньоны, роброны, камальи, сандалии, мантильи, бурнусы, визитки, патриотки, матроски, кринолины, турнюры, до каких еще не додумались и наши дамы, вероятно за недосугом.

Вместе с фантазией проснулся и ум. Даже физикусы и химикусы, несмотря на то, что считали себя абсолютно умными, и те решили, что у них прибавилось ума. Ну да и их самих тоже прибавилось порядочно. Не прошло и пятидесяти лет, как они догнали и перегнали то число, сколько их было прежде.

И все пошло развиваться, обособляться, все пошло отделяться одно от другого, как будто прежде не было для того никаких ни путей, ни дорог. Исчезли Иваны да Марьи, пошли Филомены, Каллиопигомены, Пиготеги, Мандрагорины, Филопрепсихоры, Белльле-

препсихоры и, наконец, надавали таких имен — из желания разнообразия, — что сами отцы и матери не могли их выговорить и только махали рукой и кричали: — Эй ты, Фроська или Проська, поди сюда!

### III

И в конце концов вот что случилось.

Меж всеми и над всеми красавцами, которыми было полно царство царя Гороха, была одна царица всех цариц и звали ее Беллитой, и если бы она жила не при царе Горохе, а при каком-нибудь царе Лизакархе в Греции, то ее давно бы сделали богиней.

Даже сами физикусы и химикусы, несмотря на то, что отлично знали всю суть всякой красоты и говорили всем, что вычислили всякое влияние её на всякого, и те не могли устоять пред силой красоты Беллиты, так что каждый из них, встречая ее, невольно разводил руками и задавал себе вопрос: что у него где сидит: чувство в уме или ум в чувствии?

И вот в такую красоту вдруг разом влюбились двое, т. е. влюблены в нее были все: и мужчины, и женщины, но только двое красавцев молодых и сильных были настолько

смелы, что признались сами себе в своей любви и не испугались ее.

Для одного, впрочем, такой подвиг, не был и труден. Он был уверен в себе, потому что опытом убедился, что ни одна женщина не в силах противиться его магическому взгляду. Смелый, ловкий, пылкий, самолюбивый — он любил и наслаждался с той силой, с которой огонек обхватывает молодое деревцо, обхватывает исподволь, незаметно, потому собственно, что он может жечь, а деревцо может гореть. Но как скоро появлялись первые следы пепла, то огонь быстро гас, оставляя голые обгорелые ветки.

Напрасно бедные матери, которым вообще нравится прочная, оседлая любовь, предостерегали своих дочерей от этой хищнической страсти. Предостережение не действовало по той простой и давно известной причине, что страсть сама по себе, а рассудок сам по себе и один другому не товарищ.

И вот ловец милых сердец или Никогин, как звали его, порхал и жуировал, благо при царе Горохе не было даже гражданского брака, и все кружились и порхали, как бабоч-

ки. Одни, покружившись, разлетались в разные стороны, и мать могла, если желала, сама кормить свое дитя, воспоминание счастливо-го кружения, или предоставляла эту скучную заботу другим, а сама опять начинала кружиться. Другие, покружившись, свивали прочное голубиное гнездышко и были счастливы и довольны. Одним словом, никто и ничем не стеснял себя и каждый предавался влечениям собственного сердца *ad libitum*.

Соперник Никогина был совсем иная статья. Звали его Сильваном. Он избегал женщин, зато они бегали за ним. Был он молод, красив и крепок, как молодой дуб, и вырос он одиноким дикарем, прямо под крылом той мачехи человечества, которую зовут природой.

Он вырос в вековом дремучем лесу и этот лес заменил ему отца, мать и ту хитрую науку, которую, многие называют педагогией — науку, которая учит воспитывать, но не умеет воспитывать.

Вдали от людской жизни Сильван поневоле вошел в круг той жизни, которая окружила его, и привык смотреть на все своими соб-

ственными взглядами.

Ему казалось, что каждое дерево, каждая трава и былинка живет и чувствует по-своему. Казалось ему, что старый, вековой дуб постоянно думал глубокую думу, которую не могли разгадать никакие физикусы и химикусы. Видел он, как этот дуб широко раскидывал свои ветвистые руки и так бережно прикрывал ими молодые побеги и всходы зеленых трав. Видел он, как дружно переплетались, между собою зеленые вязы, как будто лаская друг друга. Видел он, как стыдливо опускала к земле свои темные кудри чистая, белая береза, как широко раскидывал во все стороны свои лапчатые листья пышный щеголь клен и как прямо поднимались к небу траурными, стройными пирамидами темные ели. В жаркие летние дни, когда лес, со всеми своими пахучими травами, стоял весь проникнутый и сквозным сиянием жаркого солнца, и сырой прохладой собственной тени, когда в нем царила невозмутимая тишь, Сильвану казалось, что, среди этой прохлады и тенистой дремоты, все кусты и травы к чему-то прислушивались, что-то тихо, неулови-

мо, шептали друг другу и творили какое-то таинственное непонятное дело, роясь в сырой земле ползучими корнями. Зорко смотрел он на каждую траву, смотрел на голубые колокольчики, которые сами так зорко смотрели куда-то в глубь травы, смотрел на дикий анис, раскинувший широко свои белые зонтики — шапки, на белые ландыши, которые стыдливо прятались под своими лаковыми листьями и думал: вот, вот кто-нибудь из них поворотит свою головку, кивнет, поклонится стебельком, махнет листиком, шепнет тихо свое тайное слово. Но все травки стояли неподвижно и, без слов, без шума, творили свое тайное дело.

Поздно осенью, когда мертвые листья падали с деревьев, когда всякая былинка увядала и сохла, а холодный дождь прибивал к земле все, что прежде было полно жизни, все почерневшие трупы прежде гордых трав и цветов, Сильван становился еще суровее и мрачнее. Он сам как будто увидал на этом общем пиру смерти, как будто становился мертвым, засохшим листом.

Когда же первые проблески весеннего

солнца пробуждали природу от долгого сна. Сильван сам оживал с ней. Когда после теплых дождей каждое луговое и лесное зерно, разбухнув и лопнув, жадно зарывалось белым ростком в рыхлую землю и распускало над ней ярко-зелёные бархатные первые листья, когда весь лес одевался зелеными смолистыми благоухающими листками и запевал тысячами птичьих ликующих голосов, тогда вдруг в самом сердце Сильвана, во всем его существе раздавалась точно такая же звонкая песня и, не имея сил сдержать своего несдержимого порыва, он в ясный весенний вечер запевал могучую песню. И когда раздавалась эта песня, то все бросали все и бежали слушать Сильвана. Все кричали: «Идите бегите, запел наш весенний лесной соловей!»

И Сильван пел как будто не свою песню, а песню всей весенней, ликующей природы. Его слушали маленькие дети, тихо, как будто понимали всю силу этой простой и свободной песни. Его слушали молодые девушки и грудь их высоко поднималась под наплывом трепетного томления, от которого восторженные слезы выступали на их блестящих глазах. Его

слушали старые старики, опершись дрожащими руками на длинные посохи и опустив с глубоким благоговением седые головы, как будто сама природа, из груди Сильвана, послала им свой привет и манила их старческие кости в необъятное лоно, на тихий покой своих мирных, бесстрастных сил...

#### IV

И вдруг Сильвана запел среди лета!

Все вздрогнули и удивились этой песне. Все также как весной бросились слушать ее, но эта песня не была весенняя песня.

Ни дети, ни старики не поняли ее. Только молодые девушки понимали и, слушая, думали:

— Бедный Сильван! Он должно быть очень несчастлив!

Да он был очень несчастлив и главное потому, что сам не понимал и не мог объяснить, что с ним творилось.

Он чувствовал, что он стал не тот. Именно с того самого времени, когда он увидал Беллиту, а случилось это на большом празднике, который весь народ давал во славу славного царя Гороха...

С тех пор во сне и наяву мерещилась ему Беллита... Задумает он о белой лани, за которой давно он гонялся по горам и лесам, а вместо лани чувствует, что в сердце ему смотрит Беллита и смотрит такими же кроткими, задумчивыми глазами, как у белой лани.

Лес — родимый лес, — стал ему противен. Буки и дубы потускнели и глядели на него с укором. Белый ландыш опускал стыдливо свои чашечки, точно Беллита её красивую головку...

Наконец он понял, догадался, чего ему недоставало и в одно ясное утро, с радостной надеждой, схватил корзинку и бросился торопливо собирать в нее цветы. Он рвал те, которые он больше всего любил: малиновые розы и белые ландыши. Потом он уложил, как мог, эти красивые цветы в корзину и сверху их посадил белого голубя, — своего любимого голубя... Затем завязал все свои роскошные черные кудри голубой лентой, надел белую одежду и тихо отправился в город.

В царстве доброго царя Гороха во все времена был обычай. Каждый, кто хотел свить прочное гнездышко с своей голубкой, прино-

сил ей белого голубя и, если голубка, которой он подносил этого голубя, желала разделить с ним жизнь и судьбу, она принимала подарок. Всем известно, что на свете нет ничего прочнее и древнее обычая... Он, один не родня прогрессу.

Сильван не знал, где он найдет Беллиту. Но сама судьба привела его к месту свиданья.

Он нашел ее за городом, у колодца, в тени небольшой буковой рощицы.

Он подошел к ней.

— Беллита! — сказал он тихо.

Она вздрогнула, подняла голову и взглянула на него своими кроткими глазами.

— Беллита! — сказал Сильван и робко взял ее за руку. Он долго гладил эту белую, маленькую руку своей грубой, загорелой рукой и наконец робко заговорил:

— Здесь хорошо, Беллита, в этой тихой роще... Но там, там, в большем лесу, там еще лучше... Там в тихое утро, на рассвете, высокие седые дубы стоят и ждут красного солнца. И когда выглянет красное солнце, то все встрепенется, все деревья улыбнутся!.. Там хорошо, в этом вековом лесу, там родное, веч-

ное. И я все думаю... если бы ты, Беллита, вошла бы в этот лес... Как бы обрадовались тебе все цветы, травки и былинки! Ведь, они живые, Беллита... Они мне все говорят... все что думают... Я вот часто мечтаю, Беллита... об этой жизни вдвоем с тобой, в этом лесу... тихой, сердечной жизни... Беллита!.. Я приношу тебе моего голубя... Я сам вскормил его. Посмотри, какой он милый, добрый и ласковый!..

Она вся покраснела. Она тихо взяла голубя, нежно поцеловала его и взбросила кверху. Голубь взвился выше и выше и пропал в синеве неба. Вероятно, он полетел домой.

Сильван побледнел.

— Сильван! — вскричала Беллита, всплеснув руками: — я не могу быть твоей... Я... я принадлежу другому... Я не могу быть твоей, мой добрый Сильван.

И сказав это, она опустила голову, отвернулась и пошла в глубь буковой рощи, а Сильван долго еще стоял на одном месте и шатался. Потом, также опустив голову, он тихо пошел к себе, к своим дубам и букам, и если бы он жил не при царе Горохе, а в наше

просвещенное время, то, наверное, бы он хватил себя тем охотничьим ножом, который висел у него на поясе. Пустая корзинка, которую он нес, стесняла его. Он машинально тискал ее, мял руками, рвал и разбрасывал... На что она теперь ему?! А еще сегодня утром он снаряжал ее с такой радостной надеждой. — Теперь все погибло. И опустившись на землю, у корней раскидистого вяза — он заплакал, заревел, как истый дикарь.

Но кому же принадлежала Беллита?

В то время, как уходил Сильван, из-за рощи, вдали вдруг раздались звуки веселой песни, и Беллита вся просияла, услышав эти звуки. Довольная, она подняла головку и весело пошла им навстречу.

Из-за дальних деревьев самоуверенным, ровным шагом шел Никогин и пел свою страстную песню...

## V

Раз, поздно вечером, когда Никогин и Беллита тихо шли обнявшись, вдруг из-за деревьев прямо на тропинке встал перед ними Сильван. Никогин поднял голову и гордо окинул его взглядом. Беллита смотрела на него

испуганными глазами.

— Слушай — сказал Сильван, повелительно протянув руку к Никотину, — если когда-нибудь заплачет от тебя Беллита, если ты заставишь её сердце сохнуть от горя, то я уничтожу твое собственное сердце. Слышишь?

И сказав, это он повернулся и скрылся, прежде чем Никотин успел сказать хоть одно слово.

— Лесной дурак! — закричал он вслед ему.

Но тем не менее этот дурак погрозил ему смертью, прямо в глаза, перед лицом любимой и любившей его женщины, и он не нашел ничего сказать ему, он, Никогин, который считал себя умнее и сильнее всех на свете. Да! это очень обидно!

И вот, вдруг, на его розе выросли шипы. Он должен ее любить. Он не может ее не любить, потому что этого хочет «лесной дурак», который если и не убьет его (это еще бабушка надвое сказала), то постоянно будет торчать перед ним в виде *memento mori*...

«Да и чем же Беллита лучше других женщин, — думал Никогин. — Все они ищут наслаждения, обещают что-то новое, неизведан-

ное и в результате дают одно и то же... А Беллита? Это просто медовая лепешка, сладкая до приторности. Она готова, как глупая собака, лизать твои руки и боготворить тебя... из-за чего?! Нет! Из всех женщин я не знавал лучше Нигриты. Это действительно глубокое сердце, в котором и ночь, и солнце, и море страсти, и бездна желчи. Она отдается не даром. С ней не знаешь: кто сильнее, ты или она? Постоянно пылкая, загадочная, она готова и боготворить, и убить тебя. Это действительно сила ума, чувства и страсти».

И в первый раз Никогин не ответил Беллите на её нежные ласки, в первый раз она почувствовала в сердце тот ужас и холод, который сжимает его при потере того, чем жило оно так полно и беззаветно.

И дни шли за днями. И то, что должно было неизбежно свершиться, свершилось. Беллита бродила уже одна по тем рощам, в которых так страстно и сильно поглотила ее полная чаша любви. Теперь от этой чаши и следов не осталось. Бледная, полупомешанная, бродила она и все искала, придумывала — куда унесся её золотой сон и не могла придум-

мать.

А Никогин порхал и кружился по-прежнему. И кругом его, вместе с ним, порхали и кружились все те, у которых сердце постоянно кружится, ищет новых ощущений, новых ласк.

Раз вечером он сидел на широкой луговине, между скучающими или наслаждающимися парами, сидел подле Нигриты. Она заставила его пересчитать лепестки у двадцати махровых роз, которые цвели на поляне.

— Тот, кто считает, — сказала она, — никогда не просчитывается. Это правило всех физиков и химиков. С каждым сосчитанным лепестком любовь твоя ко мне будет усиливаться, потому что препятствие раздражает, и чем более накопится раздражения, тем оно сильнее действует. Это то же говорят физики и химики.

— Да! — соглашался Никогин: — но ты забыла, что у этого накопления есть свой предел, далее которого оно не действует.

— Ну! дойди до этого предела, а я посмотрю, как далеко он лежит.

Общипав пять розанов, Никогин уверял,

что он дошел до предела; Нигрита спорила, что нет, что недостает еще нескольких лепестков. Никогин настаивал на своем. Он ловил её руки, просил и молил, и вдруг замолк, и побледнел.

Прямо перед ним стоял Сильван, также бледный, с искаженными чертами.

Увы! это была одна тень прежнего Сильвана. Желтый, худой, с глубоко-ввалившимися глазами, с спутанными, вклоченными волосами, он походил на безумного.

— Никогин! — сказал он дрожащим, давленным голосом. — Ты хуже черной змеи, потому что она, чтобы утолить свой голод, убивает и съедает свою жертву, а ты для наслаждения убил сердце той, для которой ты был дороже всего на свете. Если убивают змею, то тем более следует убить тебя — и я действительно это сделаю.

И прежде чем Никогин успел сделать хоть какое-нибудь движение, Сильван быстро и ловко ударил его прямо в сердце большим охотничьим ножом, который висел у него на поясе. Никогин упал, обливаясь кровью.

Все присутствовавшие онемели от ужаса

или упали без чувств, и только немногие с криком бросились бежать в город...

## VI

Скоро собрался народ и окружил Сильвана, который, скрестив руки, угрюмо стоял перед трупом Никогина.

Долго молчал народ. Наконец, старые старики начали шептаться и говорить:

— Надо схватить его, связать. Он преступник. Он совершил уголовное преступление!

И многие из тех, которые были смелее других, подошли к Сильвану сзади и схватили его. Он вздрогнул и дико посмотрел на всех. Он не понимал ни того, что с ним делалось, ни того, что с ним делали.

Его связали, повели и посадили, за неимением тюрьмы, в темный подвал, потому что в царстве доброго царя Гороха давно уже были уничтожены все тюрьмы за ненадобностью.

— Надо судить его, как прежде судили, — говорили старики.

А как прежде судили — об этом никто не помнил, и только самые старые старики слышали от своих отцов, как творили суд при их прапрадедах.

— Соберутся, — говорили они, — трое судей. Один главный судья-председатель, другой судья-обвинитель, который и говорит, как все было дело, как и кто что видел, а третий судья-защитник говорит, что может быть все это и так было, а могло быть и иначе. И когда они все рассудят, как следует, тогда спрашивают присяжных: виноват ли кого судят или не виноват? А присяжные были люди, которых выбирал сам народ, числом двенадцать, ни больше, ни меньше, и должны были они говорить всю правду по всей совести, и должны были говорить эту правду потому собственно, что у самих судей, при их суде, предполагалось немного правды... Впрочем и присяжным нельзя было доверяться... так себе, просто... И они должны были прежде чем судить, произнести страшную клятву, поклясться всем, что для них было самое дорогое, поклясться в том, что они действительно произнесут «правду». Разумеется, и при таком застраховании от всякой лжи, верил им только тот, кто желал верить; а иной судья смотрел на какого-нибудь присяжного и думал:

— Знаю я тебя Лиса вертихвостая. Ты трид-

дать раз поклянешься и все-таки солжешь. Знаю я тебя, вьюн слизлявый!

И вот донесли царю Гороху, что так и так, ваше величество, вот что случилось: один убил другого.

— Ничего! Пускай их! — сказал царь Горох.

Но ему опять доложили, что так и так, можно и спустить, но, во всяком случае, это преступление, которое должно судить, потому что и в старину все преступления судились; что для этого соберется суд и присяжные. Без этого нельзя.

— Ничего! Пускай их! — разрешил царь Горох.

И вот после разных толков, споров и вздоров, наконец, нарядили суд и присяжных выбрали. Все собрались как следует, засели также как следует и даже сам царь Горох заседал тут же, на особом стуле, который был поставлен на высоких столбах, под красным балдахином. Одним словом, все было очень торжественно и весьма прилично и на это торжество собрался весь народ царя Гороха, чуть не со всего царства.

Привели Сильвана, прочли все донесения

и свидетельства, все как было, чинно и не то-ропясь.

Затем встал судья-обвинитель и начал говорить, что Сильван злодей и убийца, что в старину за убийство казнили смертью и что Сильван должен быть казнен смертью.

Затем встал судья-защитник и говорил: что Сильван вовсе невиновен; может быть, Никотин сам себя убил, выхватив нож у Сильвана, а для такого убийства были и резонные причины.

— Известно, — говорил судья защитник, что — Никогин был отъявленный негодяй, губитель добрых, невинных сердец, а когда он погубил сердце Беллиты, этой божественной, всеми любимой Беллиты, тогда на него напал страх и муки совести и, встретив Сильвана, он выхватил нож у него и убил себя. Это так естественно, что и говорить об этом не стоит... Правда, свидетели показывают единогласно, что Сильван ударил ножом Никотина. Но вы, господа присяжные, пожалуйста им не верьте, потому что верить их показаниями очень трудно. Посмотрите: кто эти свидетели?! Большею частью влюбленные пары,

которые видят только друг друга и витают совсем в другом мире. Они находились в экстазе или, правильнее говоря, в психопатическом состоянии, а известно, что в этом состоянии им может показаться чёрт знает какая чепуха!..

— Господин судья-защитник, остановил его судья-председатель, вы не имеете права обвинять, а тем более оскорблять свидетелей.

— Гм! Гм! — сказал судья-защитник. — Я только желал указать, что господа свидетели были... слишком доверчивы... На чем бишь я остановился... Да! Господа присяжные, допустим, что свидетели действительно видели, что Сильван ударил ножом Никогина, но было-ли это действительно убийство? Вот вопрос! Вы уже знаете, что между ними была вражда. И вот они встретились в то самое время, когда эта взаимная ненависть накалилась и достигла крайнего предела. Кто был зачинщиком ссоры при этой встрече? Свидетели говорят различно. Одни говорят, что Сильван бросился на Никогина, другие, что Никогин бросился на Сильвана. Я думаю, что последнее гораздо вернее. Никогин, по самому ха-

рактеру своему, не мог не напасть на Сильвана. Он не мог снести упрека, вероятно весьма умеренного, от Сильвана и напал на него, может быть, ударил даже. Этого никто не может решить. Ясно только, что Сильван защищался. И в том припадке исступления и ревности, в котором он находился и которое овладевает человеком так сильно, что он теряет сознание и становится рабом страсти, ребенком, безумцем. В этом аффекте Сильван, очень понятно, инстинктивно выхватил свой нож, его привычное орудие, как охотника, и, защищаясь, нанес им смертельный удар Никотину. Если же это предположение ошибочно, то во всяком случае, Сильван не может быть, не должен быть судим, как убийца, как человек, который убил Никотина с злым и заранее обдуманым намерением. Вы все хорошо знаете этого человека, вы знаете это простое, светлое сердце... Бывают минуты, тяжелые минуты, когда на такие сильные, могучие натуры находит какое-то затмение. Болезненное, тяжелое чувство захватывает их неодолимо и, в каком-то бреде умоисступления, они совершают роковое, кровавое дело. Осудите, если

вы желаете быть строгими формалистами, эту добрую душу.

Осудите Сильвана на смерть. Но если вы желаете правосудия, того правосудия, светлый источник которого лежит в человеческом сердце, вы, — я убежден в том, — оправдаете нашего несчастного, доброго Сильвана!

## VII

Когда кончил эту речь судья-защитник, все собрание взволновалось. Она произвела сенсацию, и все женщины были заранее уверены, что Сильван будет оправдан.

— Подсудимый! — обратился к нему главный судья: — не имеете ли вы еще что-нибудь прибавить в свою защиту?

Но Сильван сидел и не слышал ни того, что говорил его защитник, ни того, о чем спрашивал его главный судья. Он не понимал, что творилось вокруг него, и был весь погружен в его внутренний мир, а в этом мире стояла она, все одна и та же Беллита, грустная, убитая. И сердце его болело нестерпимой болью, а голова кружилась в каком-то тяжелом чаду.

Судья в другой раз обратился к Сильвану и повторил свой вопрос. Сильван приподнял го-

лову, дико, с полминуты, смотрел на судью, не мигая, и потом снова опустил голову.

Судья в третий раз громко назвал Сильвана и внятно, с расстановкой, повторил свой вопрос, а соседи толкали Сильвана и старались растолковать ему, чего от него спрашивают. Тогда он встряхнул кудрями, провел рукой по горячему лбу и начал говорить тихим, надорванным голосом, но чем дальше говорил он, тем крепче и громче становился его голос:

— Мне защищать себя!.. Против кого?!. Когда раз напал на меня медведь, я защищал себя... Да! я убил медведя... Против кого мне защищаться? Против вас? Да ведь вы люди, а не медведи... Ах! и я был человеком, до тех пор, пока не увидел Беллиту. Да! я был человеком... Но, теперь!.. Да! все изменилось теперь! Темные дубы стали еще темнее. Зеленые буки не смотрят на меня... Против кого же мне защищаться? Против целой природы? Но я теперь не люблю ее. Я люблю одну Беллиту, поймите вы это! Ведь в целой природе нет ничего, не может быть выше и лучше её. Ведь я мог бы быть счастлив, также как Никогин, но

только мое счастье было бы полнее, глубже... Да! зачем я убил его?.. Вы хотите это знать... Я не знаю!.. Ведь от его смерти не стало легче ни мне, ни Беллите. Ведь на свете есть много Никогинов. Они были и будут... Зачем же я убил его?.. Затем, чтоб исполнить мое обещание... Ведь если не исполнить обещание, то назовут лжецом или хвастуном..., и я исполнил его. Судите же: кто хуже, лжец или убийца, и во всяком случае убейте меня. Ведь вы можете это сделать... Назовите это убийство казнью, возмездием, правосудием, что за дело до названия... только убейте меня скорее и вы сделаете доброе дело!..

Но не успел еще кончить свое слово Сильван, как все собрание заколыхалось. Послышался слабый крик и прямо перед народом и перед судьями бросилась на колени Беллита.

Она была бледна, желта, но все-таки прекрасна. Её белое платье было изорвано, черные блестящие волосы перепутаны, но они целым потоком падали с головы, волочились в пыли, и все, кто только присутствовал тут, не могли без жалости смотреть на это роскошное создание, искаженное горем и падаю-

щее под его невыносимой тяжестью.

— Вы все, которые судите Сильвана, — начала Беллита голосом, в котором дрожали слезы, протягивая свои чудные руки к судьям и ко всему народу. — вы все глубоко неправы!.. Судите меня, судите мать мою, которая родила меня такую красивую, что самый добрый человек в целом царстве нашего славного царя Гороха не мог устоять от одного моего взгляда и весь проникся неодолимой любовью ко мне. Судите Никотина, судите этот труп, который был для меня дороже всего на свете, был всем моим счастьем и горем... О, судьи! вы все, которые считаете себя в праве разбирать сердце человеческое. Поймите, обнимите весь круг мелочей во всех запутанных взаимных сцеплениях и тогда произнесите ваш смертный приговор, тогда осудите!.. Кого?! Мир, закон, им управляющий, или всех, которые присутствуют здесь и которые не могли ни предупредить, ни поправить того, что свершилось, потому что у них не было для того ни сил, ни средств!..

Все слушали с немым удивлением, посматривая друг на друга и думая. (Но ведь она пра-

ва! Ведь нельзя же осудить Сильвана потому только, что он первая и ближайшая причина зла. Отрежьте голову гидре — и у ней вырастут десятки новых голов. Сильван был раб того, чего мы не понимаем. Он был слепое орудие чего-то непостижимого. Он невинен!»

И со всех сторон шепот и говор, громче и громче, перешли, наконец, в громкий крик:

— Он невинен! невинен!

## VIII

Но, не успел еще главный судья-председатель остановить эти крики, как они сами замолкли.

Стих народ в новом изумлении, и теснясь, и расступаясь, сторонился и давал дорогу старому дряхлому старичку.

Он шел довольно твердой поступью — и все расступались перед ним.

— Это Прозофос! Это отец Сильвана — шептал народ.

Когда Сильвану минуло двенадцать лет и умерла его мать, еще свежая женщина, Прозофос сказал ему:

— Ступай в лес и живи в нем лицом к лицу с той великой матерью, от которой все про-

изошло и у которой человек еще долго не похитит все её великие, могучие тайны.

И Сильван пошел в леса и сделался охотником, а отец его, который был физикусом, простился с своими товарищами и также ушел в глухие, дремучие дебри, куда с их рождения еще не проникал человек.

— Я иду, — сказал он, — дорабатывать в тиши полного, бесстрастного уединения то, что занимало меня так сильно всю жизнь!..

И он собрал все свои книги, рукописи, инструменты, перевез их в свою пустыню и поселился в ней. Порой он приходил в город; но прошло уже более десяти лет, как он не выходил из своей далекой лаборатории, и народ считал его умершим.

И вот, вдруг неожиданно, он явился на судилище.

— Господа судьи! — сказал он тихим, но твердым голосом. — Я пришел сюда не с тем, чтобы защищать моего сына или сказать что-либо в обвинение или оправдание его. Нет! Я желал бы высказать нечто по поводу того, что свершилось, и я надеюсь, что вы позволите мне это высказать, разумеется, после того,

как суд произнесет свой приговор.

— Хорошо! — сказал судья председатель. — Мы охотно выслушаем ваше слово, потому что в нем найдем, вероятно, не мало поучительного для всех нас.

Потом он обратился к присяжным и сказал им:

— Вы слышали все дело, слышали все, что было сказано в защиту Сильвана. Теперь ваша очередь произнести приговор. Возьмите в помощь вашу совесть и во имя правды, во имя одной только правды, произнесите ваше бесстрастное и нелицемерное слово, одно только слово: да или нет! Виновен или невинен подсудимый!?

## IX

И все присяжные отошли в сторону и стали совещаться. Они долго рассуждали, спорили, наконец все пришли к одному заключению и подошли к судьям.

— Мы долго рассуждали, сказал старший присяжный, — и не можем ответить на предложенный вопрос: виновен или невинен Сильван? Он убил Никотина — это правда. Но против кого же он стал виновен?! Пусть кто-

нибудь скажет, что он обижен, оскорблен убийством Никотина!

Но все молчали.

— Может быть он оскорбил общество, — продолжал присяжный, — то пусть ответит на это народ.

Но народ по-прежнему молчал, а все маменьки в тайне даже радовались, что была уничтожена ненавистная порча их дочек.

— Может быть общество боится Сильвана, может быть считает его вредным и желает, чтобы мы решили этот вопрос, тогда пусть суд постановит его, пусть спросят нас: вреден или не вреден подсудимый для общества? И тогда мы ответим: да или нет, а на предложенный вопрос мы не можем отвечать. Мы его не понимаем!

И когда замолчал присяжный, тогда вся толпа заволновалась, поднялся говор, споры. Судьи настаивали на том, чтобы присяжные ответили, ибо таков старинный закон. Все старики горячились, выходили из себя и говорили, что это нарушение правосудия, что оно всегда требует наказания или оправдания подсудимого, а когда молодежь приставала к

ним с требованием объяснить, что такое правосудие, — тогда все добрые старички становились в тупик и толковали всякий вздор. Одни говорили, что это восстановление оскорбленной правды, другие говорили, что это право судить, врожденное человеку, — и все, однако, не могли возразить против постановки вопроса: вреден или не вреден подсудимый для общества? Наконец, главный судья-председатель громким голосом остановил весь этот шум:

— Господа! — сказал он: — вопрос, который мы хотели разрешить, действительно не так прост, как нам казалось с первого взгляда, но у нас есть средство для его разрешения. У нас есть сословие людей, которые имеют священную обязанность заботиться о благе всех и каждого, заботиться о всех нуждах общества и выводить его из всех затруднительных положений. Мы можем, мы должны обратиться к физикам и химикам.

И не успел еще кончить судья, как со всех сторон закричали:

— Да! да! Пусть они решат, пусть решат! Давайте скорей сюда физиков и химиков!

У всех точно гора свалилась с плеч. Многие даже обозлились и выбрали физиков и химиков, как они смели не принять участие в судилище!.. Как-будто эти люди были козлица очищения всех чужих грехов.

## Х

И вот послали именем царя Гороха требовать на суд физиков и химиков, и они явились. Сначала шли физики, а за ними химики, по старшинству. Впереди шел глава их, седой и растрепанный, в длинном черном халате, — который весь был прожжен всякими кислотами, — в черном колпаке, который весь был изъеден мышами и молью, и нес этот глава в руках весы физические, потому что они считались старше химических. А за ним шли рядами все химики и физики. Одни бледные худые. Это те, которые за своими занятиями забывали сон и еду, хотя и проповедовали всем, что это вредно. Другие были красные, да толстые, кровь с молоком, что и означало наглядно: *mens sana in corpore sano*. И когда вслед за физиками потянулись химики, то все дамы и девушки, у кого были нервы чувствительнее, чуть не попада-

ли в обморок от тяжелого запаха, потому что каждый химикус был весь насквозь пропитан всякими лабораторными снадобьями и специями, меркаптанами и метибутилами. Без этого запаха он жить не мог, как селедка без воды.

Когда был предложен физикусам и химикусам тот самый вопрос, который предлагали присяжным, то они тотчас же принялись за дело. Они ощупали пульс Сильвана и высчитали по нем среднее и крайнее напряжение биения сердца, причем приняли во внимание его лета, рост, сложение и все побочные обстоятельства. Потом они тщательно смерили и ощупали его голову, смерили блеск глаз, электропроводимость волос, смерили все его тело во всех частях, вычислили отношения этих частей друг к другу, определили показателей всех его функций, всех самых тонких отправлений его нервной системы. Приняли в расчёт местность и температуру дня, в которой совершено преступление. Потом долго рылись и вычисляли по своим книгам, которые все были полны всякими цифрами и формулами, и наконец сказали. — Он невинен!

Он невинен, потому что по его натуре он, при всей окружающей обстановке и при столкновении всех случившихся условий, не мог побороть наплыва страстных ощущений и не совершить убийства Никотина. Его воля при этом оставалась инертна! Он невинен!

— Невинен! — закричал весь народ в радостном восторге: — невинен наш добрый, чудный Сильван, — и все бросились к нему. Но тотчас же остановились. — Из толпы выступил Прозофос и тихо подходил к судьям. Все смолкли в нетерпеливом ожидании. Все хотели скорее узнать, что скажет Прозофос. И он начал, поклонясь царю Гороху и судьям, и всему народу.

## XI

— Чуден ход светил мировых, в их чудном движении! — Так начал Прозофос тихим, ровным голосом. — Необъятен круг явлений, которые совершаются в мироздании. Человек старается инстинктивно уловить норму этих явлений и на этой норме создать «правый суд». Он старается установить правду в отношениях людей и составляет целые кодексы всякого «права». Но живая правда челове-

ской души убегает от этих мертвых, механических кодексов прав. Жизнь не укладывается в них. Она выше, полнее, многостороннее. И вот где начало «Суда Присяжных». В сердце каждого человека живет смутное чувство той мировой правды, которая складывается из всех мировых явлений. Мы называем это чувство «совестью», но его нельзя уловить никакими кодексами... Каждый мир неизменно совершает свой цикл и как будто возвращается на прежнее место. Но все это необъятное, безграничное число всех кругов находится в таком общем взаимно-сцепленном движении, что каждый мир, в каждое мгновение, пробегает новое пространство и все стремится, развиваясь, усложняясь, в неизмеримую бесконечную даль, к тем чудным явлениям, о которых человечество еще долго не будет иметь никакого понятия. Точно также и здесь в этом мире, на котором развилось человечество, и здесь все сцеплено общим ходом и подчинено общему мировому течению. Мы, физикусы и химикусы, мы можем изменить строй жизни всего народа, её постановку, её условия; но есть два полюса, между которыми

еще долго будет колебаться ход её, склоняясь то в ту, то в другую сторону, и никто из нас не в состоянии найти ту неизменную среднюю норму, при которой человечество спокойно и свободно, с полным наслаждением, может идти вперед, по бесконечному пути развития. В преданиях и наших записных книгах сохранилась та ошибка, которую сделали наши предшественники, обезличив народ и отняв от него почти всю силу страстности, которая одна может действовать, как постоянный возбудитель на все другие психические процессы. Когда же снова эта часть нервной системы получила свои функции, то видите теперь перед собой её крайние проявления. Можно подавить её другим полюсом — функцией мозга. Но результат будет также односторонен и его вредное действие будет еще сильнее, чем от простого уничтожения страстности. При склонении к этому полюсу человечество отвернется от всех наслаждений. Все его действия будут совершаться с правильностью часового механизма, но энергия этого механизма будет постепенно, медленно ослабевать, падать и наконец совершенно исчезнет,

а с ней и весь род человеческий. Можно приблизиться к той средней норме, которая лежит между этими двумя крайностями, но найти ее невозможно, по крайней мере в близком будущем. Чтобы найти ее, недостаточно знать все свойства природы человека и управлять ими, недостаточно знать все комбинации этих свойств при всех окружающих громадно разнообразных условиях, для этого необходимо знать все условия, в которые может встать наш земной мир среди множества циклов других небесных миров. Вот задача отдаленного будущего!..

На этом Прозофос остановился и, хотя речь его была весьма недлинна, тем не менее почти все к концу её заснули. Заснули судьи, давно спал царь Горох, храпели старики, дремала или зевала молодежь, находя толкование Прозофоса слишком ученым. Только физикусы и химикусы с жадностью слушали старого старика, и когда он кончил, они окружили его и пошли вместе с ним проводить его в его далекое, глухое жильё и потолковать с ним дорогой о многом, что еще было для них недостаточно ясно.

А когда ушли они, то весь народ от наставшей тишины вдруг проснулся и загудел.

— Где же наш Сильван? — закричали все: — мы поднимем его на плечи и понесем. Пусть живет, как прежде, мирно среди своих лесов и поет нам чудные весенние песни!

Но Сильван давно уже исчез и вместе с ним исчезла Беллита.

## XII

С той самой минуты, когда она высказала перед судьями свое страстное слово защиты, Сильван весь просиял. Он не спускал с неё глаз и медленно наслаждался тем тихим, радостным чувством, с которым больной встречает свое выздоровление. Наконец, когда физикусы и химикусы произнесли свой приговор, он встал и, шатаясь, пошёл под тень тех деревьев, где стояла одиноко Беллита, приклонясь к огромному развесистому буку. Она отделилась от этого бука, как только увидела Сильвана, пошла к нему навстречу и схватила своими маленькими руками его руку.

— Сильван! — сказала она. — Я не та уже. Я не прежняя Беллита. Огонь прошел по моему сердцу и сжег, испепелил все, чем жило оно

так сладко, так безумно. Я могу теперь думать, мой рассудок вернулся. Я поняла теперь, что есть в мире что-то выше и глубже этого опьяняющего чувства, которое так долго держало меня в его сильных объятиях... Сильван! Я сейчас мечтала о возможности уйти с тобой в твои вековые леса... не твоей подругой... О! нет Сильван!.. Я не о том мечтала. Нет. Я думала только, что я буду жить там, подле тебя лицом к лицу с этим неведомым для меня, но великим миром. Ты научишь меня любить его, подмечать его тайны, понимать его чудный язык. С сердцем полным внимания и участия я буду слушать тебя. Может быть, мечтала я, как-нибудь я возвращу тебе тот покой, который отняла от тебя, хотя и невольно. Я буду заботиться о тебе, и... охранять тебя... О! Сильван!..

Но Сильван был сам не свой. В каком-то чаду сам себе не веря, он слушал чудную музыку её слов, Его руки дрожали. Сердце едва билось. И вдруг, все это чувство глубокое, могучее, подавляющее, и вся прежняя боль прожитого страдания, все вдруг хлынуло слезами. Он весь задрожал. Он плакал и целовал

руки Беллиты, её волосы, её платье, а она вся бледная, трепещущая, готовая лишиться чувств от избытка их, она вся была полна будущими, зарождавшимися надеждами на новую, лучшую неизведанную жизнь...

И пошли они тихо, обняв друг друга, в вековые леса, в могучее царство всех растительных сил, в тот великий мир, который, хотя и незаметно, идет вперед, вместе с человеком, повинуюсь одному и тому же вечному неизменному закону.

А народ долго шумел кричал и звал Сильвана, а все девушки искали Беллиты. И от этого шума даже сам царь Горох проснулся.

И все разошлись и все пошло по-старому, потому собственно, что никто не может сказать, где кончается старое и начинается новое. Только Сильван уж больше не пел свои чудные, весенние песни. Вероятно, потому самому, почему соловей не поет, когда самка его совет гнездо. А как жили они в своем голубином гнезде вместе с Беллитой, об этом никто не мог рассказать ничего верного. Говорят, что у них было несколько детей, и когда выросли они, то не было их умнее и все

они пошли в физикусы и химикусы, — даже девушки, что произвело страшный скандал между народом доброго царя Гороха. Но ведь все это только говорят. Разве можно знать, наверное, то, что случилось назад тому... Да тут и цифр никаких не подберешь! Ведь все это случилось гораздо раньше Браммы и Вишну, раньше всяких мидов и персов раньше самых древних индусов, раньше даже тех народов, которые жили как бобры, по озерам в конурах, на сваях. Одним словом, все это случилось еще при царе Горохе!..

# Биография

## ВАГНЕР НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1829–1907)



**В**агнер, Николай Петрович — зоолог и писатель (1829 — 1907). Окончил курс в Казанском университете. Получив степень магистра зоологии за диссертацию «О чернотелках (*Melasomata*), водящихся в России», стал читать лекции в Казанском университете. В 1854 г. получил степень доктора естественных наук за диссертацию «Общий взгляд на паукообразных и частное описание одной из форм (*Androctonus occitans*)». Был в Казани, затем в Санкт-Петербурге профессором зооло-

гии. В его работе «Самопроизвольное размножение гусениц у насекомых» (Казань, 1862) впервые установлен факт педогенезиса (paedogenesis); он открыл, что личинки одного двукрылого насекомого из группы Cecidomyiidae, *Miastor metraloas*, размножаются, развивая внутри тела новые такие же личинки. Открытие это было первоначально встречено с большим недоверием, как в России, так и за границей. В 1869 г. за работу «*Monographic des especes d'Ancees du Golfe de Naples*» (не была напечатана) Вагнер получил от парижской академии премию Бордена. Неоднократно занимался зоологическими исследованиями то за границей, то на Белом море. В 1881 г. была устроена в Соловецком монастыре зоологическая станция благодаря, главным образом, стараниям Вагнера. Кроме вышеназванных работ, Вагнер написал еще: «*Beitrag zur Lehre von der Fortpflanzung der Insectenlarven*» («*Zeitschr. f. wiss. Zoologie*», 1863); «*Mухobrachia Cienkowskii n. sp.*» (1871); «Новая группа аннелид» («Труды Санкт-Петербургского Общества естествознания», 1872); «Строение морских звезд» («Труды

Санкт-Петербургского общества естествознания», протоколы 1873); «Беспозвоночные Белого моря» (СПб., 1885); «История развития царства животных» (СПб., 1887) и др., а также ряд статей популярно-научного содержания. В 1876 — 78 годах он издавал журнал «Свет», в котором также поместил ряд научно-популярных очерков. Беллетристические произведения Вагнера под псевдонимом Кота-Мурлыки печатались в «Свете», «Северном Вестнике», «Вестнике Европы», «Новом Времени», «Севере», «Русском Вестнике», «Русском Обзрении», «Книжках Недели» и др. Наибольший успех имели вдумчивые «Сказки Кота-Мурлыки». Они всегда проникнуты стремлением направить ум и чувство маленького читателя в сторону подвига и добра. Недостатком сказок является отсутствие полутонов и порою избыток сентиментальности, но яркость и увлекательность изложения заставляют забывать о недостатках. В общем, впрочем, это больше сказки для взрослых, чем для детей. Особняком стоят позднейшие беллетристические произведения Вагнера: роман «Темный путь» и повесть «Мир-

ра». Здесь Вагнер изменил своим гуманным воззрениям и поддался влиянию антисемитизма. «Сказки» выходили отдельным изданием несколько раз; впоследствии все беллетристические произведения Вагнера были изданы в 7 т., под общим названием «Повести, сказки и рассказы Кота-Мурлыки» (СПб., 1890 — 99). Вышли также отдельным изданием блестяще написанные научно-популярные очерки Вагнера «Картины из жизни животных» (СПб., 1901). Немало времени и труда Вагнер посвятил изучению бессознательной психической деятельности человека и в особенности спиритических явлений. Результатом этого явился ряд статей в различных изданиях, а также деятельное сотрудничество в органе спиритов, журнале «Ребус».

# Библиография

Вагнер, Николай Петрович (1829–1907).  
Повести, сказки и рассказы / [Соч.] Кота-Мурлыки. — [2-е изд.]. Т. 1–7. — Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1890–1904.



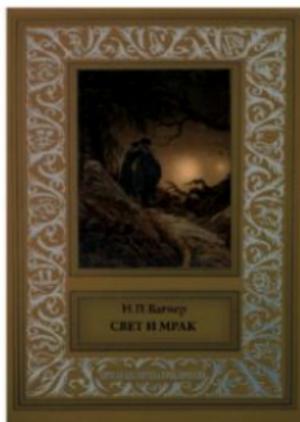
На обложке фрагмент картины: Каспар Давид Фридрих. Двое, созерцающие Луну 1819 г.

Электронное  
литературно-художественное издание

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

XXXIII

ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ • ФАНТАСТИКА



LEO